

АЛЁНА
ДОЛЕЦКАЯ

НЕ
ЖИЗНЬ,
А

СКАЗКА

18+

Annotation

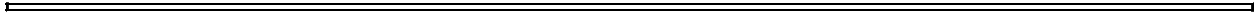
О чём может рассказать первый главный редактор русского Vogue, русского Interview легендарная московская красавица и фам фаталь? О том, как выбирала духи и белый рояль? О том, как принцы пели серенады и делали подарки? Дочь знаменитого хирурга С. Я. Долецкого, внучка первого директора ТАСС Я. Г. Долецкого была и остаётся человеком, относящимся к жизни с глубокой иронией и пронзительной искренностью. Звёзды и скромные люди, закадычные друзья и заклятые подруги, гении и злодеи, настоящие мужчины и хлюпики, исторические личности и пустозвоны — все они героини новой книги Алёны Долецкой, решившейся на доверительную откровенность со своими читателями.

Содержит нецензурную брань.

- [Алёна Долецкая](#)
 -
 - [Объяснительная записка](#)
 - [Раз](#)
 - [Огненный коктейль](#)
 - [Фирменный шов](#)
 - [Три вопроса маме](#)
 - [Облако](#)
 - [Конец невинности](#)
 - [Робот-лошадь Пржевальского](#)
 - [Первый](#)
 - [Дядя Юра, Король-Солнце](#)
 - [Кудрявая и с жопой](#)
 - [Рвака](#)
 - [Клеймо на языке](#)
 - [Почти убийство на Новом Арбате](#)
 - [Запарились](#)
 - [Мёртвая петля](#)
 - [Русские идут](#)
 - [Два](#)
 - [С хрустальным шаром](#)
 - [Наваляла!](#)
 - [Повелитель Сай](#)

- [Образцовая девочка](#)
- [Анатомия обиды](#)
- [Жёсткая встреча](#)
- [Белая и чёрная](#)
- [В курилке с Чужим](#)
- [Короткие встречи](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
- [Эх, начальник!](#)
- [Женщина на вышке](#)
- [Соколы наши ясные](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
- [Заберите это, пожалуйста](#)
- [Шестнадцатый день](#)
- [Дошло наконец](#)
- [Три](#)
 - [Полетела](#)
 - [Трюк Клементины](#)
 - [Плохие мальчики](#)
 - [Мужчина впереди](#)
 - [Мышь. Укроп. Договор](#)
 - [Ты — его или он — тебя?](#)
 - [Король Рэй](#)
 - [Лапша некорейская](#)
 - [Buongiorno, гамарджоба](#)
 - [Сучка по вызову](#)
 - [Шмоточки — девочки](#)
 - [Чисто секс?](#)
 - [Плиссе-гофре](#)
 - [Капля воска](#)
- [Благодарю](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)

- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)



Алёна Долецкая

Не жизнь, а сказка

«Расскажи, ну расскажи ещё какую-нибудь историю», — бесконечно просил Артём Доцкий, мой племянник.

Ему посвящаю эту книжку.

«Когда человеку кажется, что всё идёт наперекосяк, в его жизнь пытается войти нечто чудесное».

Далай лама



А. Долецкая, 1973 г.

Объяснительная записка

Никакую книгу я писать не собиралась. Ни художественную, ни мемуарную, ни публицистическую. Кто я такая? Девочка из интеллигентной московской семьи, с классическим университетским образованием и недурным воспитанием. Довольно везучая. Успеха не ждала, просто на него работала. И хотя трудилась всё больше в высших, так сказать, эшелонах культуры и бизнеса, уверяю вас, не все мы, глянцевики, какаем розами.

У меня есть любимое занятие: сидеть на веранде с друзьями и «травить байки». Летом там тенисто и прохладно, падают шишки с сосен, белки хрустят сухарями и семечками, сойки суетятся у кормушек. Мы гоняем чёрные, зелёные и белые чаи с моим клубничным или земляничным вареньем, а иногда и с чем покрепче, вспоминаем истории из жизни. Мои истории все очень любят. Обязательно кто-то говорит: «Алён, ну расскажи ту историю, ну ещё разочек». У друзей и родных есть свои любимые байки. Иногда они перебивают: «Нет-нет-нет, он сначала вошёл, а потом уже...» Они исправляют цвет волос, который был у кого-то из персонажей, год события, название духов, детали нижнего белья. «Слушай, сама расскажи, ты уже лучше эту историю знаешь, чем я», — говорю я в ответ. Не проходит номер.

Эти сказки-байки благодаря моим друзьям обросли первородными запахами и оттенками. Ритуал стал частью дачной магии.

Неожиданно я поняла, что этих историй собралось много, а главное — что у меня появилась возможность не рассказывать в сорок пятый раз одну и ту же сказку-байку. И получше вспомнить полузабытые. Совсем не всегда разухабисто смешные, иногда страшные и грустные, но зато настоящие. Я решила их записать.

Даты — моё слабое место, так что хроники века не ждите.

В народных сказках, которые я читаю до сих пор, помимо разнообразной мудрости, всегда есть превращения и преображения. Сидела лягушкой в углу, ударилась оземь и обернулась Василисой Премудрой. Тыква превращается в карету, чудовище — в принца. Вот и я вам расскажу про свои превращения, иногда волшебные, иногда не очень. Но зато никакой лжи, никаких намёков. Всё по правде.

Не бойтесь, не всю правду, конечно. Да и не всё вспомнила. Сказки ведь чем хороши? Превращения бесконечны, и сказка рождает сказку.

Так что, кто знает, может, и будет продолжение. А пока — поехали.
Раз. Два. Три.

Раз

Огненный коктейль

Иду я с друзьями на антикварный рынок в Измайлово, одета ничего особенного, в уггах или кроссовках, джинсы, куртка-пальто, в чем на рынок-то ездить? И только вопьюсь глазами в старинные русские рюмочки резного стекла, продавцы мне тут же:

— Please, please, ten dollars, ten dollars only!^[1]

А я им:

— А что это вы по-английски? Я русская, и не парьте мне ten dollars, давайте на рубли и пополам.

— Ой, а я думал иностранка...

С чего бы я иностранка-то? Родилась и выросла в Москве, больше чем на месяц вообще из России не отлучалась. Но ласкаю себя мыслью, а может, тут всё не так просто? Может, там, как у Де Костера, «Пепел Клааса стучит в моем сердце?» Может, моя английская прабабушка Хедвиг Хайтон сказать что хочет?

С Хедвиг какая история была. Живёт она себе поживает в 1900-х годах то ли в Сассексе, то ли в Саффолке со своим мужем, лордом Хайтоном. Рождает леди Хедвиг Хайтон двоих детей, ухаживает за розами, следит за регулярным цветением трёхметровых рододендронов и принимает вечером друзей мужа. Заезжает к ним как-то погостить коллега по бизнесу лорда Хайтона, успешный предприниматель-золотодобытчик, поляк дворянских кровей Станислав Станевич. Как говорит семейное предание, красоты, обаяния, яркости и безбашенности необыкновенной... И — влюбляется в прабабушку, а она, ох, — в него. Он взял и увёз Хедвиг от лорда.

Увёз в Россию, в Санкт-Петербург, потому что в то время добывал золото и серебро на Русском Севере. Прабабушка ходила в англиканскую церковь, но так и не выучила русский язык, и очень любила своего мужа. А потом они уехали в Польшу, где и родилась моя любимая бабушка, Софья Станевич.

Милая история межнациональной любви. Я чту её память, и единственный сохранившийся портрет папы с прабабушкой у меня на стене. Она совсем непохожа на классическую подсохшую английскую леди с поджатыми тонкими губами. Крупный нос, широко открытые глаза. Выдаёт прямая спина и строгий взгляд. А так — вполне бы сошла за дворянку из Саратовской губернии.

Но есть один огорчительный момент. У английской аристократии в то

время был закон: если жена развелась с мужем, никакого ей наследства от совместной жизни не достанется, и титулу её тоже — до свидания. Бог с ним, с титулом, а вот родственников и фамильный особняк я бы, конечно, поискала. Да всё как-то не складывается. Вот я и думаю, может, стучится моя прабабушка, напоминает, что надо розысками заняться?

«А почему это дальние родственники меня сами не находят? — думаю. — Что за дела?! Заходите к нам сами, Хайтоны! Я вас обогрею».

«Фу-у, откуда эта самоуверенность?! — снова сама себе».



Хедвиг Хайтон и Станислав Долецкий. 1922 г.

Понятно! Взыграла во мне польская кровь. Папа ведь по паспорту был поляк, и когда родители хотели, чтобы мы с братом не понимали, о чём они

между собой говорят, — всегда переходили на польский. К ним по подписке даже приходил юмористический журнал Szpilki, родители его читали и всегда вдвоём хохотали.

Но совсем не всегда моим предкам — гордым полякам — приходилось весело. Мягко выражаясь.

Дедушка, папин папа, Яков Генрихович Долецкий родился в Варшаве, прямо со школьной скамьи, в шестнадцать лет, вступил в Социал-демократическую партию Литвы и Польши. С 1917 года — член ВЦИК и в 1922-м возглавил информагентство РОСТА, которое потом стало называться ТАСС. Пережил до того не один арест и не одну ссылку и в целом всю свою сознательную жизнь посвятил строительству самого счастливого строя на Земле. После звонка своего друга в 1937-м («Яков, арестованы наши друзья. Похоже, ты следующий») он оставил два письма, моему отцу и Сталину, и застрелился. Через сорок минут после того, как дед покончил с собой, пришли энкавэдэшники и забрали все письма.

Бабушка, папина мама, Софья Станиславовна Станевич, дочь того самого безбашенного польского дворянина-разлучника, тоже служила делу революции. В 1918 году вышла замуж за Якова и тоже строила с ним светлое будущее нашей страны. Но когда в середине 30-х годов дед, к тому времени уже руководитель ТАСС, стал ездить на работу в Кремль на роллс-ройсе, она сказала: «Я не хочу больше с тобой жить. Ты на чём домой приехал? Ясно. Ты предал идеи революции».



Яков Долецкий, 1931 г.

Забрав своего сына, то есть моего папу, они переехали жить на Петровку, а дед остался жить в Доме на набережной.

Человек она была тонкий, образованный, блистательно играла на фортепиано, свободно владела шестью языками. Бабушка работала у Лазаря Кагановича, наркома путей сообщения, и, похоже, занималась для молодой России международным промшпионажем. Строительство железных дорог и прочая инженерия требовали серьёзных знаний и опыта, который уже был в европейских странах. Однажды за обсуждением вопросов развития железнодорожной сети Софья Станиславовна плеснула Кагановичу чернилами в лицо (видимо, проявил себя как непорядочный или как монстр, каким он и был по сути, а может, и приставал). И,

разумеется, была тут же уволена. После этого — зарабатывала частными уроками языков и музыки.

В 37-м, вскоре после смерти деда, её арестовали за «распространение антисоветских анекдотов», чего никогда, разумеется, с ней не происходило и произойти не могло. Семнадцатилетнего отца вызвали на Лубянку и сказали: «Твоя мама утверждает, что никогда анекдотов не рассказывала». И отец говорит: «Клянусь вам здоровьем, я с мамой прожил всю жизнь — она верный и чистый человек, и никаких анекдотов в нашем доме не было». Тогда энкавэдэшники показали Софье Станиславовне, кто у них сидит на допросе, и сказали: «Видите, там ваш сын. Либо признайтесь, либо мы сами с ним разберёмся». Она всё поняла и без единой паузы сказала: «Виновата, рассказывала». Она провела в ГУЛАГе семнадцать лет, прошла лагерь от Мурманска до Средней Азии.

В начале 1950-х она вернулась в Москву. И однажды попросила отца поехать с ней на Ленинские горы — вдвоём, без свидетелей.

— Я должна тебе сказать одну страшную вещь. Сталин — преступник.

Эта история меня поразила вовсе не её откровением про Сталина, но её горячим желанием искренне признаться отцу в этом — где? — на Ленинских Горах, чтобы никто не мог их услышать. Такие были времена.

Прошло с тех пор больше полувека. Мы общаемся в фейсбуках, твиттерах, телеграммах и прочих WhatsApp. Но недавно я начала замечать, что, когда люди хотят поговорить о чем-то серьёзном и важном, они или выключают телефон, или куда-то его уносят. Выходит, пройдя тоталитаризм, заглушки и запреты, мы возвращаемся к другому всемирному колпаку www, под которым нас все видят и слышат. Мне-то скрывать нечего, но если я иду первый раз обедать с человеком, которого лично не знаю, к вечеру фейсбук сообщает мне, что «вы можете его знать». Большой Брат следит за тобой? Кто ты, брат?



Софья Станевич и Алёна Долецкая, 1956 г.

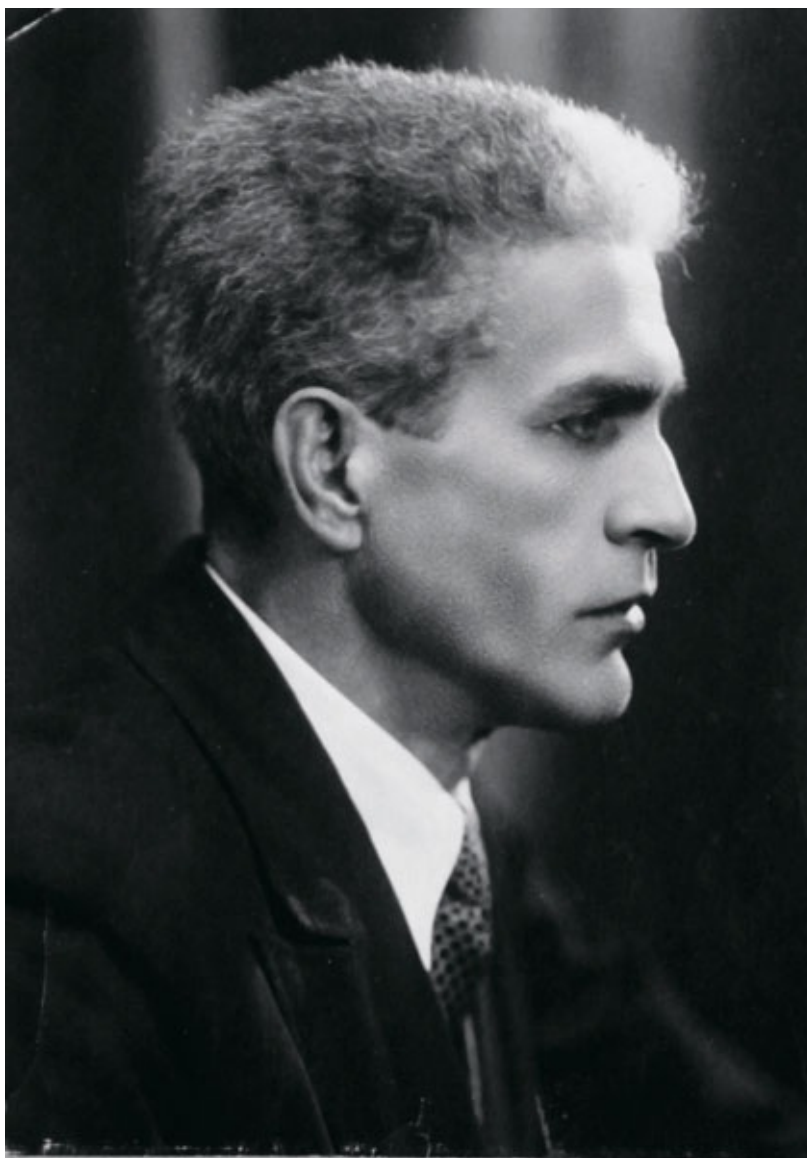
Не знаю всех особенностей польского характера, но я точно обязана этой своей бабушке за одну загадочную, хотя и простую вещь. Вскоре после моего рождения папе предложили возглавить кафедру детской хирургии в Ленинграде, и родителям пришлось оставить меня в Москве на руках у бабушки. И тут меня накрыла какая-то неведомая и опасная болезнь сердца. Имеющиеся врачи не понимали, что за патология такая, и опустили руки. Бабушка Софья уложила меня в постель на три месяца без разрешения прыгать-бегать-носиться и — чтобы я не порвала на части окружающий мир бешеной детской энергией — легла со мной рядом на всё время, читала книжки и кормила. Вернула меня в строй здоровым ребёнком, дождалась возвращения родителей в Москву и ушла в мир иной.

Мне было три года. Мудрая София, жду притока твоей мудрости в мою жизнь.

Если уж заговорили о мудрости, то фамилия Долецкий — это всего лишь придуманный партийный псевдоним моего деда, который на самом деле был Я. Г. Фенигштейн. Полагаю, польский еврей. И вот уже много лет я ворчу, что маловато мне досталось еврейской крови. С цифрами я на «вы», считаю медленно и плохо, пять шагов наперёд просчитываю с трудом, зато компенсирую мужьями, которые почти все евреи.



Александра Даниэль-Бек, 1920 г.



Владимир Даниэль-Бек, 1949 г.

Родители иногда друг друга поддевали. Когда папа в порыве педагогических усилий начинал нам с братом читать нотации, мама, Кира Владимировна Даниэль-Бек, говорила: «Стасик, ну оставь, пожалуйста, этот свой польский гонор». Или когда мы долго и бестолково обсуждали какой-нибудь нелепый вопрос, типа кто будет собирать и натирать лыжи, мама гордо отмалчивалась, и папа ей говорил: «Кирочка, ты не хочешь подать голос из своего замка князей Беков и всё-таки с нами поговорить?»

Мама была не очень похожа на настоящую армянку (ну разве что сильно вьющиеся волосы), внешне она была копией своей мамы Александры Ивановны, которая служила литературным секретарём Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича. Бабушка была русская, но родом

из коми-зырян, с чуть-чуть миндалевидными небольшими глазами. Поставить рядом бабушкин, мамин и мой профиль — почти одно лицо. Я не застала маминих родителей, они умерли очень рано, а я родилась поздно. Мамин отец, Владимир Исаевич Даниэль-Бек был московским юристом, статным мужчиной, с выдающимся носом с горбинкой, чётко очерченным ртом и густыми волосами «соль-с-перцем».

А вот отец деда, мой прадедущка — гордость семьи и не только, — достоин короткого отступления.

Как-то раз, уже в зрелом возрасте, году в 2015-м, я приняла приглашение близкого друга Рубена Варданяна и отправилась в Карабах. Время было уже мирное, Степанакерт превратился в ухоженный светлый город с парками и отелями. В один из дней нашей поездки Рубен устроил большой ужин в знаменитой Шуше, где была одна из самых тяжёлых битв Карабахской войны. В Шуше есть разлом между горами, место невероятной красоты, где можно сидеть часами, смотреть в расщелину и на разлетающиеся горы, покрытые изумрудной зеленью как бархатом, и думать, мечтать, вспоминать. Неподалёку от этого магического места, посреди огромной сосновой рощи, накрыли стол человек на сто, построили сцену, где упоительно пели «Дети Арцах», ребята от пяти до двадцати лет.



Кира Даниэль-Бек, 1940 г.



Станислав Долецкий, 1985 г.

Блюда на столе описывать — гиблое дело, изойдемся слюной. Домашние сыры всех сортов, баклажановая долма, бозартма, пряные травы и овощи, цыплята... Взрослые беседовали. Когда пели дети, все умолкали и роняли слёзы умиления и снова, прерываясь на короткие, но содержательные тосты, болтали. И тут встала невысокая, очень приятная женщина лет сорока, подняла бокал и сказала: «Вы знаете, у нас сегодня за столом правнучка человека, день рождения которого мы празднуем каждый год в нашей бывшей Императорской военной академии. Даниэль Бек-Пирумян — величайший полководец, человек, благодаря которому мы сохранили Армению. Он поднял народное войско, когда военные сдались, сказав, что мы не выдержим атак турок. Он сказал: «Не быть этому».

Сардарapatское сражение никогда не будет забыто, но сегодня важнее, что его правнучка оказалась среди нас». Слова благодарности я произносила едва-едва, не давали слёзы. Оказалось, что эта женщина — заслуженный воин, министр обороны Карабаха.



Даниэль Бек-Пирумян, 1919 г.

Тогда же я узнала, что «бек» означает княжеский титул, приставляемый к имени, которое носили только мужчины княжеских родов в Армении, в Арцахе. Получается, что мама носила мужскую фамилию. Странно, но красиво. Скорее всего, Даниэль имя прадеда, «бек» приставка, а фамилия Пирумян.

Однажды в Париже я зашла на кладбище Пер-Лашез и увидела могилу, на которой было написано: «С. А. Даниэль-Бек-Шукшинский, умер в 1931

году, младший офицер армии, бывший пристав Государственной думы». Подумала: сколько же наших Даниэль-Беков по всему миру?

Буду искать. Главное, чтобы хватило армянского темперамента и русского терпения.

Фирменный шов (письмо отцу)

[\[2\]](#)

Ты сидишь передо мной у своего старинного, немецкой работы бюро с секретными ящичками. Пишешь. Сорокапятилетний, стройный, сногшибательный. А я, малявка, тебя спрашиваю: «Пап, а как бы ты хотел умереть?» А ты отвечаешь, не отрываясь от бумаг: «Быстро, не больно, в Серебряном Бору». Ты любил туда уезжать на выходные в Дом творчества Большого театра.

Плавал там на байдарке, гулял с друзьями. Ты любил Большой (потому что пел там мальчиком в хоре?), любил театры, консерваторию, знал актёров, музыкантов и со многими дружил.

Прошло лет тридцать с лишним, я уже моталась по миру, делала проекты в Москве, а ты вдруг звонишь мне из загорода и говоришь: «Детка, завтра в Большом зале играет Володя Крайнев. Рахманинов, Шопен. Красота! Давай, не откладывая, быстренько сгоняй на улицу Герцена, зайди к Захарову (Владимир Захаров — тогда всемогущий директор БЗ Консерватории). У него для нас два билета. Мы давно никуда не выбирались вместе».

— Ура, папуль!

Я съездила на Герцена, забрала билеты. Они у меня потом долго лежали в сумочке. Ты умер на следующий день. Быстро. Не больно. В Серебряном Бору. Ровно через десять лет после мамы. День в день.

Давным-давно, когда ты водил меня маленькую в Консерваторию, мы слушали Шопена. Не помню имени пианиста, да и неважно. Он мне тогда ужасно не понравился — монотонно и скучно бил по клавишам. В антракте я начала нудить: «Пап, может, домой, а?» А ты мне: «Деточка, просто он играет Шопена как пионерские марши. Значит, ещё не налюбился, не настрадался».

Я хотела стать врачом-хирургом, как ты и мама. Ты — самый молодой член-корреспондент Академии медицинских наук, знаменитый на весь Советский Союз детский хирург Станислав Долецкий, золотые руки, тысячи спасённых детей, толпы навсегда благодарных родителей, автор десятка книг, первый русский хирург — член английской Королевской академии детских хирургов. Одно твоё прикосновение успокаивало капризных орущих детей.

Недавно один осматривавший меня врач сказал:

— Какой у вас необычный и элегантный шов. Был аппендицит? За границей делали?

А я:

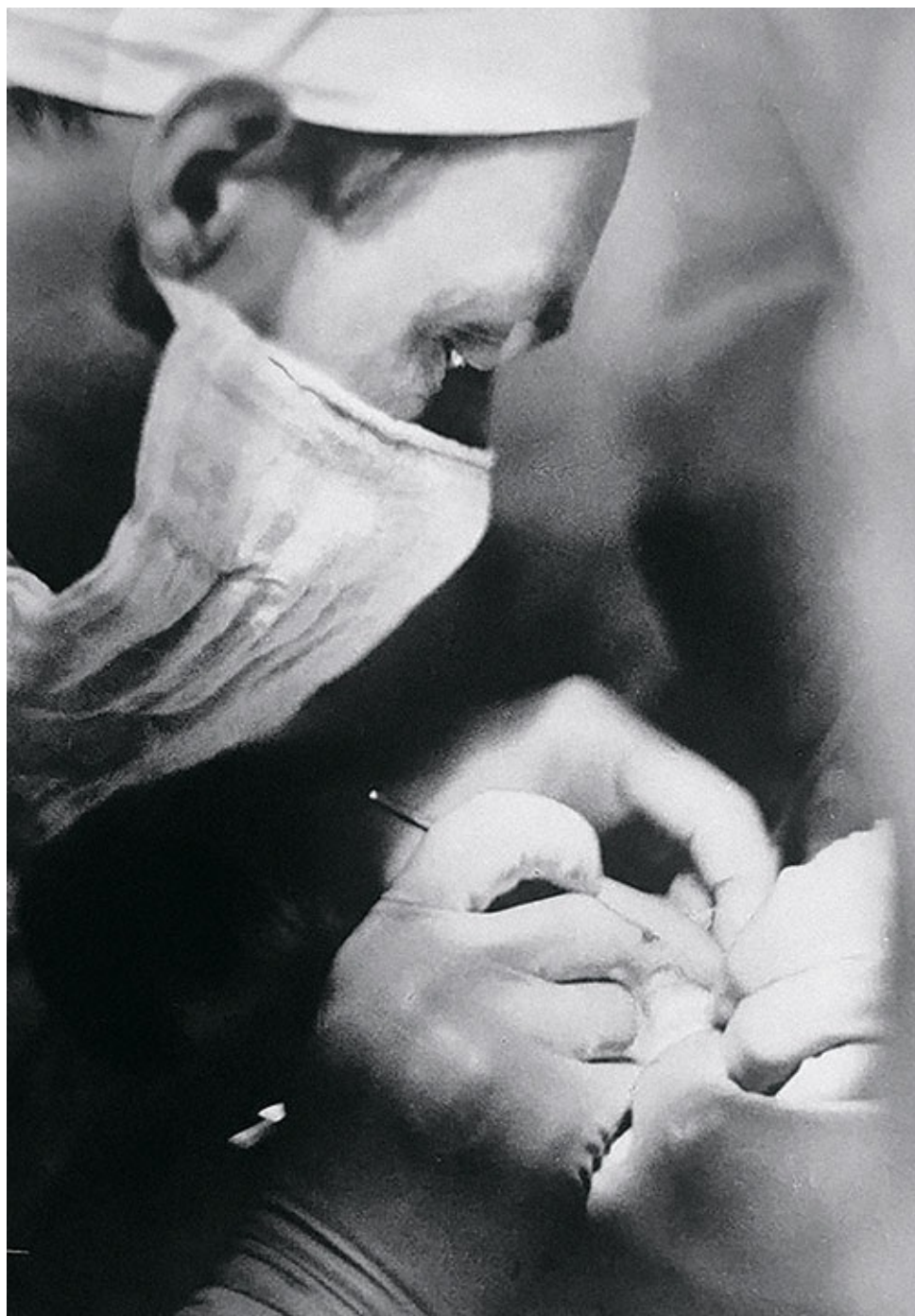
— Это мне папа сам сделал.

Он так шёпотом:

— Этого. Не может. Быть. Своих не оперируют.

Когда меня привезли в твою Русаковскую клинику (ныне Свято-Владимирская), сбежались все открыв рты: «Свою будет резать? Родную?» А потом приехала мама. Ты её не пустил в операционную. Но как только заклеил свой фирменный шов пластырем, выдохнул: «Ну, теперь пускайте». Ох, я помню, досталось тебе от мамы. Конечно, сейчас бикини носят уже пониже, так что иногда твой шов виден, но, по-моему, это даже сексуально.

Так вот, хотела стать врачом. Плюнула на свои последние летние школьные каникулы, устроилась нянечкой в отделение, которое ты возглавлял. С твоего, кстати, разрешения! Мыла операционные, палаты, полы и койки, ухаживала за больными. Посидеть на приёме было сплошное удовольствие. Мамаши таяли в твоём присутствии на глазах, как сахарный песок в горячем чае. А дети вообще забывали, что дядя в белом халате — чудище и мучитель. Смеялись беззубыми ртами и сами показывали тебе, где болит.



Станислав Долецкий, 1982 г.

Ну, я и решила самоволкой пойти посмотреть, как ты оперируешь. Ты иногда устраивал показательные операции для аспирантов, которые приезжали из разных медвузов страны. Оперировал мальчика, за которым я в палате ухаживала. Мне, конечно, хотелось знать, как у него все пройдет. Кажется, там была небольшая опухоль рядом с лёгким. Ты начал

оперировать, подробно комментируя каждый свой шаг. «Проходим сюда, разрез сделаем именно здесь, а потом на цыпочках идём ниже, видите?» В каждом движении лёгкость, изящество и безукоризненная точность. Полная концентрация, и никакого ощущения тяжести, страха или напряжения. «Сейчас я вот тут специально делаю небольшой разрез, всё-таки он совсем ещё молодой мальчик, не будем его распахивать, а подберёмся к опухоли слева». Ни одного лишнего слова. Все только по делу.

Хотя на всех были марлевые маски, я знаю: аспиранты и врачи слушали и смотрели открыв рты. В какой-то момент ты поднял глаза, и наши взгляды встретились. Резко переключив интонацию с бархатно-лекторской на железно-командную, говоришь:

— Будьте любезны, покиньте операционную.

Все поворачиваются в мою сторону, я тоже поворачиваюсь, даже не подозревая, что эти слова адресованы мне. Видя это, ты добавляешь:

— Алёна, я обращаюсь к вам.

Вот эти «Алёна» и «к вам» было как скальпелем без наркоза. На ватных ногах выхожу из операционной. Голова пухнет: ты же сам пустил меня к себе в отделение, я здесь с семи утра выполняю самую грязную работу, я же собралась стать хирургом, почему же я не могу посмотреть, как ты оперируешь?! Через час меня находят в отделении: «Станислав Яковлевич вызывает вас к себе».

Всё тот же тихий голос:

— Я разрешал тебе присутствовать на операции?

— Мы же, я же...

— Ещё раз задаю тебе вопрос.

— Ну, пап...

— Запомни раз и навсегда: никогда без моего разрешения не смей переступать порог операционной. Это не обсуждается. До свидания.

А вечером вы с мамой на меня налетели: «Ты что?! Какая ещё хирургия? Есть прекрасные офтальмология, косметология». Вы мне долбили весь вечер, что это не женская профессия, а с моими эмоциями и нервами я совсем не подхожу для хирургии. Лишь однажды ты обмолвился, что профессия врача — это ответственность, равной которой нет. Каждый день ты сталкиваешься с ситуациями, где от твоей компетенции зависит человеческая жизнь. И есть только два варианта развития сюжета: или ты будешь до конца дней разбираться со своей виной и собственной совестью, или превратишься в законченного циника. «А я не хочу, деточка, чтобы ты превращалась в циника».

Потом мы ругались. Потом мирились. Потом, как это было принято в

нашей семье, собрали семейный совет, куда входили твои ближайшие друзья: Юра Никулин, Витя Монюков, Боря Поюровский, Эдик Радзинский, Володя Высоцкий, Саша Митта. И на повестку дня был вынесен единственный вопрос: «У нас проблема. Алёна хочет идти в медицинский на хирурга, а мы с Кирочкой категорически против». И тут дядя Юра Никулин сказал: «Вы что, дорогие? Ну что вы морочите себе голову? Она же чистый гуманитарий! Вы что, не видите?» И я пошла в МГУ на филологический.

За что бесконечно вам всем благодарна.

Я редко тебя о чем-либо просила, а кланить подарки было гарантией, что их не получишь никогда. Попрошайничество ты на дух не выносил. Но тут ты поехал в Лондон и привёз мне роликовые коньки, мою мечту. Дело было в сентябре. И ты их прятал у себя в шкафу до самого моего дня рождения, 10 января. А мне так хотелось в Лужниках на них поездить с мальчишками по хорошей осенней погоде. Я же их все равно сразу нашла и четыре месяца слюной исходила. Зачем их было ныкать-то?

Воспитывал ты меня, конечно, в спартанском стиле. Со всех сторон я только и слышала, как Стасик обожает свою дочь, а дома дело обстояло сурово. Андрюша, мой старший брат, положительный, отличник, послушный, молчаливый, — мамин сын. А со мной всё время что-то приключалось. То из пионерлагеря сбежала, то три школьных дневника обнаружилось (один для папы, другой для мамы, третий для реальности, которую нельзя было никому показывать), то мальчишки всякие звонят по сто раз в день. В общем, проблемный ребёнок. Я понимаю — со мной, наверное, было нелегко.

Но моя любимая история про твои педагогические усилия — про скрепки. Ты послал меня в канцелярский магазин купить скрепки. В канцелярский так в канцелярский. Тем более по дороге я успеваю заскочить в телефон-автомат позвонить своему мальчику для личного разговора. Потом сломя голову в магазин и домой. Одна нога здесь, другая там. Довольная, вручаю тебе коробку. Ты разворачиваешь бумагу. Замираешь.

— Алёна, что это?

— Как что, пап? Кнопки.

— Я же просил скрепки.

Я влипла. Дальше следовала тирада, которая должна была обратить меня в прах:

— Тот факт, что ты не в состоянии запомнить поручение отца, свидетельствует только об одном: ты катишься по наклонной плоскости.

Кроме «наклонной плоскости» мне предназначались ещё два

пожизненных приговора: «Все это — звенья одной цепи» и «Ты абсолютно потеряла фактор времени». Как бы мне хотелось его снова потерять!

Знаешь, ты задал планку, на которую мы, все Долецкие, равняемся до сих пор. И не на твою хирургическую славу, профессорство и членства. А на остальное — прямая спина, кайф от того, что делаешь, внутренний стержень, порядочность, врождённый стиль, любовь ко всему изящному. Всё, что стало у нас фамильным. Родовым. Кстати, я так никогда и не сменила свою, в смысле твою, фамилию. Хотя возможности были. И не раз!

А с фамилией что вышло. Маму звали Кира Владимировна Даниэль-Бек. Её дедушка, князь Даниэль Бек-Пирумян, герой армянского народа, возглавлял войско во время войны с турками. В Армении его чтут до сих пор, а в Сардарападе висит огромный его портрет и сабля вся в драгоценных камнях. Мне очень нравилась мамина фамилия и особенно её подпись: такое плотное Даниэль и выскакивающее элегантно зигзагом Бек. Мне исполнилось шестнадцать, и мы с мамой пошли оформлять мне паспорт. Как всегда, всё самое важное — с мамой, похожей на Грету Гарбо, умной, как Мария Кюри, и застенчивой, как я даже не знаю кто.

Паспортистка, забитая скучной работой, устало спрашивает:

— Так, девушка-а-а-а-ай, какую вы берете фамилию? Матери? Отца?

— Я беру мамину, Даниэль-Бек.

— Ага. А как она у нас тут пишется-то?

Берёт очки.

— В одно слово?

Тут мама мне ошарашенно: «Что ты делаешь?! Ни в коем случае! В этой фамилии все делают минимум по четыре ошибки. Вместо «э» пишут «е», чёрточку забывают, «б» пишут с маленькой. Умоляю, зачем тебе это надо? Даже не думай — ещё не хватало мучиться всю жизнь, как мне».

Паспортистка, накаляясь и теряя терпение, слушает наши препирательства у её окошка. И тут мама предьявляет последний коронный аргумент:

— И вообще. Ты подумала, что мы скажем папе?

Решение было принято.

Вместе с твоей фамилией мне достался в наследство твой низкий болевой порог: все женщины своими ногами из врачебных кабинетов выходят, а я — чуть что — падаю в обморок, и потом меня долго откачивают. А ведь кто поверит, что такая чувствительная! И этот же болевой порог в душе. От чужой непорядочности, подлости, толстокожести, лицемерия, вранья. Хотя, пап, я не жалуясь — энергии хватает, замыслов и планов навалом, жизнь интересная невероятно. Вот

только всё никак не брошу курить.

Помнишь, как ты меня учил курить в пятнадцать лет?

Мама курила. Курила шикарно, как всё, что она делала. Без позы — ни лишнего жеста, ни лишних слов. Всё значительно и красиво: профиль, взгляд, рука с дымящейся папиросой «Беломорканал». Конечно, мне хотелось подражать ей во всём, и я закурила. Ты ничего не замечал. Но однажды ты призвал меня к себе в кабинет и сказал:

— Деточка, у нашей мамы, лучшей мамочки на свете, есть одна плохая черта — она курит. И я очень не хочу, чтобы эту привычку ты у неё переняла. И вот какое я принял решение. Сейчас я возьму мамины папиросы, и мы вместе просто попробуем, ты поймёшь, какая это гадость, и на всю жизнь эту тему закроем.

Тогда ты закурил первым. Ужасно смешно, как это делают некурящие люди, неправильно зажигая тут же гаснущие спички, обжигаясь пламенем. Наконец папироса задымилась, ты затаился для правильности примера и начал страшно кашлять. До слёз!

— Боже, папочка, зачем?

— Нет, ты должна попробовать.

Я сдаюсь, затягиваюсь, выдыхаю дым. Без кашля и слёз, а главное — совершенно легально.

Ты с удивлением:

— Ну как?

— Да, пап, противно. Я всё поняла — это действительно очень плохая привычка.

И на этом мы тему закрыли на ближайшие лет десять.

К моим возлюбленным и мужьям, будем честны, ты не испытывал особой приязни. На первое бракосочетание ты и вовсе не собирался идти, пока тебя не устыдили Никулины. Так исторически сложилось, что почти все мои мужья были евреями. «Деточка, у тебя какая-то тяжёлая форма юдофилии», — говорил ты каждый раз, когда я порывалась представить тебе своего нового избранника. На это я тебе неизменно напоминала, что настоящая фамилия моего дедушки, твоего папы, была Фенигштейн. «Он был немец!» — слышала я один и тот же ответ. Ну да, конечно, щас!

Когда происходили неизбежные церемонии знакомства с моими поклонниками, ты был напряжён и рассеянно снисходителен. Ты всё считал меня своей маленькой деточкой, которая в очередной раз шалит и за которую ты несёшь ответственность. Я знаю, так бывает у сильных отцов, но в какой-то момент эта твоя ответственность меня стала давить. И я пошла на разговор, один на один.

«Папа, я давно уехала из вашего дома и живу своей жизнью, в своей квартире, на деньги, которые сама зарабатываю, с человеком, которого люблю. Пойми это и не обижайся, но так больше нельзя». Там и покруче были выражения, конечно, но, поверь, я тогда старалась выбирать слова, чтобы не ранить тебя слишком тяжело. Мы же оба не выносим боли! Ты молча выслушал и не захотел больше выяснять отношения и говорить что-то в своё оправдание. Всё было и так понятно: той Алёны, которая была твоей «деточкой», больше не существовало. Перед тобой сидела двадцатипятилетняя женщина со своей личной жизнью и своим характером. И просила об одном: отпустить её.

К этому времени, невзирая на написание кандидатской диссертации и переводы английской литературы, у меня вдруг проснулся кулинарный талант, которым наша обожаемая мама не была наделена совсем. Ты был рад этому моему дару и взял за привычку появляться у меня дома как снег на голову. Конечно, как человек безупречно воспитанный, ты предварительно звонил:

— Детуль, у меня есть немного времени перед учёным советом. Что у тебя сегодня на обед?

— Рулет из говядины с лисичками.

— А супчик?

— Куриный бульон с бородинскими тостиками.

— Прекрасно, буду через полчаса.

В этот день я только-только прибежала со своей лекции. И думаю, дай выкурю сигаретку до твоего прихода. Ты же не предполагал, что я курю. Я скрывала от тебя это много лет. И тут раздался звонок в дверь. Я подумала, что для тебя рано, что это, наверное, курьер. Открываю дверь, а это ты стоишь с огромным ящиком мандаринов от благодарных пациентов из Грузии. Судорожно бросаю сигарету куда-то в глубь квартиры, не думая, что загорится ковёр или вспыхнет библиотека. Ты всё заметил. И сухо так:

— Добрый день!

А потом, без паузы:

— Всего доброго.

Шваркнул дверью перед моим носом и с этими же мандаринами гордо удалился. Хоть бы бросил их мне под ноги, что ли?! Нет, так с ними и ушёл. Очень в твоём стиле.

Ты часто ездил на конгрессы и симпозиумы в разные столицы мира. И, похоже, тебе всегда хватало этих трёх-пяти-семи командировочных дней. Через неделю после возвращения ты уже натягивал на штатив экран, заряжал проектор, и начиналось слайд-шоу, на которое собирались все

друзья. И эти твои рассказы: где был, что видел, с кем встречался, что ели и вообще как всё было. Мы, конечно, спрашивали про заграничную медицину: а какие у них операционные, а персонал, а аппаратура? Эти вопросы повергали тебя в уныние, повисали неловкие паузы: «Знаете, родные, мы здесь живём в первобытно-общинном строе». При этом ты страдал не за себя! Тебе просто было больно и стыдно за всю советскую систему здравоохранения, за науку. Тут же ты добавлял: «Но, когда включаются наши руки, они умолкают». Имея в виду, конечно, не только руки, но и мозги. Потому что хирургия — это не только «искусство кройки и шитья», но и стратегия и тактика, знания и умение просчитать многое наперёд.

Если у нас дома угощали твоими «слайд-шоу», то Никулины, возвращаясь с гастролей, устраивали огромные вкуснейшие столы, ставили привезённую музыку (ух, этот первый Jesus Christ Superstar и The Beatles White Album в наушниках, которые мы рвали друг у друга из рук!). Помнишь вечер после их турне по Австралии? И мои первые джинсы Levi's, заботливо подобранные для меня тётей Таней Никулиной, и длинные хипповые юбки, и уморительные рассказы, и хохот, такой, что до слёз, и кто-то не выдерживал и сползал со стула на пол. И во всём этом не было ни капли зависти или страдания, что мы тут, а не *там*, что у кого-то всё, а у нас ничего. Не было никакого ощущения изолированности или провинциальности, хотя по западным стандартам мы жили, наверное, довольно скромно.

А тебя за границей вообще принимали за своего. Сам рассказывал, как ты в Германии шёл по очередной Фридрихштрассе, насвистывал что-то из «Серенады солнечной долины», и какой-то немец оглянулся и с непередаваемым отвращением почти выплюнул тебе в лицо: «Amerikaner». Мы ужасно смеялись.

Как и многие дети, в поисках чего-то запретного я шарила по родительским шкафам. Один раз нащупала в платяном шкафу книги. Это были самиздатские копии Авторханова и Солженицына. Бессонные ночи и шок! И однажды в присутствии твоих гостей я попыталась вставить слово в разговор про академика Сахарова. Вечером ты вызвал меня к себе в кабинет: «Всё, о чем мы говорим в стенах этого дома, я прошу тебя здесь же и оставлять. Если ты не хочешь повторить судьбу бабушки, если ты не хочешь повторить судьбу деда, тебе надо научиться молчать».

Что это было? Страх? Не знаю. Мы ведь никогда не обсуждали даже возможность уехать из страны. Так вопрос в нашей семье никогда не стоял. Только сейчас я начинаю понимать: ты просто очень любил свою Родину.

Именно так, с прописной буквы, как полагалось раньше писать в школьных тетрадках в линейчку.

Может быть, именно поэтому ты пришёл на защиту моей кандидатской. И хвалил мои университетские спектакли в «Английском театре». Поэтому понял, почему я в один прекрасный день ушла из МГУ, и не стал меня за это пилить. Потом поддержал мои экстравагантные профессиональные ходы — от руководящих постов в алмазной корпорации до продюсирования рискованных сюжетов для Би-би-си. Жалко, ты не увидел, как я обклеила Московский метрополитен цитатами из русской и английской поэзии, не застал моих выставок и книг про архитектуру и искусство, не поездил со мной на модные показы в Милан и Париж, не увидел, как теперь придумывают и создают стиль, который у тебя, впрочем, был врождённым.

Смотрю на вашу с мамой фотографию начала 60-х, как вы садитесь в поезд и уезжаете в Ленинград. Этой фотографии я посвятила своё первое слово редактора первого номера русского Vogue — вы и впрямь там как будто сошли с отпечатка знаменитого фотографа моды Питера Линдберга. Ты — в широких светло-серых брюках с высокой талией и рубашке в тонкую полоску, мама — в лёгком, чуть приталенном, шифоновом платье на подножке поезда. Даже слышен последний гудок перед отправлением.

Недавно я пересела на другой поезд и взялась писать сценарий второй половины жизни. И как бы ты меня ни ругал за «потерю фактора времени», я всё чаще понимаю, как, в сущности, мы похожи. День так же расписан по минутам, телефон так же разрывается, меня так же обвиняют в эгоизме и самовлюблённости, хотя я безоглядно обожаю своих друзей и твоих внуков. Когда я в Москве, мы собираемся толпой у меня на даче и, как теперь принято говорить, зажигаем по полной. Тебя, наверное, порадует то, что многие помнят тебя и передают тебе привет. Есть и такие, кто, узнав, что я твоя дочь, с почтением кланяются.

Тут одна симпатичная девчонка-журналист меня спросила: «Алёна, а как бы вы хотели умереть?» Я вспомнила твой давний ответ и процитировала его, выдав за свой. А про себя подумала: отлично, значит, у меня в запасе ещё тридцать лет.

Я скучаю по тебе. Я ещё тебя обниму.

Три вопроса маме

Меня часто называли красивой в глаза и за спиной. И всякий раз, когда я слышу этот эпитет, вспоминаю маму. В голову лезут три маленькие истории, связанные с её — настоящей — красотой. Истории, мной до конца не прояснённые, и от этого ещё более значимые и загадочные.

Как-то раз, в конце 60-х, мама уехала в отпуск в Сочи и перед возвращением домой позвонила и сказала, чтобы мы, как обычно, не плелись в аэропорт её встречать, а ждали дома. Мне было лет четырнадцать вроде, брату Андрею, значит, — двадцать два. И вот она звонит в дверь нашей квартиры на Садово-Кудринской, мы с папой и с Андреем бежим открывать, она стоит на пороге. У нас троих как открылся рот, так мы не могли найти сил его закрыть.

Мама была ошеломительно хороша. Загоревшая, похудевшая (килограммов на восемь, что было заметно), помолодевшая и без этой своей классической укладки с бигуди и лаком из парикмахерской, а коротко стриженная — сзади под мальчика, а спереди с длинной чёлкой.

Из-под выгоревшей пряди смотрели карие, с узким разрезом, внимательные глаза, аристократичный, как у Греты Гарбо, нос задорно поддурманился сверху. Породистая сдержанность только усиливала эффектность появления. Она выглядела как утомлённая кинодива после бурного отпуска с Бриджит Бардо и Сержем Генсбуром в какой-нибудь Ницце.

— Мальчишки, забирайте скорее мой чемодан! — говорит. И они, спохватившись, ринулись вдвоём помочь, стараясь скрыть своё изумление.

Потом мы ужинали, она рассказывала про утренние зарядки, которыми их терроризировали в Сочи, и про прочую отпускную ерунду. А я с того дня не могу забыть, какая она была ослепительная и какой от неё шёл свет. В голове стучало: «Ну ничего себе советский санаторий...» Потом заполз липкий вопрос: «Неужели женщины так хорошеют от домов отдыха?» Что же я тогда не спросила-то? Я знала, что она была верна папе, как Дездемона, и ничего «такого» быть не могло. А вдруг могло? Так и не осмелилась спросить. А она, застенчивая и закрытая, не рассказала.

Другая загадочная история постранней будет. Мне её папа рассказал. Конец 44-го, мама с папой шли со штабом Второго Белорусского фронта к Берлину, оперировали, спасали, зашивали, выхаживали и шли дальше. Им было двадцать четыре и двадцать пять (папа на год старше), и прямо со

второго курса Московского Первого мединститута рванули на фронт. Семейное выражение «так надо» я буду потом слышать не один раз. Уже возле Берлина, где-то в пригороде, штаб остановился недели на две. На месте был бильярдный стол, где все резались в своё свободное время.

Подошла мамина очередь играть на победителя. Мама, тоненькая, с этим точёным, магически-привлекательным лицом и золотыми кудрями, постриженными по военной моде, взяла кий. Соперником был разбитной подполковник из штабных и, увидев красивую молодую девушку, решил, что победа будет лёгкой и быстрой.

Мама выиграла у него всухую. Немая сцена. Взяв на поводок любимую овчарку Дину, прошедшую с ней все три фронтовых года, под гробовое молчание штабных она вышла.

Через минуту из-за спины раздался выстрел, Дина упала замертво. Заледенев, мама оглянулась. Полковник смотрел на них самодовольно и сыто.

Я никогда не спросила — что мама потом сделала? Как звали полковника? Как же я тогда хотела найти его и посмотреть ему в глаза.

Мама уйдёт от нас 8 марта 1984-го, и никто не мог тогда знать, что папа отправится вслед за ней ровно через десять лет, тоже 8 марта. Через два дня после её смерти, мы собрали полный дом друзей, маминых и папиных, на поминки. Все говорили о том, какая она была настоящая Женщина с большой буквы, и как она умела любить, глубоко и преданно, и как отдала предложение возглавить кафедру детской хирургии папе, сделав его звездой, а сама ушла в тень (по правде говоря, золотые руки звезды советской онкологии профессора Киры Владимировны Даниэль-Бек надо было застраховать на миллионы). Истории в стиле «А помнишь?» сыпались одна за другой. Вспоминали, как она в ночь перед защитой докторской на руках дошивала шубку, которую мне приспичило надеть на школьный выезд за город. И тут мамина подруга, тётя Ира (фамилию не помню, но говорили, что Ира грешит пристрастием к сплетням), отводит меня в другую комнату и говорит:

— Я тебе, Алён, так-о-о-о-о-е сейчас расскажу, но поклянись, что никому, никогда, ни папе, ни брату, ни подругам, не расскажешь.

Я, разумеется, клянусь. И никогда — ни слова. Но до сих пор мне невтерпёж узнать всю правду.

Дело было вроде в начале семидесятых. Мама спасла от рака молочной железы пациентку, и, как тогда было принято, к ней в клинику пришёл её благодарный родственник. Он шёл по коридору отделения в сторону её кабинета, и все особи женского пола, врачи и пациентки, якобы потеряли

способность дышать, слышать и передвигаться. Косая сажень в плечах, высокий крупный красавец-мужчина в светло-сером костюме и с густой шевелюрой. В руках букет роз и пакеты с подарками. Вошёл в мамин кабинет, дверь плотно закрылась, публика замерла. Спустя минут пятнадцать он вышел, чуть опустив глаза. Ничего особенного — всё в пределах постоперационной рутины. Только вот мужчина был уж очень видный.



Станислав Долецкий и Кира Даниэль-Бек, 1941 г.

Через две-три недели мама с тётей Ирой шли по Беговой улице на работу, повернули на 2-й Боткинский, и обе, как вкопанные, остановились за несколько метров до входа в Онкологический институт имени Герцена. Огромная, светлого гранита парадная лестница, ведущая в институт, вся была ярко-красного цвета, словно покрытая исполинской ковровой

дорожкой. Подойдя поближе, они увидели, что это не ковёр вовсе. Лестница была усыпана красными розами. В те времена такое явление было под стать падению метеорита прямо на Кремль.

— Кира, что это? Откуда это? Знаешь?

— Не знаю, — ответила мама, — но подозреваю, — и вошла в институт, аккуратно обходя цветы.

Дальше ещё полгода тётя Ира вытягивала из мамы таинственную историю. Итак: у неё был страстный роман с тем самым, с подарками и розами, он был генералом каких-то спецвойск, буйно влюблён, предложил ей руку, сердце, до конца жизни обеспеченную жизнь в любой точке мира ей и всем нам, включая отца и имеющих родственников. И она, несмотря на совсем непростую, а иногда и тяжёлую жизнь с папой, сказала «Нет».

Я до сих пор кожей чувствую, что история правдивая, и ужасно хочу знать: почему «нет»? Как бы я мечтала у неё спросить: «Что это было? Долг? Верность? Принцип? Жертва ради чего? А папа знал?» А я-то, я-то хороша. Семнадцатилетняя дурёха, купаясь в своём упоительном романе с будущим первым мужем, всё прозевала.

И уж если совсем по-честному, я надеюсь, что она отпустила себя, дала жару, окунулась в безумную любовь достойного мужчины, наслаждалась и была каждой своей клеточкой счастлива хоть мгновение. Но как же до сих пор хочется всех подробностей. Эх.

Нашла фотографию. Наверное 41-й год. Мама с папой уходят на фронт, крупный план, оба уже в белых халатах, оба в профиль лицом друг к другу, глаза в глаза. Друзья мне сделали из неё фотографию метра два на полтора. Висит дома.

Те, кто никогда не видел моих маму с папой, сначала думают, что это кадр из какого-то американского нуара. Но я точно знаю, что кино моих родителей — про красоту и любовь.

Облако

Для одних вонь, для других амброзия. У одних от аромата лилий болит голова, а для меня — чистый афродизиак. Так бывает.

Вечер. Садовое кольцо. Папа стучит в кабинете на пишущей машинке, брат мусолит анатомический атлас, я иду на кухню — там мама. На плотной длинной библиотечной карточке она пишет план дел на следующий день. Едой на кухне не пахнет. Вокруг мамы — ароматное облако из неповторимого и нигде больше мной не слышанного сочетания духов Chanel № 5 и дыма папирос «Беломорканал». Неведомые экзотические цветы, намешанные русско-французским химиком императорского двора и горьковатый лёгкий дымок табака. Она никогда не изменила «Беломору» с «Герцеговиной Флор» и Chanel № 5 с Chanel № 22. Дело не в её верности, а в том, что в этом облаке я купалась всё детство и юность. Оно защищало, отогревало, любило, принимало, учило, обнимало.

По этому запаху я знаю, что мама дома. Что она рядом. Может, занята, и тогда не приставай. Если свободна, можно поплакаться про Наташку Картонину из третьего Б, противную сплетницу, и похвалить Борю Тёмкина, который очень хороший, потому что даёт списать геометрию. И, сидя в этом облаке, можно клянчить, чтобы открыли кофры с дедушкиными шубами, и, запутавшись в них, покрутиться перед зеркалом. И потом в этом облаке рассказывать, что я влюбилась в Алена Делона и его фото повешу над кроватью («Лёшенька, зачем тебе смотреть на слащавого цирюльника из провинции?»), и уже взрослой, на пороге замужества за Лёвой, буду откровенничать с ней, что я точно хочу пятерых детей или лучше семерых («Лёшенька, начни всё же с двух»), и потом, когда было страшно и больно после очередного выкидыша («Потерпи, детка, всё будет»). И так всегда — безусловная любовь, щедрость и мудрость в облаке из дыма «Беломора» и Chanel № 5.



Алёна Долецкая, 2004 г.

Она курила непоказно, элегантно, прямо как звёзды большого кино. Не как Дитрих — театрально, а скорее как Жанна Моро или Грета Гарбо. Всегда сидя, никогда на ходу или стоя, и не дай бог разговаривать с папиросой во рту. Помню её профиль с точёным аристократичным носом, чуть вздёрнутыми ноздрями и загибающейся вверх губой и мягкие пальцы, достающие из китайской шкатулки с эмалью следующую папиросу.

Как после этого было не закурить? Никак. Паранойей про ЗОЖ

(который здоровый образ жизни) никто тогда не страдал. Ну да, дурная привычка, не более. Вставали на пути борцы. Папа в первых рядах. Школьные учителя. Безрезультатно.

В университете на знаменитом «сачке» — в большом холле второго гуманитарного корпуса МГУ — можно было наконец-то уверенно и с понтом курить рядом с профессурой филфака — редкое наслаждение. Общее занятие уравнивало всех и делало разговоры лёгкими, игривыми и никогда про учёбу. «А что, Долецкая, я не вижу следов страсти на вашей шее сегодня?» — вопрошал Юрий Владимирович Рождественский, профессор языкознания, объект обожания всех девиц. «А что, — глядя на мои джинсы клёш и руку с сигаретой, спрашивает самый грозный медиевист Константин Валерьевич Цуринов, — нынче перчатки с обрезанными пальцами не только велосипедисты разве надевают?»

Во внеучебное время музыку заказывали и достраивали стиль Тихонов-Штирлиц (но ка-а-а-к он курил весь сериал!) и Фаина Раневская, Пол Ньюман и Джоан Коллинз, Джимми Хендрикс и Кит Ричардс. А Баталов? А Никулин? А Папанов? А Ефремов?

Но, если честно, дело совсем не в моде и не в знаменитостях. Просто я не могла не курить. У меня было своё облако, другое, чем у мамы, с другим дымом и другими духами, с куда меньшей верностью к обоим компонентам, но оно у меня было и летало со мной, напоминая о маме.

Когда мама жестоко заболела (реанимации, больницы, уходы, беспомощность), я дала обет своему исповеднику, что бросаю курить ради маминого выздоровления. В одну ночь с двух пачек в день — в ноль. Вряд ли обет помог, но сил и мужества на три тяжёлых года прибавил. Она ушла, облако переселилось в воспоминание.

Лет десять после её смерти я не курила, а потом огрело меня по голове так сильно, что надо что-то было делать: или в петлю или натворить что-то из ряда вон. Список был недлинный. Я никогда не представляла, что могу нарушить слово. А уж данное в храме обещание — точно. Ровно сутки меня бил озноб и наутро, окончательно оледенев, я налила утреннюю чашку кофе и... холодно закурила. Как ни в чём не бывало. Приятно чуть закружилась голова и быстро встала на место.



Алёна Долецкая, Кира Даниэль-Бек, Андрей Долецкий, 1958 г.

Прошло ещё лет пять, и во время невинного отдыха в Андалусии моя наставница по детоксу и оздоровлению («Алёна, ну сколько уже можно курить, давай ты бросишь, я знаю как») знакомит меня с английским специалистом по этому вопросу. На отдыхе же всё легко, иду знакомиться и... оп-па! — специалист оказывается гипнотизёром с редкой красоты баритоном, мягким, глубоким, и с прононсом буквально как у принца Чарльза. Сердце неподдающейся гипнозу филологини растаяло, я вроде заснула, а голос факира журчал в ушах, и спустя час по третьему хлопку открыла глаза. Пришла в себя. Встала с кушетки. Собираюсь уходить, отдаю деньги, и он мне протягивает пачку приоткрытую Marlboro и предлагает закурить. А я ему спокойно так в ответ: «Спасибо, я не курю». В голове пронеслось: «Ой, что это я такое сказала?!» Но принять предложение так и не захотелось. Чудно! Так и не курила себе, прибавляла

в весе, правда, написала про эту историю в журнал и сама себе удивилась.

Всё это происходило до запрета рекламировать сигареты в СМИ, и я решила собрать для одного из номеров Vogue фотопортфолио самых великих кадров, сделанных самыми великими фотографами мира (они же и снимали для журнала в лучшие времена), где герой, модель, актёр или актриса курят. Остановиться мы не могли. Вместе со своими фоторедактором и арт-директором захлёбывались от красоты работ Ирвина Пенна и Ричарда Аведона, Хельмута Ньютона и Питера Линдберга, Марио Тестино и Ричарда Бербриджа. Печатали на принтере, выбирали и отсеивали знаменитую Ньютоновскую красотку в смокинге YvesSaintLauren на мокрой улице Парижа за избитость и не менее знаменитую Пенновскую с тарелкой, полной измятых протухших окурков и окровавленной вилкой. Я брала распечатки домой и раскладывала их по полу, развешивала по стенам. Сидя как-то на даче, к тому моменту обклеенной со всех сторон фотографиями, я услышала от кого-то из друзей: «Слушай, может, ты уже просто закуришь? Чего мучаться-то?» Сказано — сделано. А портфолио всё равно не разрешило начальство.

Бог с ним, с начальством. И бог с ними, со странными запретами на всё, уродливыми фотографиями гниющих дёсен и угрозами импотенции на пачках, а теперь и с изнасилованием старых фильмов, из которых вырезают эпизоды с курением. Мы посмотрим оригиналы. Знаем где. Главное, чтобы облако было своё. Всегда. Рядом.

Конец невинности

С одной стороны, без родителей — никуда. Мне с моими повезло, я их любила, училась у них с руки: «надо, Федя, надо», «душа обязана трудиться», «точность, деточка, вежливость королей», «всегда смотри в глаза», «меньше пены» и прочие мудрости. Лучшей колыбельной был звук родительской пишущей машинки за стеной: оба были выдающимися хирургами и вечерами писали свои диссертации и разные книги.

С другой стороны, пока они эти диссертации писали, мне исполнилось четырнадцать лет и у меня случился головокружительный роман с мальчиком Мишей, на два года старше. Миша был модный, в 1969 году он ходил в белых брюках, свободно болтал по-английски и вообще герой, потому что перепрыгнул экстерном из восьмого класса в десятый. Внешне он был такой огненный замес Киану Ривза и Леонида Филатова. А ещё Миша играл в теннис.

В теннисе я ничего не понимала, он мне казался буржуазным, да и в семье к нему ни у кого интереса не было. Но когда Миша позвал меня смотреть, как он играет, я, естественно, пошла. Мужчина, который занят чем-то полезным, включая спорт, всегда выглядит эротично. Я этого тогда не знала, но подействовало безошибочно. В какой-то момент полил дождь, игру пришлось остановить, мы побежали под дождём к нему домой, целуясь без остановки и, конечно, промокнув до нитки. Природные катаклизмы, громы и молнии — это, кстати, тоже эротично.



Алёна Долецкая, 1969 г.

Мы пулей влетели в его сухую пустую квартиру (родителей не было, ура-ура), оставляя за собой миргородские лужи. Разделись, повесили вещи

сушиться и, завернувшись в пледы, сели обсыхать, согреваться, разговаривать, и целоваться.

В какой-то момент Миша меня спрашивает:

— Скажи, а ты была с мужчиной?

Я отвечаю, не задумываясь:

— Само собой!

Он слегка напрягается.

— Правда? Кто?

Я говорю:

— Ну, если совсем близко, то вообще-то двое.

— Расскажешь?

— А чего рассказывать? Мне оба нравились, но они совсем разные. Оба папины аспиранты и оба, не поверишь, Валеры. Один — такой московский армянин, с ним было интереснее, он — яркий, эмоциональный, я с ним больше времени проводила. А другой, наоборот — тёмно-русый, голубоглазый, с ним было скучнее, но спокойнее.

Так оно всё и было, я, в общем, честно отвечала на Мишин вопрос, имея при этом в виду, что когда аспиранты вдвоём приезжали, то, пока папа работал с одним, другого подкидывали мне — чтобы скучно не было.

Миша переспрашивает:

— И ты с ними сейчас продолжаешь встречаться?

— Нет, это уже всё закончилось.

Тут я имела в виду, что оба уже защитились и к отцу моему по этому поводу больше не приезжали.

Миша перестал меня расспрашивать, мы целовались дальше, но всё-таки подмёрзли — и в конце концов перелезли в кровать, где было теплее и уютнее и где, как я позже поняла, пылкие поцелуи перешли в занятие любовью. Это было очень приятно, даже как-то неожиданно и гораздо более круто, чем просто целоваться. Моё необычайное новое удовольствие от острых переживаний было прервано тем, что в какой-то момент Миша меня крепко-крепко обнял и начал дико хохотать. Буквально захлёбываясь. Передохнув, спросил, как я себя чувствую, на что я честно ответила, что чувствую я себя офигенно. Тогда он всё-таки решил уточнить:

— Ну, то есть ты всё-таки не была с мужчинами?

— Как не была, — возмущаюсь я, — я же тебе всё честно рассказала! С Валерой Акопяном вообще часы вместе проводила.

— Ну не в этом же... смысле?

— В каком?

— Ну вот как мы сейчас?

— А-а-а! — говорю. — Нет, конечно. В этом смысле не была.

Тогда Миша велел быстренько собрать постельное белье и запихнуть его в стиральную машину. Тем более он уловил, что домой вернулась его мама. У них была очень большая квартира, так что я ничего не слышала, не замечала, ну и вообще меня никак это всё не беспокоило. Я удивилась, почему он сильно суетится, чтобы по-быстрому проникнуть в ванную. И даже спросила у него, что, мол, не так.

— Да не, всё так, — ответил Миша, — просто бельё надо постирать.

Ну, хорошо, бельё так бельё. Увидев на простыне кровавое пятно, я удивилась, но не более.

Потом нас одолел голод, мы отправились на кухню, и тут на нас натывается Мишина мама, которая радостно зовёт нас в гостиную, у неё там кофе, булочки. Мы обещаем прийти — но потом всё-таки возвращаемся в его комнату, чтобы ещё немножко поваляться.

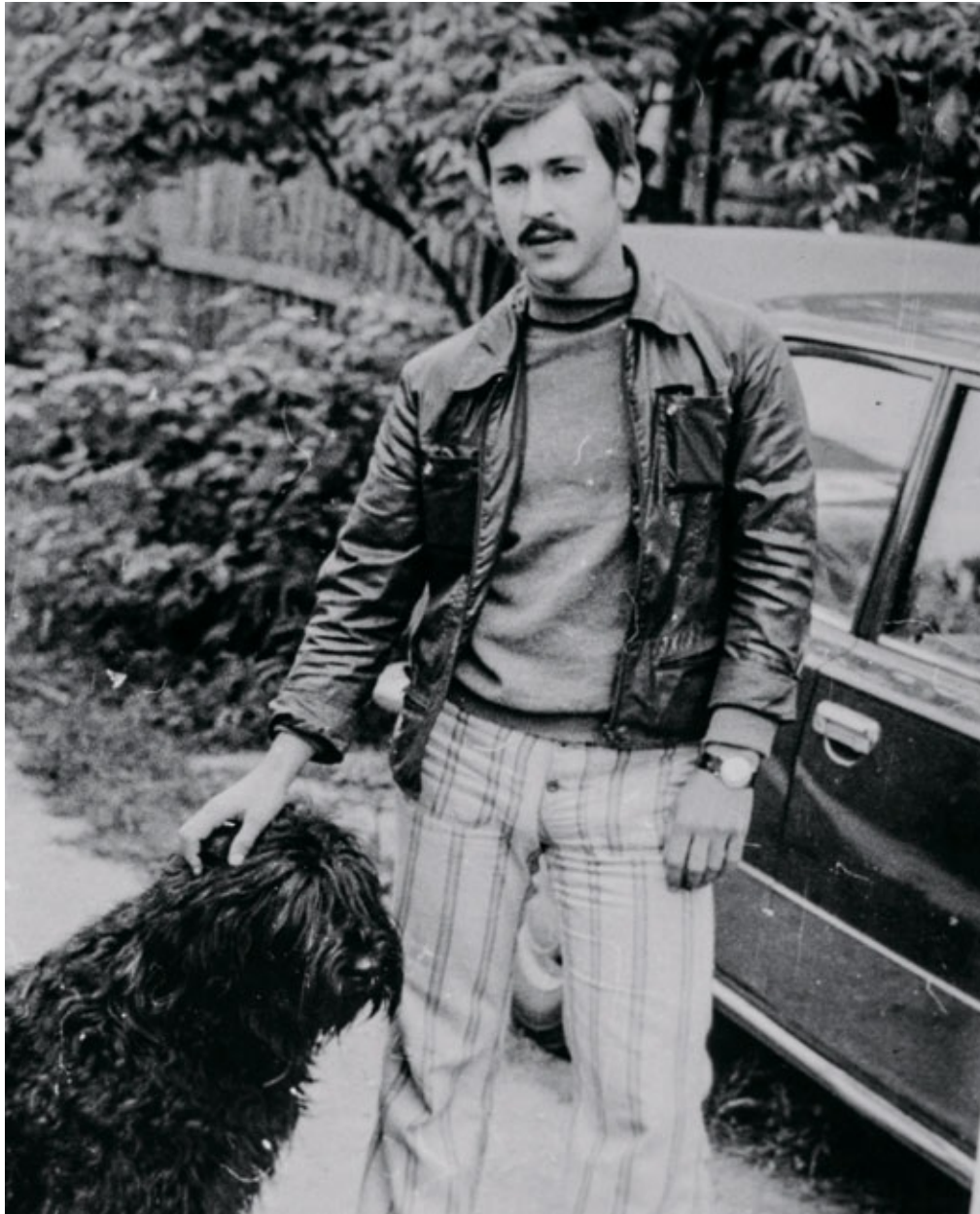
Семья у Миши была в высшей степени респектабельная. Папа, как я позже узнала, занимался разведывательной деятельностью, а мама преподавала иностранные языки в МГИМО. Ну, и Миша тоже собирался в МГИМО после школы.

Мы продолжали целоваться. Миша ещё пару раз меня переспросил, как я себя чувствую, а я не понимала, в чём его беспокойство, и страшно радовалась, что согрелась, потому что продрогли мы под этим дождём до костей.

В какой-то момент мы отправились в гостиную к маме пить свежесваренный кофе, она увидела, что мы в пледах и вещи у нас все мокрые, и велела Мише дать мне немедленно её халат. Короче, потёк день необычайного счастья. За окном дождь, гром и молнии, мы уютно сидим и пьём кофе, сваренный с кардамоном и ванилью. В какой-то момент Мишина мама, которая ко мне хорошо относилась, говорит: «Алёночка, ты такая хорошая и красивая девочка. Я хочу, чтобы у тебя от меня что-нибудь было красивое в подарок», — и отдаёт мне, снимая с пальца, своё серебряное кольцо, всё обсыпанное крохотными гранатиками. Я говорю что-то вроде того, что, Тамара Алексеевна, мне неудобно. А она отвечает, мол, вот у тебя есть уже одно колечко, пусть будет ещё с камушками. Ну, мне что камушки, что не камушки, разницы я тогда не видела, а подарок дело всегда приятное.

Близился вечер, я вспоминаю, что обещала быть дома к семи. «Точность — вежливость королей». Я всегда знала, что обязана прийти к оговорённому времени. Потому что опоздание — это неуважение ко всем остальным и вообще невежливо.

Впопыхах надела полувывсохшие вещи, а потом же ещё нужно было поцеловаться. Короче, домой я добралась в половине восьмого.



Михаил Рогов, 1969 г.

Папа встретил меня и тихим голосом велел зайти к нему в кабинет, а это всегда означало что-то очень плохое. Он попросил объяснить своё опоздание. Я сказала, что я была с Мишей и что мы гуляли, а потом попали под проливной дождь. Папа начал делать мне выговор за нервы, которые они с мамочкой потратили за эти полчаса, — и тут увидел у меня на руке

новое кольцо. Спросил, откуда — я сказала для простоты, что Миша подарил. Папа, не раздумывая, лёгким движением руки сдёрнул кольцо у меня с пальца, размахнулся и вышвырнул его прямо в балконное окно. После чего отправил меня в мою комнату, велел подумать над своим поведением и пообещав завтра ещё раз со мной поговорить.

От потери кольца у меня разрывалось сердце, и я метнулась во двор, сделав вид, что срочно решила вынести мусор. Оказавшись во дворе, попыталась вычислить траекторию возможного полёта. Ничего на месте вероятного падения, конечно, не нашла. Там ещё стояли два открытых мусорных бака, и я понимала, что если кольцо попало в один из них, то шансов у меня вообще нет. И вот я уже обливаюсь слезами, потому что и неловко, и жалко, и всё было так хорошо и так хотелось это кольцо у себя иметь совсем не из-за гранатов, а как символ удивительного дня.

Короче, я села на корточки просто порыдать, и... увидела кольцо, валяющееся в траве. Тут даже папин гнев не смог мне испортить настроение. На следующий день мы всё равно выясняли отношения, я пообещала, что больше такое никогда не повторится, и выслушала в ответ, что качусь по наклонной плоскости, что всё это звенья одной цепи и тройка по поведению на позапрошлой неделе тоже звено в этой гребаной цепи.

Дальше — я хожу в школу, мы с Мишей встречаемся, гуляем, и не только гуляем. Всё идёт своим чередом, в нашу жизнь никто не вмешивается, и мы чувствуем себя прекрасно. В какой-то момент, видимо, сработала интуиция у моей мамы.

Стоим мы с ней с балконе, болтаем, и мама ни с того ни с сего вдруг:

— Скажи, а что, с Мишей у тебя всё серьёзно?

— Да, мама, мне кажется, очень серьёзно.

— Да? — говорит. — А ты с ним близка?

Я отвечаю от всего сердца:

— Да, знаешь, мы очень близкие люди.

Мама, похоже, не очень довольна ответом.

— Хорошо, да, близкие люди... А вы... Ну... как бы сказать...

Я совсем не понимаю, что она пытается узнать и что её конкретно интересует.

— Скажи, дочка, а откуда у тебя кольцо?

— Если честно, Тамара Алексеевна подарила. Мы с Мишей были на теннисе, потом у них дома пили кофе, и вот она мне тогда подарила.

Мама по-прежнему не удовлетворена, а я по-прежнему не понимаю, чем именно. Наконец, она набирается духу и спрашивает:

— А вы спите вместе?

— Мам, ну конечно спим!

Конечно же, мы спали. В смысле спали сном. После долгих-то занятий любовью.

Сегодняшнему поколению смешно такое слышать. Но тогда для всего этого не было никакого языка. То есть я со всеми участниками предприятия буквально попала в ситуацию *lost in translation*. Не подумайте, я, разумеется, залезла к брату в библиотеку и листала у него анатомический атлас. Потом как-то раз в процессе своих подростковых исследований обнаружила у папы американский журнал, по всей вероятности, Playboy, там были женщины с «грудями» и разной степени раздвинутыми ногами. Но всё это было крайне малоинформативно.

Короче говоря, мама поняла, что происходит какое-то недоразумение. Она меня обо всём выпросила, получила на всё положительный ответ, но разговор зашёл в тупик. Тогда она начала сначала:

— Ну, вы целуетесь?

— Ещё как!

Надо сказать, маме я не врала никогда. С папой было сложнее, а маме — только правду. Мама знала, что у меня в школе было три дневника: один для папы, другой для неё, третий для учительницы. Она знала всё.

— Ну, тогда давай так. Ты девушка или женщина?

Я говорю:

— Мам, а ты как думаешь? Мне кажется, я уже в общем-то женщина.

Я сейчас мучительно пытаюсь вспомнить, по ответу на какой вопрос она всё же поняла истинное положение вещей. Кажется, она в результате постепенно и вынужденно спустилась до физиологических подробностей. И только тут до меня дошло, что за казус постиг двух великих медиков: они дописывали свои докторские диссертации, совершенно упустив при этом из виду, что есть важные вопросы, которые нужно было разъяснить дочери — причём своевременно.

Моя великая, прекрасная мама стала нервничать и причитать — а я по-прежнему не понимала, что, собственно, случилось. Тут-то и выяснилось, что весь кипеш из-за того, что можно забеременеть и что нужно предохраняться. Из разговора я вышла в состоянии абсолютной озадаченности, внезапно обнаружив, что ничего не знаю про драмы и тайны интимной жизни. По счастью, мы с мамой здраво рассудили, что папе и правда всё это знать совсем ни к чему.

История эта не только про трудности перевода. Она про педагогический провал образцовых родителей, которые мало того что медики-академики, но ещё и учат тебя никогда не опаздывать, составляют

тебе план чтения на годы вперёд, говоря, что Бальзака рано, а вот Грина надо сейчас — и в результате умудряются прозевать важное и очевидное. Но это история и про счастье, про то, как моё неведение позволило встретить свой первый секс как лёгкое и очень весёлое приключение. Наверное, поэтому до сих пор я часто смеюсь в постели.

Робот-лошадь Пржевальского

Лето. Жара. Москва. Воскресным утром из дома номер 7 по Садовой-Кудринской выходит счастливая троица — высокий привлекательный мужчина с седыми висками, юноша лет семнадцати и девятилетняя кудрявая девочка. Лёгкой походкой доходят до угла Садового кольца с улицей Красная Пресня и идут вниз. Там заветные исполинские ворота в главный детский рай — Московский зоопарк. Рай если не всех детей на планете, то мой точно. И да, пухленькая кудрявая это я. С папой и братом.

Я их давно умоляла сходить со мной. В зоопарке открылась новая территория и, говорят, завезли много новых разных и больших животных. Мне гарантировано счастье на полвоскресенья, на улице — теплынь, и у меня новое болгарское голубое платьице в стиле baby doll.

Таблички «Животных не кормить!» висели, к счастью, не везде. Поэтому мы закупили булочек и семечек.

Меня пробирала дрожь наслаждения, когда удавалось отправить в пушистый или оскалившийся, длинногубый или вытянутый трубочкой рот что-нибудь съедобное и смотреть, как угощение исчезает в пасти животного или в клюве птицы.

«Смотри, как он ходит!», «Ой, полетел-пополз-поплыл!», «Иди ко мне скорей!». Семечки с крошками булочек исчезали, я успевала пылко влюбиться в каждое новое животное.

И тут брат и папа говорят: «Смотри, Алён, мы теперь входим в новую зону зоопарка. И — внимание! — здесь все животные ненастоящие. Это роботы. У них только перья, мех и кожа — натуральные. А внутри — отменно сделанный механизм».

Я, в изумлении: «Дааа?!!!»

Моих мужчин охватил творческий азарт.

— Смотри, видишь уточка плавёт? Настоящие так ровно и прямо не плавают! А вон орёл степной не двигается уже минут пять, наверное, механизм заело. Или вон, смотри, лошадь Пржевальского ходит только вдоль ограды, туда-сюда! Не бегают кругами совсем. Наверное, с поворотом у них что-то сломалось.

Я всему верю, не устаю изумляться человеческому гению и несусь подкормить летучую собаку из вида рукокрылых. Она живо схватила у меня с руки пару семечек и повисла на рейке вниз головой.

— Так у них что же, и живот механический?! — спрашиваю я брата.

— Конечно! — Он уверенно: — И там же в механизме есть специальная переработка какашек, которые в конце дня просто пылесосит служащий зоопарка.

Когда закончились рассыпчатые булочки, а вместе с ними и терпение брата с папой, мы отправились домой.

Меня по-прежнему трясло от восторга. Я мучила отца с братом вопросами про жизнь, смерть и размножение этих новых суперживотных. Едва влетев в квартиру, я выпалила маме сенсационную новость про зоопарк. Подробно и с неумеренными преувеличениями описываю ей повадки роботов из животного мира.

По её вспыхнувшим глазам начинаю понимать: что-то не так. И тут у меня из-за спины раздаётся сначала сдавленный стыдливый смешок, а потом папа с братом хохочут во весь голос и гордо рассказывают маме о своей остроумной шутке.

Дорого же они за неё заплатили. Сирена моих рыданий оглушила их на добрый час. А заодно они были наказаны мамой в стиле «я не желаю с вами вообще разговаривать».

Эх, мальчишки-мальчишки, нехорошо обманывать девочек!

Прошло время, рыдания забыты, но лёгкая обида осталась на много лет. И тут мне попадаете книга выдающегося физика-теоретика и футуриста Митио Каку «Физика будущего». В последней главе «Один день в 2100 году» он описывает сам этот день.

Так вот, домашний друг главного героя — собака-робот, которая «умеет играть, бегать, приносить брошенные предметы — в общем всё, что делает настоящая собака. Только на ковёр не писает».

Детская обида испарилась. Даже появилась какая-то гордость за своих провидцев-родственников.

Любоваться настоящими животными, радоваться их загадочному дикому счастью я буду всю жизнь. Когда у меня появился загородный дом, в нём прочно поселились собаки — весёлые, красивые, раздолбайские хаски. Иногда, во время внезапных припадков собачьей благовоспитанности, они кажутся мне ненастоящими. И я испуганно трогаю их, боясь нащупать механическое сердце.

Первый

Эх, где мои семнадцать лет на Большой Каретной? Начало 1970-х было бурным. На носу долгожданный выпускной из 22-й спецшколы, непросто принятое решение поступать в МГУ на филологический, а вовсе не в медицинский.

До вступительных оставалось десять месяцев. Провалиться на экзаменах в университет означает наклеить позор на семью, поэтому ношу по репетиторам и кручу подростковый и весьма платонический роман с Максимом Никулиным на радость нашим родителям. Столько дел, столько дел. Как-то, дождавшись родительского отъезда на выходные к кому-то на дачу (это же с ночёвкой!), я устроила весёлую гулянку у нас в квартире.

— Чтобы к нашему возвращению всё было убрано и вымыто! — кинули последнее условие папа с мамой.

Всю ночь двадцать подростков обжимались под битловских «Neu Jude» и «Yesterday», тряслись под АВВА, орали хором с Эриком Кlapтоном «Лейлу», рыдали над смертью Джанис Джоплин, поглощали много среднего качества вина из дружественных соцстран, целовались, обнимались.

В одном из танцев я врезалась в тёмно-шоколадные глаза с длинными ресницами. Они принадлежали троюродному брату Максима — Лёве Карахану. Он был старше Макса года на четыре и казался полной его противоположностью. Вместо гусарской лени Макса — сдержанность, не блондин, а жгучий брюнет, тот сыпет шутки и анекдоты (весь в папу), этот редко роняет ироничную фразу.



Лев Карахан, 1974 г.

В воскресенье днём, очнувшись от гулянки, выжившая троица Никулин-Карахан-Долецкая занялись выполнением поручения «чтоб убрано и вымыто». Если прилипшие к стене кусочки лимонов можно было содрать, а следы от них — отмыть, то жестоко обглоданное мандариновое дерево у папы в кабинете восстановлению не подлежало. Не искать же ёлочные игрушки-мандарины вместо настоящих? Расплата за дерево была терпимой: не говорить по телефону из дома дольше полутора минут. Ничего, наберём монеток-двушек и побегаем по автоматам.

Через пару недель в ресторане «Прага» на Арбате праздновали день рождения Юрия Никулина. Толпа друзей и родственников всех мастей и разной степени приближённости уселась за длиннющий стол, и началась классическая интеллигентская «посиделка» — с остроумными тостами и хохмами, с пересаживаниями и разговорами, с анекдотами и бесконечными сменами закусок-нарезочек и блюд мясных, рыбных и куриных. И тут я чувствую, что по моей вытянутой под столом ноге нежно так, неслучайно и осторожно проходит чья-то чужая нога. Поднимаю глаза и снова врезаюсь в те самые, за лесом длиннющих чёрных ресниц, ироничные темно-шоколадные. Ба-бах! Разряд тока. Укол в дыхалку. Головокружение от инъекции в мозг. «Участь моя решена».

И понеслось всё в известном стиле «я утром должен быть уверен, что с вами днём увижусь я». По десять звонков в день на те самые полторы минуты: «я скучаю», «люблю», «как ты, моя», «что у тебя», «где и когда». Кино-вино-домино, как говорили мои родители, пошло полным ходом. Он уже учился на журфаке МГУ, а там показывали неведомых тогда массам Антониони, Феллини, Бертолуччи и фильмы Тарковского, Параджанова, Кончаловского, положенные цензурой на «полку». И он водил меня везде.

Я дышала им. Его вкусом, мыслями и словами, его тихим низким голосом, руками, прядями волос. Но вступительные в универ никто не отменял. Я строчила сочинения про лишних людей и маленького человека в русской литературе, зубрила даты, спряжения со склонениями и до выпученных глаз изучала всё про то, что «Лондон — город контрастов».

И тут у нас с Лёвой созрел план-кинжал — как насладиться нашей неуёмной любовью, но совсем без свидетелей. И провести хоть два дня только вдвоём, где до нас никто не дотянется. И ничего нам за это не будет. В мои семнадцать и его девятнадцать на дозоре за нашим поведением стояла пара семей со строгими правилами.

На какой-то из двадцатых дней июня был назначен школьный

выпускной. Единственный в нашем детстве праздник, когда ночью, «после бала», все законно плавали на корабликах по Москве-реке и встречали рассвет всем классом. Но вот засада. Аттестат зрелости выдавали в школе только на следующий день как гарантию хорошего поведения на выпускном. У меня такого шанса не было.

Мама купила у директорши комиссионки заграничное длинное платье с разрезом сбоку из голубой парчи с серебряной ниткой (Миучча Прада часто играет с такой тканью), а ещё я выклянула парик, на которые тогда была беспощадная мода. Явилась в школу платиновой блондинкой с чёлкой и со стрижкой а-ля Джулия Эндрюс на вручении Оскара. Свою афрогриву пришлось намочить и жёстко запихать под парик. Разумеется, все меня с трудом узнали, потом упали. А я прямиком к директору школы на аудиенцию. У той тоже с лицом случилась беда.

— Зинаида Владимировна, — говорю, опустив очи долу, — у меня сложнейшее обстоятельство. Я могу присутствовать на выпускном, выступить в концерте, но в ночную поездку на корабле никак, потому что мне надо сидеть со своей бабушкой (у меня их отродясь не было, вернее, одна ушла до моего рождения, а вторая — когда мне было три года). Она совсем плоха, в больнице, и эту ночь дежурю в семье я. Поэтому очень прошу мне выдать аттестат сейчас.

— Ну, что ж с тобой делать, Долецкая? Хорошо. Забирай.

После концерта и бала выпускники высыпали толпой в школьный двор — прогуляться, выпить разных лимонадов, втайне от учителей покурить и готовиться к поездке на корабль. Тут к воротам подъезжает такси, открывается боковая дверца, вижу Лёву, срываю парик, сумочку с аттестатом под мышку, и только нас и видели. Ещё засветло мы приехали на его дачу в Валентиновке, и понеслись два дня безудержного счастья — на террасе, на печке, в лесу и где только не.

В очередной раз, не в состоянии оторваться друг от друга, мы упали на поляне повалиться и пообниматься, и вдруг я услышала, как мне в ухо текут три тихих жарких слова, которых я никогда не слышала и почему-то не ждала услышать: «Ты моя жена». Остановка сердца. Счастье.

Вернулись в Москву как ни в чем не бывало. И да. Нам ничего не было. Я засела вплотную готовиться к вступительным. Мама уже была в курсе моего головокружительного романа и взяла в свои руки учебную дисциплину: папу отправила в дом отдыха «Серебряный Бор», «чтобы не болтался под ногами», гостиная была оборудована под рабочую библиотеку, наши свидания с Лёвой дома были под регламентом удара исполинского индийского гонга в коридоре ровно через полтора часа после

начала. Моя великая мама.

Грохнуло жаркое лето 1972-го с пожарами и самой жестокой засухой за весь XX век. Воздух накалялся во всех смыслах, и мудрый не по годам Лёва принял решение уехать со всем семейным колхозом в Крым, чтобы дать мне возможность нормально заниматься и готовиться к экзаменам. Шутки кончились, сердца горели. Мы писали друг другу письма, нумеруя каждое (я быстро сбилась, счёт не моё сильное место). Ласкала глазами широкие петли в его буквах «у», «д» и «в», повторяла про себя знакомые нежные обращения, хохотала в голос над бесконечными шутками надо мной и над ним самим, слышала музыку, которую они у себя в Крыму крутили, вымокала с ним под феодосийским дождём и заряжалась энергией, заточенной на победу.

Через полгода уверенная студентка первого курса филфака и не менее уверенный студент третьего на журфаке отправились в ЗАГС подавать документы.

— А где разрешение родителей? — ворчливая тётя не подняла на меня глаз и не оторвалась от пухлой книги записей.

— А нам не надо, — говорю. — Мне сегодня ровно 18.

Великий народный артист «помог» ускорить бракосочетание на целых два месяца.

Папа был в бешенстве. Зачем? Почему сейчас? Ответы про любовь не сработали. Пришлось идти иным путём: сдаю всю зимнюю сессию на «отлично».

— Хм, посмотрим.

Латынь с её *gaudeamus igitur*^[3], античная литература с «Илиадой» и «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына», введение в языкознание — всё было сдано как обещано. Не помогло. Папа решил не приходить на бракосочетание. Ему крепко досталось от главного матриарха семьи Никулиных, Марии Петровны, тётки ЮВэ: «Стасик, не дури. Возьми себя в руки и чтобы был». Стасик был.

Нам шло в руки всё, что хотелось, — своя первая маленькая однушка на Новом Арбате, дизайн вместе, заработки вместе, друзья, посиделки, курсовые и дипломные, каникулы и краткие разлуки. С письмами и звонками, если была связь. Мы были счастливы.

Я забеременела и за два месяца превратилась в пышную сдобную булочку с грудью. Ночью на девятой неделе начались адские боли, утром меня увезли в больницу. Лёвы не было рядом ни тогда, когда хлестала кровь с больничной койки, ни тогда, когда вычищенную вернули в палату. Чем-то был занят. Не срочным, не безотложным. Наверное, по юношескому

инфантилизму не понял, как он мне был нужен. Меня оставили ангелы. Шрам.

И потекла дальше наша молодая прежняя и уже чуть не прежняя жизнь. Он оставался главным любимым, точкой отсчёта, с любимой семьёй. Работал редактором в умном, даже престижном журнале «Искусство кино». Я окончила университет с красным дипломом и поступила в аспирантуру.

И тут мы словно помчались по жизни на разных скоростях. Он задумчиво сидел за столом часами и днями, пытаясь написать статью в журнал, а меня нёс ураган. Первые свои студенты, первые научные спецсеминары и лекции, диссертация. Мало. Занялась йогой (тогда строго запрещённой с угрозой отчисления из МГУ) со всеми вытекающими отсюда вечерними занятиями, медитациями и голоданиями. Мало. Собрала труппу английского театра. Ставили мюзиклы по-английски — для камуфляжа опасных намёков репетировали ночью. Стало неудобно вместе. Разъехались по-дружески с сохранением ключей от квартиры — передохнуть от разницы скоростей. Я любила его всё равно.

Как-то раз после долгой репетиции моим «актёрам»-студентам филфака уже было не добраться до дому, и они остались у меня в квартире на Арбате. Безо всяких там развратов. Я в восемь утра уехала в университет к своим научным подвигам. А около двенадцати он приехал что-то взять дома и, увидев трёх сонных полуголых мужиков, сказал: «Доброе утро. А где Алёна?» — забрал нужное и поехал дальше. Эти трое до сих пор вспоминают спокойного благородного красавца, который почему-то не дал им всем в глаз.

А потом был предупредительный выстрел в воздух. Записка. От него. Не помню, по какому конкретному поводу:

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ТВОЕЮ МИЛОСТЬЮ БЫЛ СЛИШКОМ ПЕЧАЛЕН.

Чем дальше отодвигается день твоего отъезда, тем больше я убеждаюсь в твоей дурости, очаровательной для окружающих и угрожающей для нас с тобой. Мечтаю, что ты с ней расстанешься до того, как в этом отпадет необходимость.

Не рассталась.

И подхватила разбитое сердце и одного из лучших мужчин в моей жизни соседка по рабочему столу в умном журнале. Подхватила и зажала в свинцовый кулак в бархатной перчатке. Как мы развелись, не помню. Главное — я выклянчила у него все письма друг другу за наши удивительные первые семь лет. Бумага желтеет под ленточкой, но широкие петли в буквах «у», «в» и «д» всё те же. Он — другой.

Когда я собралась выходить замуж второй раз, он сказал: «Неужели она за него выйдет?!» Хм! А как он на ней женился?!

Дядя Юра, Король-Солнце

Иногда встречаешь людей, которые оказываются тебе ближе, чем родные. Кажется, что где-то на небесах вы находились в родственных взаимоотношениях, дядя и племянница, муж и жена, брат и сестра, неважно. А соединение с некровным человеком кровными узами — это редкий двойной приход. Его хорошо бы не прозевать в жизни. Он или она могут оказаться «королём-солнцем» вашей жизни.

Москва. Лето. Цветной бульвар. Меня за что-то хорошее родители наконец ведут в Московский цирк. Стоим перед волшебным входом с двумя лошадами, которые упираются передними ногами в солнечный круг со словами ЦИРК. Кого-то ждём. Скоро подходит высоченный, обаятельно сутулый, худой дядька с длинным носом, обнимает и целует родителей, смотрит на меня, одиннадцатилетнюю с кудрявой головой, и словно с неба говорит:

— Как тебя зовут, девочка?

— Меня зовут Алёна, — отвечаю.

— А почему ты говоришь басом, Алёна?

— Папа говорит, от бабушки достался...

Следующие двадцать лет нашей дружбы он будет иногда вспоминать, как его удивил мой низкий голос, и очень смешно меня передразнивать. И будет так же называть меня «девочка». Почти всегда. А я всегда — «дядя Юра».

Про Никулина, большого актёра, знаменитого клоуна, директора цирка и космической доброты человека, написано и снято много талантливого. Хотя лучше просто пересматривать его фильмы. Или его цирковые выступления. Всегда видно, какой он грандиозный актёр.



Максим Никулин, Юрий Никулин и Алёна Долецкая, 1977 г.

Но куда важнее, каким он был со своими. Дома. Пойму я это не сразу. А пока в своём неуёмном девичестве я начну пользоваться дядюриной щедростью: ходить на цирковые представления, бродить по закулисию. Обратная сторона рискованной цирковой сказки была невероятно притягательна.

Идёшь по коридору к Юриной гримёрке, мимо проносятся воздушные гимнасты в искрящихся всеми цветами радуги костюмах, с их ладоней летят белые облака талька, спины прямые как струны, мышцы блестящие, чем-то намазанные. Боги. А навстречу с деловыми и чуть уставшими лицами бредут канатоходцы. Отработали свой номер и на отдых. Они только что чуть-чуть не упали с каната, понарошку, под барабанную дробь, а зал вопил от страха на весь Цветной бульвар, но они продолжали держаться в воздухе за руки, а потом разъединялись и начинали жонглировать. Как размноженный Тибул из «Трёх толстяков», они излучали странное знание о том, как ходить в воздухе по верёвочке и ничего не бояться.

Из-за дяди Юры я могла бы пойти работать в цирк. Слава богу, не случилось. Но насмотреться на этих героев из мифов Древней Греции, которые вызывали космическое восхищение, удалось.

В Юриной гримёрной всегда было тихо. Я думала, у клоунов всё время что-то происходит, они там хохочут, придумывают шутки и номера — ан нет. Тишь да гладь. В гримуборной почти всегда была и Юрина жена, короткостриженная тётя Таня, красивая и любящая. Бывшая актриса, часто «работала» с ним репризы и говорила удивительно звонким молодым голосом. У Никулина, Шуйдина и Никулиной был один большой гримерный стол на всех и все красились сами.

Откуда мне было знать, что клоунские репризы, как многократно уложенный крем в торте «Наполеон», прослаивали насквозь весь спектакль и актёрам надо было быть всегда в полной боевой готовности. Мало ли что может случиться? Может, и вне сценария надо будет выскочить.

Несмотря на занятость и обсуждение технических деталей реприз, Юра всегда меня оберегал и заботился:

— Девочка, хочешь лимонада? Хочешь потом сходим к фокусникам?

Как я его доставала с этими фокусами! В самое неудобное время и до самой печени. «Ну дядя Юр, ну как он её разрубил в ящике? Откуда у него в шляпе было столько птиц? Куда он исчез перед нашим носом? А как у него цветок вырос в одну минуту?» И он всегда с честными глазами:

— Да мы сами не знаем, девочка!! Представляешь?!

Он учуял мою страсть и, не дожидаясь дней рождения и Новых годов, стал приносить мне в подарок книжки про фокусников. Я даже не успела попросить. Просто сам.

Так я ещё на полвека и прилипла ко всем книжкам и фильмам про фокусников и волшебников. Ох уж эти тайны профессионалов.

Дружба семьями привела к тому, что мы подружились с Максимом, сыном Тани и Юры, очень на него похожим. Только чуть красивей, что ли. У Макса была такая же поразительная память на анекдоты, та же манера их рассказывать, так же сутулиться. Дом Никулиных был до того гостеприимным, что казалось, в их квартиру на Малой Бронной всегда открыта дверь.

Теперь после уроков я убегала именно туда. Мне нравилось, что у них всё было не так, как у нас. Это был дом, где было всё можно. Вот прямо совсем всё. Смотреть телевизор (у родителей не было телевизора, справедливо считался тратой времени). У Никулиных, кроме собрания сочинений Рахманинова, Малера, Дебюсси и прочих Шопенов (этих и у нас дома было предостаточно) были пластинки, из зарубежных гастролей с Jesus Christ Superstar, The Beatles, Rolling Stones. Можно было лежать в наушниках на диване, а можно было динамики громко включать. А ещё — там можно было курить!

Дом, где строгость и наказание были несуществующими категориями. Там можно было прятаться. И так как они были совсем богемой, можно было иногда ругаться матом. А на праздники столы ломились от закусок и нарезок всех мастей (ох, этот розовый в прожилочку карбонат), салаты — мимоза и оливье, морковные с сыром и свекольные с грецким орехом, огурчики хрустящие, помидорчики с перчиком и пирожки.

Но Главным был Король-Солнце, сам ЮВэ.

Он приходил домой и начиналось:

— Что делаете, ребятки?

— Английский учим.

— А-а-а, английский. А тут вот приходит англичанка к своей подруге, а та гру-у-стная такая...

И пошло-поехало, свежий анекдот. Иногда он придумывал новую шутку по дороге или в лифте и проверял её на нас, как на подопытных свинках. И начинал дико хохотать в конце, что делал крайне редко. Потом спрашивал: «Не смешно, да?» И все такие: «Не, Юр, чего-то не смешно». А он: «Ну, я так и думал». Он умел смеяться, когда всем было не смешно.

И всегда шутил к месту, а не ради потравить анекдоты. Вот идёт кто-то

из нас мимо, мурлычет: «А я играю на гармошке...» Он тут же: «А ты знаешь, как карлик играет на гармошке?» Все подходили к нему, и он: «Вот, смотрите, карлик такой маленький, — и длинными пальцами показывает на больших ладонях нам этого карлика, — гармошечка у него во-о-о-от такая малюсенькая, вот он берёт гармоньку свою, пальчиком маленьким нажимает, и разжимает — ба-бах!» — в разные стороны разлетались его длинные руки, и всем стоящим рядом доставались шлёпки по физиономии невидимой разлетающейся гармошкой. Так он по ходу пошутит и уходит куда-то по своим делам, исчезает. А от него оставался... знаете, как женщина пройдёт и после неё остаётся шлейф удивительных духов, и все говорят: «Да-да-да-да, заходила эта». От Юры всегда оставался шлейф улыбки — он ушёл, а все ещё продолжают улыбаться. Или его ждать.

Дружба с Максимом переросла в замужество с его братом Лёвой. Мама мальчишек были двоюродными сёстрами. На Тане, маме Максима, после фронта женился дядя Юра, а на Ольге — его ближайший друг Марат, отец Лёвы. И жили они все долгое время с бабушками и дедушками в огромной, кажется шестикомнатной, коммунальной квартире с ещё двумя семьями в двухэтажном особнячке на улице Фурманова (ныне Нащокинский переулок) возле метро Кропоткинская. Когда я переехала после свадьбы в семью Лёвы, Никулины уже жили на Бронной, но на входной двери у их кнопки по прежнему висела табличка, написанная Юриной рукой: «Колхоз Гигант».

А да! Жениться нам приспичило срочно, и, конечно, рядом был дядя Юра. Ускорил установленную законом СССР процедуру ожидания на пару месяцев. Он же, кстати, помог мне с выбором профессии. Родители хотели, чтобы я пошла в медицинский, а Никулины такие с жаром: «Алёна — чистый гуманитарий, на актёрское уж точно пройдёт». Я втихую даже экзамены сдала в школу-студию МХАТ. Тут выступила мама: «Какой ещё театральный?! Только через мой труп! Ещё не хватало в нашей семье этой странной профессии». Потихоньку сошлись на филологическом факультете — я любила иностранные языки и много читала.

Где нам жить с Лёвой, у меня не было ни малейшего сомнения. От родительской профессорской квартиры я отказалась, не задумываясь. Конечно, скучала и приезжала к своим, но счастье было именно там, в «Колхозе Гигант». Тонкие, ироничные и добрые родители Лёвы (меня почему-то всю жизнь будут любить родители моих мужей, некоторые удочерят, но об этом я ещё понятия не имела), застенчивая сестра Наташа и терпеливая бабушка, выносили с олимпийским спокойствием наши бесконечные песнопения и танцульки в соседней комнате.

Как-то мы поехали отдыхать все вместе под Киев. И тут дядя Юра куда-то пропал — вроде к обеду пора было собратъся. Побежали на розыски. В пролеске, неподалёку от нашего дома, увидели его спину. Он сидел застывший, как буддийский монах, возле исполинского муравейника и заворожённо наблюдал за насекомыми. Сидел явно уже очень давно. Жалко было беспокоить его банальным обедом.

МОСКОВСКИЙ ЦИРК
на Цветном бульваре



НИКУЛИН
Юрий Владимирович
ДИРЕКТОР
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Алёнушке, дорогой моей
племяннице
на память от дяди-директора.



Никитин

21 февраля 1972
(ошко!)

Цветной Бульвар.

РОССИЯ,
103051 Москва, Цветной бульвар 13.

Зина

Отдыхал он от съёмок, от всех нас и прочих дел за чтением книг (библиотека была колоссальная). И ещё у него было guilty pleasure, аналог нынешних компьютерных игр — он любил раскладывать пасьянс. И все знали, если Юра начинает раскладывать пасьянс «13», то подходить лучше не надо — это святое, занят медитацией по-русски. Он только любил, чтобы рядом стояли малюсенькие безе, которые я тогда увлечённо готовила. Порадовать его чем-то было почти невозможной роскошью.

Привилегию всех радовать и благодетельствовать ЮВэ оставлял исключительно за собой.

В остальное время — если не на сцене, под камерами, в кабинете директора — он бесконечно кому-то помогал. Больницы и квартиры, письма и ходатайства, деньги и места работы, похороны и роды. У него был могучий талант отдачи. Он отдавал всем всё. Всегда. И незаметно. Об этом узнать-то можно было или подслушав-подсмотрев, или от других, облагодетельствованных.

На нас, на «колхоз», сваливалась его «обычная» домашняя благодать.

Вот ты обронила за чаем: «Ой, мне так нравятся эти чаи из трав, завариваю и не понимаю, какие травы для чего хороши». Он шёл через неделю в Дом книги, где отоваривался по блату, и приносил оттуда книжку «Травы России и их лечебные свойства», которая тогда была огромной редкостью.

Едешь с ним на его «Волге», он нарушает правила. Останавливает милиционер с мрачно опущенными уголками рта, плюющийся злобой и алчущий взятки: «Ваши документы!» Окно открывалось — и милиционер расплывался, выпрямлял спину и с улыбкой до ушей: «Юрий Владимирович, извините, проезжайте!» Лицо, которое появлялось из открытого окна, производило такой эффект — абсолютного счастья и желания ему позволить всё. Его безусловная любовь к людям возвращалась безусловным поклонением.

Свои были как будто под постоянным, не заходящим никогда солнцем. Это солнце материализовывалось в самых разных возможностях — от найденного именно для тебя чего-то нужного до тихого разговора в углу кабинета. Выходишь утром на даче на веранду. Все ещё спят. Юра, ранняя пташка, уже сварил кофе:

— Смотри, что я приготовил!

— Ой, дядя Юр, я ещё слепая, линзы не надела.

— Ну садись так, бедная Линза.

Легко так утро начать с Карамзина.

И снова книжки, которые не достать, модные вещи из заграничных гастролей и, главное, — долгие ужины, которые заканчивались: «Юрочка, ну поиграй», подросший Максим подыгрывал, и лился Окуджава, Галич, Кукин и народный фольклор до поздней ночи.

Часто комики и яркие актёры оказываются в жизни мрачными и скучными персонажами. У дяди Юры шутка или байка были всегда как будто в готовности «на цыпочках», вот-вот слетят с губ. Он шутил, как дышал. «Девочка, что ты какая-то печальная? Знаешь, тут приходит грустная корова к мужику и говорит...»

А ещё у него был волшебный трюк или особенность быть рядом, даже когда он был далеко. Отсутствуя, он всё время был. Конечно, когда он уезжал на долгие съёмки, мы скучали и, когда он возвращался, неслись сломя голову на Бронную: «Ну что? Ну как было? Какая она, Гурченко, как с ней? А Петренко? А Герман и правда такой мучитель?» Он приехал со съёмок фильма «Двадцать дней без войны», который снимал в Узбекистане Алексей Герман, привёз мне оттуда доху в пол — такую дублёрку на овчине — и сказал: «Я, знаешь, почему-то подумал, что тебе очень пойдёт».

На дворе 70-е, и длинное в пол было самым модным, и, конечно, такой дохи не было ни у кого — сверху чёрная, она была подбита каким-то рыжим волком. (Наверное, я всё-таки была барахольщицей задолго до Vogue.) И я ходила в этой только что подаренной дохе по квартире, не могла налюбоваться, а в ней дома можно было просто свариться и закипеть. Такая жаркая, что от двух проходов по коридору с меня ручьями лил пот. Но мне казалось, что я — звезда. И дядя Юра с тётей Таней наслаждались, глядя, как человек сиял в их подарках.

Одни его запомнили как клоуна Юрика, другие — Балбесом из «Кавказской пленницы» или куда более смешным Семёном Семёновичем Горбунковым из «Бриллиантовой руки», а люди большого калибра — Лев Кулиджанов, Андрей Тарковский, Алексей Герман, Эльдар Рязанов — увидели, что Никулин — большой драматический актёр. Его монах Патрикей в «Андрее Рублёве», журналист Лопатин в «Двадцати днях без войны», лейтенант Глазычев в «Ко мне, Мухтар!», Кузьма Кузьмич Иорданов в «Когда деревья были большими» — неповторимы и незабываемы.

По-настоящему бедной, а точнее, всерьёз обедневшей я почувствовала себя, когда врачи нам сказали, что его сердце всё же не выдержало. Проводы в цирке я помню плохо: толпы людей и, слава богу, стулья для своих. Я редко плачу, но тут не могла себя взять в руки и остановить рыданий. Меня рвало на куски слезами. Начиналась истерика.

Казалось, произошло невозможное, недопустимое, несправедливое, непростительное. Какая-то женщина на соседнем стуле меня крепко обняла и прижала к себе: «Потерпи, детка, успокойся». Так я и тряслась всё время в её объятиях. Немного придя в себя, я поняла, что это Наина Иосифовна Ельцина.

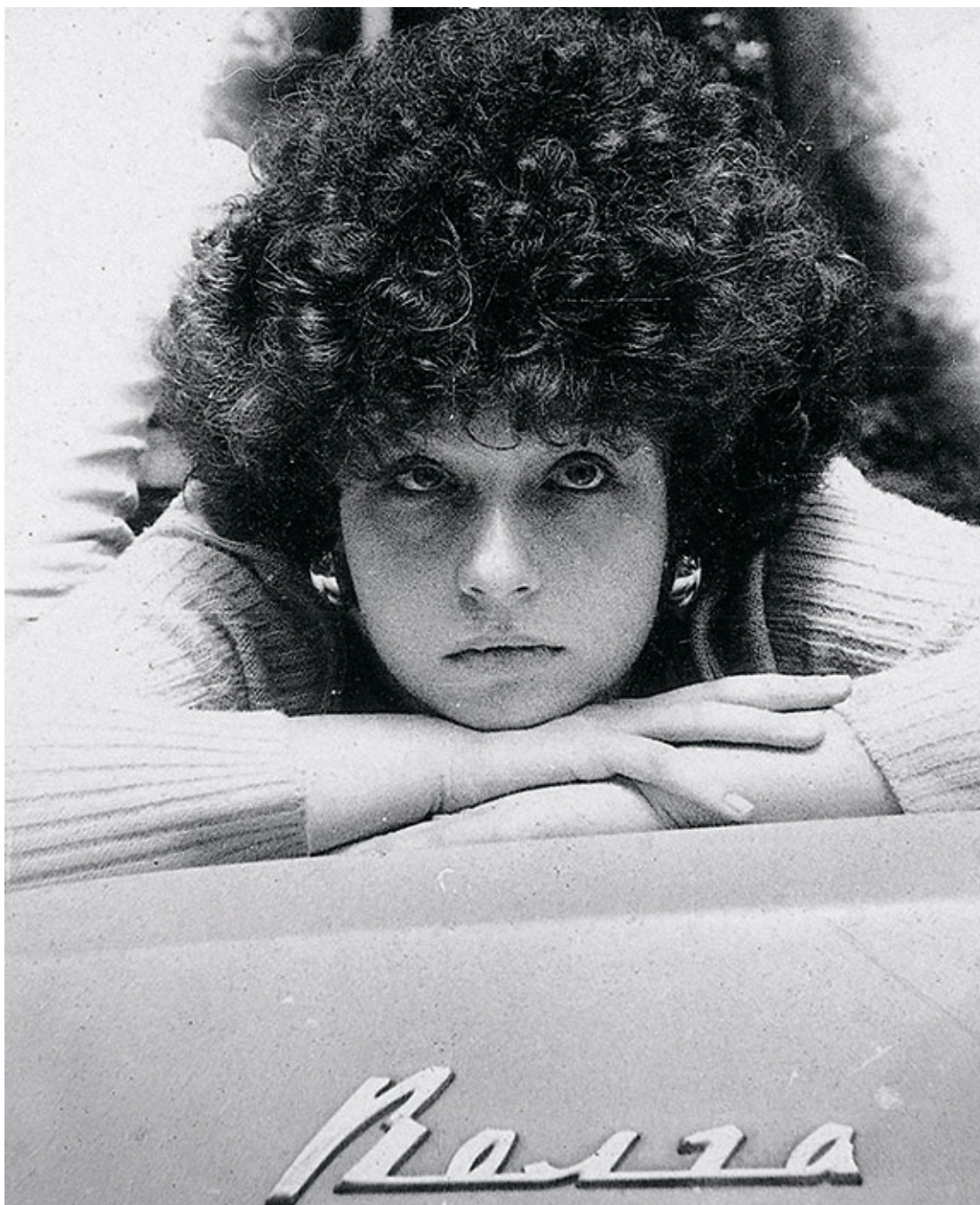
Двадцать первое августа для меня навсегда останется днём, когда от нас всех ушёл самый добрый, красивый и щедрый Король-Солнце. Но порой мне кажется, что он просто уехал на съёмки.

Кудрявая и с жопой

Вообще-то я афро.

Родилась платиновой блондинкой, но в силу бурных армянских корней очень кучерявой. Мама сохранила локон моих детских волос, и всякий раз хочется его взять с собой к парикмахеру и сказать: «Сделайте вот так». Чтобы я была как Алёна Долецкая, рождённая десятого января того самого года. По какому-то странному генетическому измывательству к десятому классу я так потемнела, что на первой годовщине выпускного вечера меня никто не узнал: «Ты чего, покрасилась?» Я превратилась в тёмную шатенку. Но независимо от цвета волосы были сильно вьющимися и настолько густыми, что было бессмысленно их отращивать. Непонятно, чем их расчёсывать. Поэтому кличка у меня была Анджела Дэвис. Мой парикмахер иначе как «матрасом» мои волосы не называл, и да, это был просто такой плотно набитый шароподобный матрас. Я мыла голову, сушила, и она вся сама укладывалась — беспечно и очень, надо сказать, удобно. Нет объяснения тому, почему мне это казалось некрасивым. Но факт: я страдала от несправедливости природы.

Во-первых, я не Анджела Дэвис. Во-вторых, я не борюсь за свободу угнетённых народов. В-третьих, я, наоборот, Алёна Долецкая — почему меня нужно дразнить Анджелой Дэвис? Ну и в-четвёртых, уже теперь по совсем необъяснимой причине мне казалось, что густые прямые волосы намного красивее вьющихся. И тогда через подруг-подруг я узнала, что, оказывается, волосы — тот же шёлк. Если поставить утюг на режим «шёлк», а не на «хлопок» или «лён», где слишком жарко, волосы разглаживаются. Никаких щипцов-утюгов в помине в то время не было, были только такие круглые горячие щипцы — для химической завивки. А вот выпрямители отсутствовали в парикмахерской природе напрочь, как это ни странно. Поэтому моя бедная мама вынуждена была, поскольку самой это совершенно невозможно делать, гладить мне волосы утюгом.



Алёна Долецкая, 1978 г.

Дальше моя грива претерпевала всевозможные издевательства. Я узнала, что есть такое измывательство, как шестимесячная химическая разбивка, которую я немедленно на себе попробовала. Она превратила мои волосы в какую-то адского уродства паклю, выравленную и тусклую. Пришлось долго носить модные кепочки и шапочки, чтобы этого ужаса никто не видел. Слава богу, волосы росли бодро и неумно. Но! Новые

вырастали тоже вьющимися.

К счастью, индустрия красоты не стояла на месте, и появились первые неуклюжие утюги для разглаживания. Потом — фены нового поколения, которые в союзе с особой щёткой могли это мелкобесье распрямить. Оказалось, что это неудобно делать самой, поэтому я была обречена ходить мыть голову в парикмахерские и укладываться у мастера. Зато сухие от природы волосы, раз уж я их уложила (если не попасть под дождь и под душ) долго держались прямыми. Но и тут — закавыка. Турбулентная личная жизнь заносила меня в разные ситуации, ведь никогда не знаешь, где окажешься под душем, причём с неуправляемым вектором поливания. Чем нам приспичит заниматься в ванной? А после душа-то я выходила с совсем другой, разоблачённой, головой и, получается, другой девушкой, что мне казалось обманом и даже позором. Ох уж эти превращения!

Жизнь продолжалась, мы осваивали технологии, и на прилавках заискрились ещё более новые фены и щётки, благодаря которым я уже могла справиться с гривой сама. Это было уже почти приближение к счастью. Начала отращивать длинные волосы. Ведь с этим матрасом я не могла носить подлинней, потому что становилась похожей на чабана в шапке. А когда ты их выглаживаешь до шёлка, то длинные волосы смотрятся женственно и игриво.

И тут у меня происходит неожиданная встреча. Иду на премию ТЭФИ в Кремлёвский дворец съездов и встречаюсь с моим другом Володей Григорьевым, основателем книжного дома «Вагриус», а потом и замминистра печати. А с Вовой мы дружим с каких-то давних пор. Он говорит: «Слушай, а ты ведь училась на филфаке в таком-то году? Ты знаешь, что мой дружок Петька Авен тоже учился с тобой? Только на экономфаке». Да я прекрасно помню, он всё время кадрился к одной моей подруге.

— А как же! Но вот после универа жизнь нас раскидала, я никогда его больше не видела.

— О, сейчас мы сделаем ему сюрприз. Он здесь, на премии.

Подходим, вижу, сидит Петя, вообще не изменившийся. Впечатление, что человек принял какой-то консервант в 1980 году. Уже ранние нулевые на дворе, а Петя такой же — быстрый, румяный очкарик, говорит и делает всё очень быстро. Мы подходим, и Володя говорит: «Петь, у меня сюрприз». Немая сцена. Я в облегающем коктейльном платье периода первых лет Vogue, на высоких каблуках, заметно постройневшая с университетских времён и, конечно же, с прямыми волосами до плеч. Петя, замерши, смотрит:

— Долецкая, где матрас?!

Узнал в одну секунду. Мало что узнал.

— Петь, — Вова удивлённо, — ты что, хочешь сказать, что Долецкая вообще не изменилась?

— Страшно изменилась! Я же помню, идёт по длинному коридору филфака в этом тёмно-синем платье, из этого... Как у женщин называется? Шёлк? Шифон? Плиссированная юбка, жопой раскачивает, всё на просвет. Белоснежный воротничок — и эта грива тёмная. И идёт такая.

У меня шок. Со скрипом нейронов, ответственных за память, пытаюсь вспомнить, о чём он говорит, но он безупречно точен. Я долго мечтала об этом платье. На последнем курсе универа уже знала, что иду в аспирантуру, и нам разрешили принимать вступительные экзамены. На приёмных я должна быть абсолютной звездой, в тёмно-синем платье в мелкий горошек. Увидела его в фильме на какой-нибудь Софии Лорен. Белый воротничок указывал на верную принадлежность к педагогическому составу, горошек был игрив, а плиссе придавало ещё больше пикантности. Как он всё это запомнил, я не понимаю до сих пор. Говорят же: память как у слона.

— Нет, подожди, Петя, как ты всё это помнишь? — не унимается Володя.

— Да ладно платье, — продолжает Петя. — А эти затёртые джинсы клёш с белой рубашкой и джинсовой курткой? И эта тёмная выющаяся копна, и эта наглость. Ты зачем так похудела?!

— Петь, я тебе сейчас что, не нравлюсь?

— Нет, я просто потрясён. А ты вообще знаешь, как я был в тебя влюблён? Но ты же всё время была замужем, я наводил мосты через Эмку Абрамову, а она говорила: «Долецкая в восемнадцать вышла замуж, сразу после первой сессии, и она такая верная и мужа любит до беспамятства, у них там какой-то вообще amour toujours, мы все уже обзавидовались. В общем, не подходи, потому что бесполезно, шансов нет».

Этот монолог свалился на меня, как Ниагарский водопад. Как это Петя, счастливо женатый отец двух потрясающих детей, может все это помнить? Тем более учёный, государственный деятель, банкир, коллекционер и, наконец, пишущий интеллектual. Где он нашёл эти ящички памяти, в которые он всё это положил? Он ведь выпалил, как из автомата Калашникова, чётко, ясно, без пауз, с деталями. И я тут же вспомнила, как влюбилась в этот шифон, его где-то увидев, и мне сказали, что продаётся он только в Тбилиси, и пришлось лететь за ним в Грузию, искать этот тканевый магазин, потом искать портниху, а портниху звали Оля. Развернулась какая-то цепь воспоминаний.

С этого момента мы с Авеном подружились, и, несмотря на то что роман наш так и не состоялся, всё вернулось на круги своя, как будто и не было двадцатилетнего перерыва в дружеских отношениях. У нас было это общее магическое чувство причастности нашей альма-матер под названием «Второй гумфак на Ленинских». Наверное, оно сработало, и после этого мы уже не расставались.

И всё это время матрас и жопа неизбежно всплывают, как исполинская молекула молодости, как неотъемлемая часть меня той — молодой, сносившей мужикам крыши.

Вскоре у меня случилась похожая встреча с ещё одним моим другом. У нас был ранний, бурный и яркий роман, когда мне было лет тринадцать или четырнадцать. Потом мы разбежались, он уехал за границу, прошло лет двадцать пять или чуть больше, он вернулся в Москву, и друзья нас встретили заново. Мы, конечно, сильно изменились — он уже брил голову, но лицо осталось тем же. С внимательными, ироничными, быстрыми тёмными глазами. Про меня он, как человек тактичный, ничего личного не сказал, мы вернулись к нашей дружбе как ни в чём не бывало. И вот мы дружим-дружим домами, прошло года три-четыре, он вдруг говорит:

— Я всё хочу тебя спросить, почему ты волосы-то свои не носишь? Куда они делись, развились? Так бывает?

— Нет, — говорю, — я их выпрямляю.

— А зачем?

Вот подай им теперь и матрас, и жопу. Трогательно.

Этот матрас я позволяю себе, когда уезжаю на отдых, где тепло, солёная вода и где мне, в общем, забить на всё. Я там не растягиваю волосы, и, хотя этот уже совсем не прежний афроматрас, а просто вьющиеся волосы, все ужасно удивляются: «Ой, Долецкая совсем другая, такая чудная».

И тут совсем по-девчачьи я себя сама спросила: «А что я парюсь-то? Почему всё-таки разглаживаю волосы?» И поняла: в том девичьем «матрасе» было что-то безбашенное, легкомысленное. Соразмерное и сообразное, как говорил наш Александр Сергеевич, возрасту, характеру и положению.

С гладкими длинными волосами мне легче жить взрослой. Мне кажется, что это красиво. Теперь даже к моему парикмахеру Игорёчку иногда приходят с просьбой: «Можно мне чёлку как у Долецкой?»

И тут вспоминаю это мамино:

— Убери волосы со лба, надень обруч, у тебя красивая форма лба.

— Мам, тебе не кажется, что с обручем получается деревня какая-то?

— Нет, не деревня, а очень благородно.

Недавно увидела свою фотографию с этим обручем на голове — ужас какой-то.

А в ушах мамин голос:

— Открытый лоб делает лицо интеллигентнее, тоньше. Всё-таки понятно, каких ты корней, а не вот это вот обезьянье безобразие, которое ты носишь.

Но вернёмся к мужчинам. Хотела я было расстроиться, что, мол, молоденькая, с матрасом и с жопой, я им нравилась, а теперь ностальгируют. Но раздумала огорчаться! Потому что мы, девочки, тем хороши, что можем без конца то с кудрями, то с прямыми, то в розовый, то в рыжий, то в брюнетку, то в блондинку, то пышечкой, то стройней. Как хочу, так и ворочу. А у мужчин — где такой исполинский размах возможностей? Нет его.

Тем более мы ж не навсегда в розовый. Другое дело в ядерной физике — там есть это страшное «У-У-УПС».

Рвака

Если бы в утробе матери уже можно было молиться — просить — клянчить, я бы знала, что заказать: пошли мне, Господи, великих учителей. Чтобы трепет до костей, чтобы восхищение до потери дыхания, чтобы страх до чёртиков.

Всякий раз, когда я открываю рот и говорю по-английски, кто-то непременно ахнет: как красиво вы говорите, прямо как англичанка. И всякий раз у меня бежит знакомый холодок по позвоночнику.

Стою я на первом курсе филфака перед всей группой, сдаю зачёт по фонетике, читая феноменального идиотизма текст про погоду в Англии.

— Last time I went for a walk in the country... — распеваю.

— Долецкая! — перебивает Ирина Владимировна Магидова. — Last (с длинным глубоким «а» и с отодвинутым языком вглубь. — *Прим. А. Д.*) — это «последний». Lust, как это произносите вы (то есть сократила длину и забыла про язык), означает «похоть». Садитесь. Не сдано.

И так два семестра. По морда́м — по морда́м за каждый гласный и согласный. А вы говорите — красиво.

Самым страшным экзаменом из всех наших семидесяти в Универе всё равно остаётся средневековая литература у Константина Валерьяновича Цуринова. За глаза его звали только Цуринов или Цурик. Крупный учёный-медиевист, в прошлом переводчик на Нюрнбергском процессе, был маэстро шпионажа за студентами. Списать у него на экзамене не было ни малейшего шанса. Он виртуозно ловил шпаргалки. И вот, сдаёшь ему, например, «Ирландские саги. Место и значение в средневековых мифах», и поёшь про их уникальное место, а он тебе так невзначай:

— Вы упомянули Кухулина, великого героя, верно. А напомниме-ка, между какими двумя пальцами ноги он держал копье, когда убивал чудище?

И если ты не прочёл эти саги, откуда тебе знать, что у Кухулина было не пять, а семь пальцев, и зажал он это чёртово копье между пятым и шестым?

— Увидимся в следующий раз.

Лет через пять я получила красный диплом, а ещё через пару аспирантских лет написала кандидатскую диссертацию «Сравнительная риторика английской и русской публичной речи». Вкратце: на Нобелевскую не тянула, мир не спасала, но филологический подвиг в стенах МГУ был

налицо. Отобрала и прослушала пятьдесят часов русских и английских публичных выступлений, промерила темпы, интонации, паузы и вывела из всего этого научные и практически важные выводы. Не одна, натурально — под палкой научного руководителя Ольги Миндрул. Вышло вполне недурно и содержательно.

Вылизали мы каждую главу, страницу, словечко, напечатали, переплели и отправили нашей заведующей кафедрой, грозе филологического факультета, да и всего МГУ, профессору Ольге Сергеевне Ахмановой. Она, собственно, давала темы диссертаций и тщательно с ними работала.

Статная блондинка с неизменной стрижкой каре а-ля Марина Цветаева (только верхняя прядь заколота гребнем на затылке), семидесятилетняя дама с отменной фигурой, прямой спиной, всегда на каблуках, в приталенных платьях, а в летнее время с открытыми плечами, — никогда не появлялась в коридорах филфака одна.

Она вымеривала стометровый коридор, как цапля, всегда окружённая свитой мелко семенящих коллег и аспирантов.

О ней ходили легенды. Замучила двух мужей, травила Надежду Яковлевну Мандельштам, гений коварства, калибр Борджиа. Ближайших друзей превратит во врагов один махом, яростный перфекционист, жёсткий приверженец британского акцента и британской филологической школы. Спустя много лет я наткнулся на отзыв выдающегося академика-филолога Вяч. Вс. Иванова:

«Она была ловкой авантюристкой, легко менявшейся в зависимости от ситуации. <...> Ахманова участвовала в вакханалии превознесения Сталина после языковедческой дискуссии, ругала моего учителя Петерсона за недостаточность числа цитат из Сталина в его курсе и меня за первые мои сочинения по сравнительно-историческому языкознанию».

Короче, едем мы с моим руководителем к Ахмановой на дачу, где по выходным она работала с аспирантами над научными подвигами. Как положено, с гостинцами в руках и трепетом в душе.

Освободившиеся юные учёные вставляли на мытьё посуды, избранным можно было присутствовать на разборах.

Подходит наша очередь. Садимся замерев.

Она улыбочиво:

— Присаживайтесь. — Берет в руки мою рукопись. — Что я вам скажу?

Открывает на третьей, кажется, странице, где Содержание, смотрит внимательно, медленно вырывает её из переплёта и рвёт на четыре части.

Та-а-к, содержание плохо сложили, значит, с надеждой думаю я.

А она спокойно вырывает следующую, и следующую, и следующую, и следующую страницу. И так же размеренно рвёт на четыре части. В гробовой тишине. На двадцатой странице я кидаю взгляд на своего научного руководителя. Та пристально смотрит в пол. «Где, кстати, мой второй экземпляр-то?» — с ужасом пронеслось в голове. На середине этой эпохальной рваки, странице на восьмидесятой, явно удивившись нашему смиренному молчанию, Ахманова возопила:

— Что?!?! Всё не понимаете?!?! Да как вы смели?!

— В каком смысле, Ольга Сергеевна?

— Я спрашиваю, как вы смели? Каждую главу открывать этим своим эпиграфом?! Да ещё цитируете чёрт знает кого! Лотман, Якобсон, Рождественский... Вам кто позволил нарушать диссертационный канон?

Крики не мешали ей продолжать методично рвать рукопись.

— И это не просто грубое нарушение научной дисциплины! Это пахнет хулиганством. Я бы даже сказала диссидентством! А это ваше чудовищное «вернёмся к нашим баранам»?! Всё переписать, чушь убрать, остальное я публично разберу на партсобрании.

Обожжённые этим напалмом, мы тихо удалились. Даже к мытью посуды не подошли.

По дороге нас трясло от ужаса. Выгонит из храма науки с волчьим билетом? Опозорит на весь мир? Меня беспартийную будут полоскать на партсобрании? Но чувство юмора взяло своё. Управдом Мордюкова из «Бриллиантовой руки» с её «Отключим газ!» казалась родной сестрой нашего профессора. И конечно, О.С. была исключительно советским человеком. Много гениев она может и не воспитала, но добротных профессионалов, а иногда и отменных филологов — вполне. Филфак МГУ позднесоветского периода вообще давал фундаментальное образование, которое выручило многих из нас в смутные времена, и выручает до сих пор, чем бы мы ни занимались.

Как же мы ненавидели своих учителей-мучителей, какие зверские прозвища им давали, на что в своих детских мечтах были готовы пойти, только бы они не добрались до школьного или университетского коридора. И только спустя годы понимали, как неизмеримо много мы им должны за их строгость и страсть. За то, что научили нас не жалеть себя, много и беспощадно работать и превыше всего ценить профессионализм и самоотдачу.

Потом мне самой придётся устраивать не одну рваку, воспитывая своих редакторов и журналистов. Я буду это делать часто, но не яростно,

всегда наедине и уж точно без партсобраний.

Клеймо на языке

Кто был замужем или просто жил в гражданском браке, знает, что это случается — взял и влюбился в другого. Помучились, выяснили отношения, а тут и влюблённость прошла, и снова «люблю я только тебя». Не зря же говорят, влюбиться — одно дело, а любить — совсем другое. В английском ещё интересней выходит: «влюбиться — fall in love», упасть в любовь. Ну, как упал, так и вылезай.

Эта моя влюблённость началась как-то вяло, в школе. Как говорили училки, «язык у неё идёт». Куда он идёт, неясно, но это был английский с его бесконечным школьным «Лондон — город контрастов». Куда загадочней и привлекательней казались песни The Beatles с их The Long and Winding Road.

Взрыв чувств и неподдельной любви к английскому случился в университете на филфаке. Нам поставили высокую планку: «Если ты иностранец, говори с безакцентным английским произношением под названием RP (received pronunciation), учись у лучших, читай лучшее и слушай лучших».

Всё правильно, но напомним: в начале 70-х не было видео, интернета, а живого иностранца — днём с огнём не сыскать. Поэтому — слушаем по три часа в день плёнки в лингафонном кабинете с записями великих английских актёров («никаких американцев и их вульгарного акцента!»), читающих английскую же классику. Учим отрывки наизусть. Так и поселились в моих ушах голоса Лоуренса Оливье, Пола Скоффилда, Мэгги Смит, перекатывающие эти необычные для русского звуки, взмывающие вверх и падающие камнем вниз, грохочущие гневом в шекспировских пьесах, успокоительные на Диккенсе.

Пьеса «Пигмалион», а с ней и фильм-мюзикл «Моя прекрасная леди» с Одри Хепбёрн и Рексом Харрисоном стали каноническим, обожаемым, до дыр перечитанным и пересмотренным произведением о том, как простонародный акцент может лишить человека шанса сделать карьеру. Сам Бернард Шоу велел нам зарубить на носу: «Ни один англичанин не откроет рта без того, чтобы не вызвать к себе ненависти или презрения у другого англичанина». И ведь прав был Бернард! Спустя почти сто лет Маргарет Тэтчер будет переделывать свой выговор в более статусный в пору своего премьер-министерства.

Короче, у англичан на языке клеймо, которое выдаст их враз. Так что

нам, иностранцам, чтобы не звучать, как уборщица с привокзальной площади, надо пройти сквозь эту многочисленную толпу акцентов и не подхватить, как вирус, какой-то неуместный чужеродный выговор.

Днём — лингафонный кабинет, а ночью, пока спали бдительные органы безопасности, радио Би-би-си, из которого лилась живая речь настоящих образованных англичан. Это были минуты блаженства, соприкосновения с чем-то далёким, инопланетным, и в то же время близким, потому что оно разговаривало у тебя дома. О поездке «туда» могли мечтать только избранные. Мне это дело не светило — так что любовь к английскому прививалась хоть и в лабораторных условиях, но, с одной стороны, изящно, а с другой — фундаментально.

Пять лет филфака прошли радостно и бодро, я поступила в аспирантуру, начала преподавать. И тут на меня свалилось предложение, от которого не то что отказаться было нельзя — от самого факта меня охватила эйфория. Одна из моих самых любимых преподавателей, потом коллега и друг, Юлия Васильевна Палиевская, предложила попробовать себя в художественном переводе. Она уже была известным специалистом по англо-американской литературе, переводчиком Фолкнера, Олдингтона, Стивенсона. Но тут такая история — одно дело преподавать и анализировать со студентами изыски перевода, например, стихотворения Киплинга «Заповедь», — что уловил М. Лозинский, а что С. Маршак. И совсем другое — самой прикоснуться к оригинальному тексту и искать единственно прекрасное звучание на родном языке. А уж когда мои переводы рассказов Рея Брэдбери и новозеландских прозаиков вышли в издательстве «Прогресс»...

Не буду утомлять ламентациями о тернистом пути переводчика — здесь скрещивали шпаги великие: Чуковский, Маршак и подобные им титаны. Их работами я зачитывалась, но профессиональным наставником служила Палиевская.

В начале 80-х Ю.В. готовила двухтомник Фолкнера, была также составителем книги его эссе и речей и предложила мне среди прочих перевести его речь по случаю вручения Нобелевской премии по литературе. Она была совсем небольшая, но билась я с ней насмерть. Вот не шла, и всё. Переводила я в основном вечерами и ночами, за что получила от ревнивого мужа «ты любишь Фолкнера больше, чем меня» и пару дней мрачного выражения лица. Но сроки начинали поджимать. И тут Юля, желая мне помочь, говорит: «Ты не забудь, что Уильям ненавидел светские признания и прославления, вовсе не собирался ехать в Швецию получать эту премию, а также крепко выпивал». К вечеру я запаслась виски — а что ещё должен

пить американский писатель? И недаром говорят «без поллитры не разберёшься». Я как будто накинула на плечи твидовый пиджак Фолкнера и почувствовала, как крепкий алкоголь начал делать доброе дело. Заплясали вокруг образы, слова, идеи, и уже почти всё получается, и вдруг — вжжик! — и слова сами расселись по своим местам. За ночь собрала не дающийся в руки пазл.

А потом Палиевская, мой учитель и ментор, решила уехать из страны, и я поняла, что без её руководства я никогда не поднимусь на тот уровень, который у меня самой вызовет восхищение.

Художественный перевод — это Высокое Искусство, которое требует не только полной отдачи, абсолютного слуха, ювелирной тщательности, но и настоящего таланта. Последнего мне не хватало.

Решив не засорять своим неграндиозным талантом поле художественного перевода, я отправилась подрабатывать на переводах кинофильмов. Первым мне достался шедевр Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки». На последних десяти минутах фильма сначала тихие слёзы, а потом рыдания перехватили мне горло, и я с трудом довела фильм до конца. На втором и третьем сеансе со мной приключилось то же самое. Решила, что лучше я буду любить кино как обычный зритель, и закрыла для себя карьеру кинотолмача-синхрониста. Зато сейчас искренне наслаждаюсь голосами великих актёров в оригинале.

А потом грохнула перестройка и, как говорил гениальный Аркадий Аверченко, «всё заверте...». В одну минуту открылись те двери, которые должны были открыться. «Заверте...» сначала в Америке, куда меня пригласили переводить переговоры русских и американских архитекторов. В Нью-Йорке приятель отвёл меня в Чайна-таун, и там я впервые увидела, как маленькие китайские тётеньки месили своими маленькими китайскими пальчиками янтарного цвета тесто и выпекали мини-пельмешки. Те самые fortune cookies, которые нас сегодня так бесят в соцсетях и на пафосных тусовках. Тёплую пельмешку надо было сначала разломать, всю съесть и только потом прочитать запрятанную в печенье длинную тонкую бумажку с предсказанием. Мы с приятелем съели по штуке, и я прочла на своей: «Вы так исколесите весь мир, что будете мечтать посидеть дома хоть денёк». Хохотали: ну и чушь!

С той минуты, как я засунула эту бумажку себе в кошелек, и до сегодняшнего дня волшебное предсказание почему-то работает. Вот и смейся над китайскими ларьками!

В свой любимый Лондон я приеду первый раз только в конце 80-х. И умудрюсь заблудиться в маленьких улочках в тылах Риджинт-стрит.

Бросаюсь к полицейскому и на своём недурном английском спрашиваю, как попасть на Оксфорд-стрит. А он радостно, с английской вежливостью объясняет в деталях, как пройти, а я вообще ни слова не понимаю! Ни слова — только квак-квак. Что-то ещё хуже акцента кокни, который мы хотя бы проходили. Переспрашиваю пару раз, он начинает беситься: «Что со слухом? Или хочешь мне показать, что я не так выговариваю?!?» Я поскорей ретировалась. Вот тебе и клеймо. Откуда ж он был такой?

Во время работы с управленцами мирового масштаба в алмазной корпорации «Де Бирс» и в Британском совете, и в Condé Nast^[4] этот «правильно выученный» английский часто впечатлял моих собеседников. Но даже в этом, казалось бы бесспорном, достоинстве была одна подстава. Все «они», иностранцы разных мастей, поговорив со мной десять минут, спрашивали: «Are you a spy?» («Ты шпионка?») Это те, кто с юмором. А подозрительные рыскали за спиной, наводили справки. Дурашки! Кто ж меня возьмёт в шпионы, когда я ночью разговариваю (немало с этим проблем было), да ещё иногда пою. А уж про ориентацию на местности и говорить нечего. Штирлиц бы меня уволил в первую минуту.

А, чуть не забыла. Раз уж заговорили про гадалок, вот какая со мной приключилась история. Девчонкой лет десяти я оказалась в цыганском таборе и села рядом со старенькой цыганкой. Она как схватила меня за руку, посмотрела прямо в глаза, засмеялась, высунула язык и пальцем в него ткнула. И что-то на своём языке лопочет. Подошла цыганка помоложе и говорит: «Бабуля тебе хочет сказать, что у тебя вся судьба и деньги от языка идут и от голоса твоего».

Выходит, бабуля была права — есть клеймо на языке-то.

Почти убийство на Новом Арбате

Москва. Новый Арбат. Конец 80-х. Я служу английской филологии, преподаю, читаю лекции, веду семинары — классическая университетская жизнь.

Жила я тогда в высотке рядом с Домом книги, в котором часто болталась в поисках хороших книжек. Пошла как-то прогуляться и заодно оплатить счета в сберкассе, на Малую Никитскую. А в воздухе — пряная весна. И я вся такая: «Какой же запах, как я хочу влюбиться!» Сказано — сделано.

Навстречу мне по Большой Молчановке идёт афганская борзая, и ведёт её на поводке молодой мужчина лет тридцати. Афган — диковинная собачка для Москвы того времени, нафуфыренная, на прямой пробор расчёсанная, разноцветная лиса. Пройти мимо невозможно. Бросаюсь к собаке, поднимаю глаза на хозяина. Мамочки мои рódные! На меня внимательно смотрит такой, сейчас я бы сказала, тёмно-русый Джонни Депп, только высокий и менее слащавый, как бы слегка порочный. Собака, как водится, помогает завязать беседу. Мы выясняем, что живём в одном доме. И даже в одном подъезде, только он на 17-м этаже, а я на 7-м. И надо же, до сих пор ни разу не встречались. Джонни Деппа зовут Андрюша, и он имеет какое-то отношение к театру — то ли актёр, то ли режиссёр, то ли уже окончил курс, то ли ещё учится.

Кажется, мне было около тридцати. Но признаюсь, так попасть под весну, афганца и Джонни Деппа простительно в двадцать, не позже.



После прогулки до сберкассы и по всяким Скатертным, Хлебным и Столовым переулкам, среди милого журчания ни о чем он приглашает к себе на кофе. Отказываться глупо: обоим уже било током. Напоследок он предупреждает, что живёт с сестрой. Чем заканчивается пылкая влюблённость с первого взгляда, мы все знаем. К тому же сестры не оказалось дома.

Это был взрыв на мукомольной фабрике, подушки в пух и перья, накотившая страсть, и слезоточивые признания. Банальную фразу «Боже, где ты был всё это время» можно было не произносить.

Нашу акробатику прервал стук входной двери. Пришла сестра. А квартира-то — стандартная однокомнатная с крошечной прихожей. Неловко. Но сестра приветливо бросает в сторону двух обнажённых тел: «Привет! Продолжайте», — и уходит на кухню. Бывают же, думаю, такие прекрасные люди — все довольны и никто никому не мешает.

В конце концов мы с Андрюшей догуляли своё счастье и отправились на кухню, выпить обещанного кофе и по сигарете. И разумеется, знакомиться с сестрой Леной. В Лене было что-то цыганское: грива длинных чёрных вьющихся волос, маленького роста, алебастровая кожа, чувственные губы, одета со вкусом, не банально, короче, увидишь — не пропустишь. Мы выпили кофе, поболтали, и я отправилась на свой седьмой этаж домой, счастливая и довольная. Андрей трогательно проехал со мной в лифте десять этажей.

Роман понёсся на всех парах. Одноподъездное соседство, отсутствие расстояний сделало его стремительным. В конце концов я пошла к декану факультета и попросила: а можно упаковать все мои недельные лекции и семинары в два дня? Декан объяснил, что такую нагрузку никакой преподаватель не выдержит, меня это не остановило, и мы всё успешно перепридумали. До сих пор не понимаю, как меня хватало на пахоту с девяти утра до последней звезды. Зато остальные дни недели были свободны, и мы с Андрюшей ездили в парки, зависали у меня дома, в перерывах между занятиями любовью он читал мне часами напролёт прозу, стихи, пьесы, мы ездили в неведомые мне города к его тётям и бабушкам, ходили в кино, слушали музыку — и снова зависали дома. Для окружающего мира я пропала совсем.

На одной из наших встреч, когда роман был в полном разгаре, Андрюша вдруг говорит: «Ты знаешь, тут такая история непростая. Вообще-то Лена — не моя сестра». На вопрос: «А кто же?» — ответил: «Мы как бы вместе живём. Но сейчас между нами всё кончено. А без тебя я

не могу дышать».

Ой. Значит, в тот день Лена была, наверное, не очень рада познакомиться со мной. Неудобно, конечно. Но эти новые обстоятельства выяснились в таком телеграфном стиле, что обсуждению уже не подлежали. Да и на наш роман никакого разрушительного воздействия не имели.

Но какие же девочки не любят подробностей? Сказал А, давай обсудим Б. То, что в порыве страсти не бросилось в глаза, превратилось в вопрос. У них в квартире, например, было много — слишком много даже для позднесоветских времён — заграничного шмотья, еды и техники. Если сигареты, то Marlboro или Winston, если кофе, то какая-нибудь Lavazza, которую мы в глаза не видели, а уж про коньяки и прочие виски я молчу. Выяснилось, что Лена — дорогая валютная проститутка, исправно служит в Центре международной торговли на Красной Пресне. И в данный момент она, оказывается, занята тем, что охмуряет одного богатого шведа. Доводит его до состояния матримониальной готовности и намеревается не просто стать образцовой скандинавской женой, но и прихватить с собой Андрюшу как ближайшего родственника. По плану она, естественно, разденет шведа догола, удачно разведётся, и они с Андрюшей будут дальше жить долго и счастливо.

А тут я.

Почва у меня стремительно ушла из-под ног, но возлюбленный сказал: «Всё забудь. Ты — главное, что у меня есть в жизни, я вообще сам не понимаю, что делать, но никуда от тебя не уеду». Сам он окончил актёрский факультет, и постоянной работы, по его словам, у него пока нет. Медленно догадываюсь, на чьи трудовые доллары они так прекрасно живут и кто в доме кормилец.

Несмотря на новые вводные, роман наш бурно продолжается. Была только одна странность. Каждый раз, когда мы у меня дома начинали заниматься любовью, раздавался телефонный звонок. А это, напомним, времена домобильные, и отношение к телефону было совсем другое: звонят, надо брать, мало ли что. «Извини, любимый». А в трубке — молчание, и потом бип-бип-бип. На какой-то из разов Андрей сказал, что звонит, видимо, Лена.

— Ты же мне говорил, что у вас уже только деловые отношения?

— Ну, у неё звериная интуиция. И она всё-таки считает, что я её мужчина.

Что ж, значит, рано или поздно придётся объясняться. Так жить долго невозможно. И точно, в один прекрасный день раздаётся звонок: «Алёна,

привет, это Лена, я хочу зайти поговорить». Они прибыли с Андреем и с пакетами из «Берёзки» — бельгийские шоколады, французские коньяки, шотландские виски, американские сигареты. Я сварила кофе, сели.

— Ситуация такая, — первой заговорила Лена. — Я собираюсь уезжать за границу, сейчас оформляю визу, потом ему (кивок в сторону) оформим паспорт. Мы хотели уехать вместе, но я вижу, что он сошёл с ума и влюбился. И вы, да-да, потрясающая и замечательная, и я не могу его держать. Андрюша, давай-ка ты просто сейчас решишь и скажешь, с кем ты и как мы действуем дальше.

Его ответ я запомнила на всю жизнь.

— Вы задаёте мне такие чудовищно сложные вопросы.

Приложил ладонь ко лбу и попросил неделю на раздумья. На том и расстались, не допив и не доев.

Что? Думать он будет! Неделю?! И я исчезла со всех радаров. На звонки не отвечаю, сама не звоню. Спустя неделю иду по Старому Арбату в любимую комиссионку книг и ювелирных украшений и налетаю на Андрея. Мы словно не виделись год, и всё понеслось по новой: с семнадцатого на седьмой, телефонные звонки в тот самый момент, страстный шёпот и признания. Но трубку я уже не беру.

Возвращаюсь как-то домой из университета и замираю перед входной дверью. Она, заботливо обитая пухлым бордовым дерматином на золотых гвоздиках, разрезана крест-накрест, и в центре разреза записочка: «Советую заканчивать».

И тут у девочки из интеллигентной семьи случается короткое замыкание: валютная проститутка, афганская борзая, роковой красавец, несчастный швед, товары из «Берёзки», а теперь и поножовщина.

Короче, всё. Пришло время исчезнуть из города. Хотя ненадолго. В Сочи как раз идёт «Кинотавр», и там полно моих друзей. Пока я судорожно закидываю купальник и сарафан в чемодан, раздаётся звонок в раскuroченную дверь. На пороге стоит бледный Андрюша и сообщает: у Лены есть не только нож, но и боевой пистолет, который он сегодня у неё случайно обнаружил. И она ему сказала, что игры закончились. Если она нас ещё раз увидит вместе — застрелит не моргнув.

Сообщение перемежалось мелодраматичными эмоциями: «Я боюсь за тебя, боюсь за себя, но она мне сказала точно, что избавляться она будет от тебя, а жить всю жизнь с этим ужасом буду я...»

Ну что ж, пора, видимо, исчезать не из города, а из жизни друг друга, только вот обидно и непонятно, с какой стати я теперь должна переобивать дверь за свой счёт.

Я успела на ближайший рейс Москва — Сочи и упала в объятия друзей. В один из дней сидим мы нашей компанией на балконе отеля «Жемчужина», курим. Гостиница, правда, совершенно не соответствует своему названию, никакая она не жемчужина, а страсть господня, зато в ней весело, тепло и все немножко пьяные. Как и положено гостям кинофестиваля.

Я со своего балкона наслаждаюсь видом на сад и кусочек моря и вдруг понимаю, что у меня начинаются галлюцинации. По садовой аллее перед отелем идёт Лена. Я говорю себе: «Долецкая, у тебя беда с головой». В этот момент раздаётся телефонный звонок, и ресепшен соединяет меня с неким гостем.

— Это я, — шепчущий голос Андрея. — Не спрашивай, откуда я узнал, где ты. Я здесь для того, чтобы тебя предупредить: она рядом и с оружием.

На мгновение представляю себе, как я падаю, застреленная валютной проституткой, на глазах у Марка Рудинштейна и Олега Янковского. Но, к счастью, кроме них, рядом был близкий друг моих родителей, профессор Виктор Маркович Шкловский, выдающийся психиатр и невропатолог. Что он там делал, я забыла, наверное, тоже дружил с актёрами. Я и говорю: «В.М., дорогой, я вас умоляю, вы — психиатр, гипнотизёр. Спасайте — что мне делать?» И пересказываю ему историю своей драматичной эскапады. Трудно представить, какой внутренний хохот разрывал душу бедного Виктора Марковича. Но держался он идеально. Высмеивать не стал и сказал: «Как что делать? Технично скрываться и исчезнуть. Переезжай в мой номер, сейчас мы всех запутаем. Но главное — не лезь на рожон».

Телефон в номере продолжает разрываться, на том конце по-прежнему ресепшен и Андрюша, который говорит: «Нам нужно увидеться сейчас, это последняя встреча, я только теперь это понял». Но если его Лена здесь и с пистолетом, то ровно в тот момент, когда мы с ним в последний раз увидимся, нас и застрелят. А этого у меня в планах точно нет.

— Андрюша, — говорю, — я сейчас выйду на балкон. До него пистолет не дострелит. Мы увидимся — и до свидания.

— Она купила билеты Москва — Стокгольм! — кричит он. — Я не понимаю, по какой визе! У меня, похоже, поддельная виза!

Выхожу на балкон, за спиной профессор. Сочи, палящее солнце, кинофестиваль в разгаре, и толпы народных и заслуженных лениво идут с моря. Рядом стоит Андрюша, с задранной головой. Конечно, я его узнаю, смотрю в глаза, говорю губами: «Прощай», ухожу и закрываю за собой балконную дверь. Телефон разрывался. Звоню на ресепшен с просьбой

меня больше ни с кем не соединять.

Ужас в том, что я по-прежнему влюблена по уши. И ни страх, ни смехотворность некоторых ситуаций, ни обман, ни его запланированный отъезд у меня эту влюблённость не отбивают. Андрюша продолжает для меня быть принцем, мягким, волшебным, таинственным, окутанным неописуемым количеством вранья, в котором нельзя было найти ни одного конца, потому что легенды менялись всё время.

Пройдя длинными коридорами «Жемчужины», мы с профессором скрылись в одном из номеров, насмеялись до упаду, выстроили план по разлюблению криминально ненадёжного Андрюши. Лена не появилась. Я зависла в Сочи ещё на пару-тройку дней и уехала в Москву. У консьержа в своём московском подъезде спросила: «А что, квартира на 17-м освободилась?» — «Так, конечно, они ж съехали. Видел, как чемоданы выносили».

Слава тебе господи.

Прошло десять лет. Я живу уже в другом месте и в недолгом гражданском браке. И в моём дворике в одном из переулков Цветного бульвара ко мне внезапно подходит мужчина:

— Я писал. Звонил. И вот нашёл. Жду здесь уже четыре часа.

Андрюша. Говорит, что любит, что не может жить, что увезёт в Швецию, что с Леной расстался, что умоляет, что сил нет. Не умолкая. Я слушаю его и понимаю, что тогда, десять лет назад, всё на самом деле не закончилось, я порвала отношения на высоком градусе. Меня спас инстинкт самосохранения, но влюблена-то я была страстно.

Договариваюсь с близкой подругой Катей — у неё большая квартира, и всю предысторию она знает.

Поздно вечером мы приехали к Кате, и в кровати всё рассыпалось на мелкие кусочки. Я лежу с совсем нелюбимым мужчиной, который для меня не значит ничего. И не в десяти пролетевших годах дело. Просто — не то. Было четыре утра, я приняла душ, оделась, причесалась и бесшумно вышла из квартиры.

Прошло ещё года четыре. Я уже служила главредом Vogue и однажды пришла на работу часа на два раньше обычного, уж не помню почему. Офис был пустой, тихий, я сделала себе чашку кофе, ещё можно было курить на работе, и тонкая струйка дыма завивалась и уплывала в окно, и я подумала, что через какой-то час здесь будет шум и беготня, встречи и съёмки, летучки и споры и как я сейчас отлично поработаю в такой редкой для этого места тишине.

Раздался писк включившегося факса. Заглянула из любопытства — кто

это в такую рань? Наверное, из Америки. А там знакомым почерком «Стокгольм. Моя дорогая, вот только узнал о твоём звёздном назначении. Как же мне...» Дочитывать не стала.

Криво оторвала хрустящую бумагу, скомкала и бросила в корзину под столом.

Запарились

Оно поганит не первое поколение женщин и подбирается к мужчинам. Как этому чудищу удалось внедриться в умы, души и тела такого несметного количества людей, не понимаю.

По-умному оно зовётся дисморфофобия — симптом активного неприятия своего тела и постоянной неудовлетворённости собственным лицом. У этой старой человеконенавистнической сволочи Дисморфофобии есть могучий сыночек-деньгосос — неостановимый Улучшайзинг. Выходит, мисс Дисморфофобия и мистер Улучшайзинг — такая двуполая дрянь, ОНО.

ОНО заводит людей в дебри, из которых порой не вылезти. А вылезешь — и себя в зеркале не узнаешь. Окружающие потупят глаза и скажут: «Какая ты смелая и какой молодец». Да-да, я про эти самые укольчики, и ножички, и видоизменяющие процедурчики.

К спасению тех, кто пострадал от серьёзных врождённых дефектов или травм, мой рассказ не имеет никакого отношения. Улучшайзинг и спасение — разные вещи.

ОНО, конечно, может сказать: «Тебе ли меня лягать, Долецкая! А кто в 2001 году отправился на две недели в калифорнийский We Care Spa на детокс и голодание, а?»

Подтверждаю: отправилась туда с лишним весом, каждый день принимала сеансы колонотерапии, пила несметное число разнотравных чаёв и воды и действительно потеряла полтора размера и килограммов двенадцать. Но я отвечаю: главное, мисс Дисморфофобия, не в том, что меня бесили мои лишние девять килограммов, и я, видите ли, не влезала в модные шмотки. А в том, что к тому времени я накопила столько разного дерьма, что носить его в себе не было уже никаких сил. Физиологическая чистка сопровождалась всевозможными беседами с экспертами, после которых я сбрасывала хлам дурных эмоций, вздорных обид и претензий к жизни.

После этой мощной чистки, прямо из аэропорта, я заявила на работу. Пока я громко басом не сказала: «Алё, ребятки, я вернулась», — коллеги меня просто не узнали. Я приехала другим человеком, атомно работоспособным на горе сотрудникам. Вдобавок эта чистота помножилась на калифорнийский jet lag: я вскакивала в шесть утра, в офисе была в восемь в состоянии включённого электровеника, и когда коллеги

подползали часам к десяти, их уже ожидал заведённый шеф, готовый к подвигам. Наверное, этот постдетоксовый период был для них крошечным адом. А для меня — временем бодрым и радостным. То, что я влезла в новые брючки — это малость. У меня было ощущение, что какой-то магический ёршик прочистил и мозги и тело сверху донизу. И дочиста.

Эффекта хватило на год-два точно. Стала иначе есть и пить и вес плюс-минус сохраняла долго. А ещё — чувствовала себя невероятной патриоткой, потому что чистка-то шла в калифорнийской пустыне, и, как говорили мои друзья, «всё говно оставила там, а не на родине». Не засоряла любимые просторы.

Это упражнение, мисс Дис-он-же-мистер-Улучшайзинг, не было связано с тем, что я ненавидела своё тело. Я просто понимала, что «живу не в своём весе». С детства. А почему?

Сделаю отступление: если у вас были родители, обязательно откладывайте деньги на психотерапевта.

Мой папа любил меня, особенно на людях. Идём, например, в консерваторию, и его спрашивают: «Ой, Стасик, а кто эта очаровательная девушка?» Он всегда: «Это моя прекрасная дочь!» Дома «прекрасную» ждали ежовые рукавицы: можешь войти — можешь выйти, не сутулься, не суетись, помолчи, не тарыхти, не мешай взрослым. Признаюсь, я отца боялась и, конечно, восхищалась им. Папа мог пройти мимо меня, поиграть моими кудрями и пропеть: «Ммм, мой жирик, тра-ля-ля» — и пойти дальше. Так я всё время и считала себя жириком — и то, что я не превратилась в тяжелейшую анорексичку и булимичку, было чудом. Но даже когда мне, похудевшей килограммов на десять, кричали: «Девушка, вот вы, худенькая, передайте, пожалуйста, на билет», я даже не оборачивалась: была уверена, что это не ко мне. Или когда говорили: «Это вы — стройная девушка в красном пальто?» — пальто я узнавала, а себя — нет. Да, я всё время считала себя жириком. Неплохое начало для дисморфофобии. Худела, голодала, чистилась, покупала джинсы на полтора размера меньше — и по-прежнему считала, что джинсы покупает «жирик».



Алёна Долецкая, 2002 г.

Сейчас смотрю на старые фотографии и думаю: «А я ничего так!» Оказывается, нормальная была. Но в голове сидит всё то же: ммм, мой жирик, тра-ля-ля... А ещё какой-нибудь не самый тактичный любовник вдруг решит пошутить: «Слушай, как ты живёшь с такой толстой жопой?» Или шутка: «Не, мои джинсы не надевай, не налезут». В какой-то момент надо сделать сложный выбор между «я жирик» и «я совсем не жирик».

Так кто же я?

Мне лет двадцать пять. Диалог с хирургом в Институте красоты:

— Знаете, вот у меня от коленки вниз до щиколотки ноги вполне стройны, а тут на бёдрах и над коленкой какой-то жиртрест-промсарделька. Можно всё это отсосать?

— Скажите, пожалуйста, вам сделали предложение в Доме моделей?

— Нет ещё.

— А назовите, пожалуйста, ситуации, которые непременно требуют убирания того, что вы называете лишним?

— Пляж, ванна и постель.

— А что, кому-то не нравится?

— Ну-у-у, не будут же мне так напрямую говорить...

— То есть не говорили?

— В лицо — особенно нет, но папа считал, что я жирик.

— Вы за папу выходите замуж?

— Нет.

— Тогда хочу поставить вас в известность о том, что отсасывание жира из этой точки ведёт к потенциальной травме коленного и тазобедренного суставов. Как вам кажется, вы видите себя больше в чуть расширенных брюках или в инвалидном кресле? Где вы себе больше нравитесь?

— Наверное, в брюках или в юбке ниже колена.

— Может, расстанемся друзьями и всё будет хорошо?

Так он вернул меня на землю, но жирик внутри меня выжил и требовал своего. До технологических революций я сидела на диетах, ела вываренные в трёх водах сосиски, потом варёные яйца — тогда не было ни спа, ни детоксов. В 1980-х я развелась с первым мужем, занялась йогой и решила проголодать двенадцать дней. Только на воде. Учитель по йоге сказал, что вообще-то, ребят, чистые помыслы — это прекрасно, но их ещё надо как-то воплощать. Для начала — прекратите жрать. Я возразила, что это вредно. Почему же, ответил учитель, просто это нужно делать по технологии, определённым образом. Мне это показалось интересным — йога нравилась, меня успокаивала, хоть мы и занимались ею в подвале: йога была очень вредна для коммунизма. Преподаватель расписал всю систему, я вошла в голодание через фрукты, овощи, соки, клизму и после этого просто ушла в питье чистой воды на даче и так голодала себе двенадцать дней. Эффект был отличный — свежесть тела, чистые мысли. У меня была слабоватая память, а после голодания я стала легко вспоминать стихи, которые учила в детстве.

Я аккуратно выходила из голодания — и тут друзья позвали меня

поехать в Петербург. Никогда не забуду тот поезд Москва — Питер, купе на четверых, мы, счастливые, ржём по любому поводу, мелькают ещё подмосковные леса и дороги, а я смакую своё первое яблоко, натираю ему бочка до рубинового блеска. Потом медленно так впиваюсь зубами в сладкую хрустящую яблочную плоть. Кисло-сладкий сок течёт по губам, затекает то за одну щёку, то за другую, и казалось, что я Ева, вкушающая яблоко познания, так сказать. Ух.

А вот лет 15 назад я познакомилась с косметическим хирургом, человеком красивым, талантливым, обаятельным, с Женей Лапутиным, царствие ему небесное. Мы с ним делали занятный материал для Vogue. Я собрала фотографии звезд-голливудян до пластической хирургии и после — например, в их двадцать восемь лет и в пятьдесят, — и предложила ему сыграть в такую игру: а сколько ей здесь лет? Иногда он смотрел на фото тюнингованной пятидесятилетней звезды и говорил: за шестьдесят... Я поразились: девушка сделала пластику, а выглядит на все свои или ещё старше? С чем это связано?

А у него не прекращая звонил телефон. Трубку он брал выборочно, глядя на имя абонента. Волнуюсь: слушай, ты бери, а то вдруг там что-то случилось с пациенткой? А он: «Не-не-не, вот эта сейчас звонит, хочет очередной нос, а эта хочет опять поднимать щёки, а эта — снова наполнять подбородок».

— Как это «опять»?»

— Так это уже третий или четвёртый заход. Они не могут остановиться, понимаешь. Улучшайзинг не останавливается. И это всё чёртова дисморфофобия конечно же. Потому что, прыгнув до какого-то очередного уровня, им кажется, что нужно «ещё более лучше».

И снова раздаётся звонок, и Женя, глядя на экран, начинает хохотать.

— Что там?

— Я тут оперировал асфальтоукладчицу. Крупная простая женщина. В детстве она сильно упала, и у неё остался уродливый шрам. Я его убрал. А теперь она хочет высосать нижний подбородок, убрать щеки и округлить глаза, а то они, говорит, узкие. Вошла во вкус. Улучшайзинг.

Но и на этом, сказал Лапутин, она не остановится.

Что у нас сейчас с лицами? Морщины и прочие признаки старения объявлены страшным грехом. Куда-то делась тонкая верхняя губа Николь Кидман, которая придавала ей неподражаемый ледяной шарм. У-у-упс, что за капризная верхняя губка у нашей Снежной королевы? Зачем?

Ясное дело — актёрам, «работающим» лицом, надо хорошо выглядеть, и некоторые улучшают внешность удачно. Мериел Стрип таки сделала

безупречную пластическую операцию — не для того, чтобы выглядеть на двадцать лет моложе, а чтобы продолжать играть красавиц в своей возрастной группе. Но вот смотрю на великую оscarоносную актрису Фэй Данауэй и поражаюсь: зачем? Перед нами старушка с сузившимися глазками и чужими пухлыми щеками. Испокон века у неё их не было. У Данауэй была прекрасная карьера в 1960–1970-х, а потом её преподаватель актёрского мастерства, к которому она регулярно ездила за советами перед началом работы над очередной ролью, умер — и она как будто потерялась. Быть может, эта утрата выбила Фэй из колеи, пропало ощущение реальности, и она стала молодиться, чтобы по-прежнему претендовать на роли молодых женщин? Иногда стоит человеку лишиться одного элемента в своей жизни, о важности которого он даже не догадывается, и рушится вся конструкция. А прекрасная Мег Райан? Королева романтической комедии, звезда номер один. Её стали реже снимать из-за возраста, и она как бабахнула чем-то по физиономии — и Райан совсем перестали приглашать в кино. Она как будто мстила своему чистому образу героини ромкома доступным ей способом — отомстила собственному лицу.

Голливуд и прочее кино ещё куда ни шло. Стремление актрис беспрестанно улучшать свою внешность — профессиональное повреждение. Но обычным людям, чья публичная жизнь занимает лишь малую долю, им зачем?

У меня вот с детства были мешки под глазами (генетика? почки?), и мне пришлось их убирать, потому что там уже образовались грыжи, которые только набирали в себя ещё больше жира и жидкости. Травматичная затея, больше никогда в жизни, потому что больно и физиономия у меня отекала недели на три, смотреть на себя было страшно. У кого-то, наверное, это проходит легче.

Сегодня, спасибо соцсетям и Энди Уорхолу, который предсказал нам пятьдесят лет назад, что каждый будет знаменит свои пятнадцать минут, секунд или миллисекунд, царствует куда более яростный виртуальный «улучшайзинг». Благодаря новым приложениям в Сети и прочим адобам-фотошопам люди вытягивают себе ноги, подтягивают животики и всасывают скулы на своих фото. Лента Инстаграма напоминает совершенную армию гуманоидов «без изъяна».

Как-то я брала интервью у Оливье Рустена, креативного директора дома Balmain. Так вот, этот двадцатилетний красавчик-метис фотошопил себя так, что перестаёшь верить, что это живой человек: скулы сияют, глаза сверкают, губы как у порнокуклы. Я его спросила: «А зачем ты себя так фотошопишь? Ты молодой, яркий, весёлый парень». А он

отвечает: «Потому что хочу дарить людям мечту».

У мужчин случаются свои представления о прекрасном себе. Папа консультировал в том же Институте красоты, иногда брал меня с собой, и я, совсем маленькая, рассматривала клиентов. Женщины обращались со всем, чем может быть недовольна женщина, — с выпадением волос, длинными носами, лопухими ушами, чем угодно. Но однажды пришёл здоровый дядька-кабан с двойным подбородком, огромными щеками и висящим животом, в общем, урожайный пациент, суперподряд для целой бригады хирургов. Он сел перед докторами и отогнул своё крупное мясистое ухо: «Эта родинка у меня вот здесь, и она меня бесит». Неужели, подумала я с восторгом, он чешет себя за ухом, как собака?

Внутри людей сидит это стивен-кинговское ОНО, «чужой», разжиревший на детских комплексах и самокритике, — и точит, мучает, бросает под нож, под иглу, под насос, в ледяные ванны или огненные обёртывания. При этом те, кому действительно надо, редко чешутся — в основном на косметологическую дыбу идут доброволки и добровольцы с ничтожными, а то и вовсе надуманными проблемами. Им бы сказать себе, как рэпер Джесси Смоллет в сериале «Империя» говорил своему отцу: «Just open your eyes, don't you see I am good enough» — «Ты глаза открой, не так уж я плох».

Кажется, что это стремление «стать лучше» — на самом деле всего лишь способ самонаказания. А окружающим, если совсем честно, ты по барабану, им фиолетово и в клеточку до тебя. Им бы свои проблемы решить. И вместо того, чтобы идти к хирургу, мудрее будет пойти к другому специалисту, чтобы он помог снять это жуткое проклятие и вытащить «чужого».

А тем временем прожорливое чудище подкралось к малышам. Тут моя двадцатилетняя ассистентка жаловалась на то, как тщетно пытается остановить своих подруг, которые уже давно, оказывается, «подкачали верхнюю, убрали нижние, подтянули нос». Неужто из-за стандарта, заданного коротконосой и губастой Анжелиной Джоли лет пятнадцать назад? Она почему-то мне всегда казалась совсем некрасивой, вырожденческой, что ли. Я ещё понимаю, когда женщины мечтали быть похожими на Грейс Келли — ещё куда ни шло, — но на Джоли?

Зато есть хорошие новости. Похоже, крупные модные корпорации типа LVMH и многие гляцевые журналы втянулись в кампанию борьбы с анорексией и отказываются работать с вызывающе худыми моделями. Рекламщики клянутся, что адоб-фотошоп и прочую улучшайзинговую ретушь даже в мыслях своих не трогают и все фотографии ставят в

соответствии с жизненной правдой. А мы верим и надеемся.

Мёртвая петля

Я с детства любила «старичков». Может, потому, что лет в шесть поняла, что у меня нет ни одной бабушки и ни одного дедушки. У всех были, а у меня нет.

В гости к одноклассницам я ходила, чтобы рухнуть в объятия очередной прекрасной бабушки. У одних были уютные, домашние, с булочками и вареньем, у других — с серебряными волосами, утончённые, интеллигентные, из знатных семей, с билетами в ложу Большого театра и с историями про возлюбленных белогвардейцев. Изредка дедушки тоже не плошали.

И тогда я принялась допрашивать родителей на тему недостачи таких важных персон в нашей семье.

Оказалось, оба родителя по маминой линии умерли задолго до моего рождения. Папину маму, Софью Станиславовну Станевич, я помнила смутно. Она освободилась из ГУЛАГа в начале 50-х и последние два года жизни посвятила мне: врачи вернули меня домой с неведомым диагнозом болезни сердца, бабушка уложила меня в кровать на полгода, и все эти сто восемьдесят дней пролежала со мной рядом.

А вот дед, её муж, Яков Генрихович Долецкий, покончил жизнь самоубийством.

Оставил два письма, Сталину и своему сыну, то есть моему отцу, и застрелился. Через сорок минут за ним пришли энкавэдэшники. Письма забрали.

Найти те письма стало для отца делом жизни. Доступа к архивам не было, тем более для «сына врага народа». В конце 70-х на голову свалилось неожиданное — но в чем-то и закономерное — везение. Главный детский хирург страны спасает внуку генерала КГБ. Генерал приехал благодарить отца сигаретами Marlboro и коньяком Samus. Отец всё вернул (его любимое «Я не извозчик и папирос со спиртом не потребляю»), но попросил помочь найти письма.

Однажды вечером папа вскакивает как ошпаренный и спешно одевается. Я только слышу, как он говорит маме: «Я в телефонную будку». Звонок из уличного автомата стоил две копейки. Автомат стоял рядом с домом, на Садово-Кудринской. По иронии судьбы — напротив и чуть наискосок бывшего особняка Лаврентия Павловича Бери.

Генерал вызвал отца, как в шпионском фильме, на разговор в

телефонную будку, чтобы не с домашнего (прослушка!) сообщить: вынести письмо из архива невозможно. Он может только прочитать письмо вслух.

Папа пересказал нам текст отрывисто и без желания. Дед писал сыну, что отдал всю свою жизнь, силы и талант на осуществление мечты и совесть его чиста. Но, зная, что не сможет выдержать пыток, измывательств и физической боли, обрывает жизнь, не хочет совершать непоправимых ошибок, которые потом сломают много жизней. Всё.

Убить себя в таких обстоятельствах — это была сила или слабость? Родители ничего не хотели обсуждать. Много позже я прочитала у папы в дневниках, как его мать в 37-м ответила ему на вопрос, почему застрелился отец. Кратко: «Значит, у него не хватило воли. Не думай об этом. Человек он был кристально честный». Но в свои пятнадцать лет я решила, что ничего противоестественного здесь нет. Просто выбор: «могу» и «не могу».

И потекло дальше моё счастливое отрочество, наступала не менее любопытная зрелость. А самоубийство, сама эта тема, выскакивало на меня, как чёрт из табакерки. То Толстой со своей Карениной, то Куприн с Желтковым, то Бунин с Митей, то Достоевский со Ставрогиным и Свидригайловым, то Шекспир с Ромео. И ясности по этому вопросу в голове не было.

Лет в двадцать шесть, по обдуманному решению, я крестилась. Через христианство и с помощью своего несравненного исповедника отца Геннадия в храме Малого Вознесения на Никитской (умер от инфаркта молодым, сорокалетним) я стала смотреть на смерть и на самоубийство иначе. Жизнь — дар Божий. И человек не может распоряжаться ею по своему усмотрению.

А ещё года через два я встретила в храме Всемилоственного Спаса в подмосковном селе Вороново — с мужчиной. Яркий, образованный, спортивный. Знакомство стремительно перерастает в романтические отношения, а вскоре и в бурные близкие. Борис, по образованию африканист, работает в МИДе, в отделе Африки. Почти впроброс он говорит мне, что женат, но волноваться мне совсем не стоит, потому что «с женой мы давно не близки, отношения напряжённые, уже мало похожие даже на дружбу». Я про женатых мужчин ничего тогда не понимала и выслушала с доверием и сочувствием. Впрочем, скоро меня настигло известное огорчение — ни выходных, ни совместных праздников у нас почему-то никак не получалось.

Перелом наступил, когда Борису предложили пост посла Советского Союза в дружественной стране Ботсване. Союз доживает последние месяцы, но мы об этом ничего не знаем. Назначение послом — дело

ответственное, проходит по всем каналам власти и требует проверок на всех этапах. Любой претендент на этот пост должен быть, разумеется, надёжным специалистом и добропорядочным семьянином. Я предложила Борису разобраться в своих семейных отношениях, амбициях и карьерных планах, а сама тихонечко ушла в тень.

И надо сказать, искренне удивилась, когда он подал на развод. Тогдашний министр иностранных дел Эдуард Шеварднадзе все понимал про женщин, и я уверена, что Борис ему просто по-мужски объяснил ситуацию. Продвинутый министр разрешил занять пост разведённому.

Незадолго до его отъезда мы играли в теннис на кортах рядом с Ленинградкой. И я слышала, как странный звук перекрывает стук мячиков — это грохотали гусеницы танков по асфальту. Шёл август 1991 года.

Ещё в Москве Борис предусмотрительно пригласил меня стать одним из организаторов увлекательного проекта — первой глобальной выставки об истории взаимоотношений России и ЮАР. Я завелась с пол-оборота. Это же возможность поработать с учёными, историками, художниками, политиками, наконец! Перелопатила своё университетское расписание, сдвинула лекции и семинары так, чтобы успевать заниматься кураторством. Работа над выставкой к тому же требовала постоянных полётов в Ботсвану для встреч с профессорами-историками Университета Претории и местными выставочными пространствами. Ну и конечно же с Борисом.

Какое-то время все шло по плану. Борис вручил верительные грамоты главе государства Ботсвана и приступил к своим обязанностям. А я страстно циркулирую между Москвой и Габороне, готовя выставку. Борис был счастлив, что я так увлеклась проектом, помогал мне профессиональным советом, открывал мне другую Африку, не туристическую, настоящую. Мы встречались с удивительными англичанами, которые уехали навсегда и занимались охраной и восстановлением животного мира Ботсваны, с яркими местными персонажами, учёными, политиками и художниками. Он учил меня есть сушёных кузнечиков и диких стрекоз, подбирать в диком буше яйца, брошенные неопрятными страусами, и правильно вести себя на весёлых африканских похоронах. Валялись под чёрным ночным небом Ботсваны с его исполинскими звёздами, занимались любовью под ветками розовой и белой бугенвиллеи. Фильм «Из Африки» с Редфордом и Стрип помните?

И тут Борис начинает говорить, что наши отношения требуют официального оформления. А мне совсем этого не хотелось. Ну зачем?

Под давлением его настойчивых и неуклонных просьб мы регистрируем брак в посольстве. Выставку «История отношений Россия —

ЮАР» успешно запускаем сначала в Ботсване, потом в Кейптауне.

В роли жены посла я чувствовала себя вполне комфортно. Начала учить язык сетсван. Образование и воспитание помогали, манеры, заложенные в семье и на филфаке, оказались вполне уместны в дипкорпусе.

Жить с Борисом оказалось непросто. Он был человеком феноменальных амбиций, обожавший Африку, эрудированный и работающий. Но с глубоко запрятанным тяжёлым нервом, который я не почувствовала, потому что первое время он ко мне поворачивался своей солнечной стороной.

Борис был патологически ревнив и следил за любым, на кого я бросала случайный взгляд. Делал выговоры за то, что я слишком долго и слишком заинтересованно разговаривала с американским послом. То, что посол был геем, Бориса совершенно не успокаивало. Жизнь становилась сложной и душной. У меня появилось ощущение, что я под колпаком неведомых спецслужб. Это был его личный надзор.

И вот получается, что днём у меня — интересная жизнь с волшебными открытиями, а по ночам бесконечные выяснения и давление, которое перекрывает возможность дышать. Посыпалось всё — от отношений с окружающими до секса.

Я предложила Борису отдохнуть друг от друга и улетела в Москву. На расстоянии поняла главное: похоже, я просто не составляю счастья этого человека. А я вообще люблю составлять счастье всех вокруг. В один из наших телефонных разговоров я сказала, что мы зашли в тупик, мучить друг друга нелепо и, быть может, надо подумать о расставании.

Спустя две недели раздался звонок из посольства: Борис покончил с собой. Выпил разом горсть каких-то таблеток.

Я разбилась вдребезги. Упрёки, сомнения, подозрения — неужели мои слова могли толкнуть его на такой чудовищный поступок?! Неужели я виновата?!

Что было на похоронах в Москве, помню плохо. Слез не было. В крематории, увидев, как тело уходит в бездну, потеряла сознание, и меня увезли на скорой. Утром проснулась с седой головой.

Много позже я узнаю, что попытки самоубийства у Бориса были и раньше. Что депрессия глубоко сидела в нем, а я её не замечала. К своим тридцати с лишним я понятия не имела, какое это тяжёлое заболевание. И думала, что его агрессивные приливы гнева имели отношение лично ко мне, а они, на самом деле, были про всю его жизнь. Может, от этого и пришёл в церковь?

Потом меня долго таскали в КГБ на омерзительные и унижительные

допросы. «А не Вы ли его подтолкнули? А общался ли он с компанией «Де Бирс»? А не занимался ли бизнесом на дипработе, нарушая запрет?» А я знаю?!? По мне, пахал и ничего он не нарушал. В конечном итоге меня оставили в покое и отдали его дневниковые записи.

Я чуть лучше поняла его решение уйти из жизни. Тяжёлый невроз был отчасти связан с тем, что ему было душно в чиновничьих мидовских рамках. Что в России, по его мнению, все пошло наперекосяк. А я на его глазах занималась всем тем, о чем он мечтал сам. И светская жизнь, и эта выставка, и поступившее мне после неё предложение работать в Москве на корпорацию «Де Бирс» — всего этого ему хотелось не столько для меня, сколько для себя. А он сидел в дипломатическом гетто с ощущением того, что жизнь проходит.

Всё это не было финалом. Понять причину — не значит прожить до конца.

Борис был православным. Придя в себя после похорон, я поняла, что хочу отпеть его. Церковь самоубийц не отпевает. Пошла к своему исповеднику отцу Геннадию, который понимал православие тонко и широко. По его совету я передала тогдашнему Патриарху Алексию письмо, в котором описала все случившееся, сказала, что беру послушание (в храме служить, мыть полы, чистить подсвечники, помогать по силам) и прошу дать позволение отпеть ушедшего.

После немалых хлопот моих и друзей прошение доставили по адресу, и Патриарх дал разрешение — Бориса, как положено, отпели в храме. Какой-то долг я вернула, но мне по-прежнему пронзительно жаль Бориса.

Спустя восемнадцать лет снова грохнуло.

На сей раз ушёл из жизни не родственник, не дед, не муж, а добрый приятель и объект моего искреннего восхищения.

С выдающимся дизайнером моды Александром Маккуином меня познакомила Изабелла Блоу — стилист, визионер, ярчайший человек в мире моды и ближайшая подруга Маккуина.

Замкнутый британец, любящий моду до дрожи, Маккуин был пронзительно талантлив и ни на кого не похож.

Попасть на его показы было сложно, строгий проход по именным приглашениям, фейс-контроль лучшего агентства — только профессиональная пресса и близкие друзья.

Его показы моды всегда были больше, чем артистичная демонстрация очередной коллекции. Это были своего рода театрализованные сообщения, которые он разыгрывал с помощью нарядов, людей и запряженных, весьма глубоких, идей.

То он объявлял приход средневековой готики в нашу сегодняшнюю жизнь, и никуда нам от неё не спрятаться. То напоминал, как важен в нашей жизни танец, и тогда его модели (вместо того чтобы с мрачными лицами ходить туда-сюда по подиуму) танцевали так, что в конце показа все снобы из мира моды аплодировали стоя. То, желая поддержать близкого друга Кейт Мосс, попавшую в грязный скандал, выпускает в конце показа сенсационную по тому времени галографическую 3D-проекцию. В абсолютной темноте под музыку Джона Уильямса из фильма «Список Шиндлера» мы увидим в воздухе крошечную белую точку, которая будет медленно становиться струйкой белого дыма. Струйка превратится в необычайной красоты девушку в развевающемся белом платье, и мы поймём, что девушка как две капли воды похожа на Кейт Мосс. А потом она начнёт медленно исчезать в чёрном воздухе, снова станет белой точкой и исчезнет вовсе. Опасная эфемерность моды, была ты — и нет тебя. Элита глянцевого модной журналистики поднялась с кресел, аплодировала стоя, у многих лица были залиты слезами.

За последние двадцать лет такого воздействия показы можно сосчитать на пальцах одной руки. Довести людей, развращённых снобизмом модной индустрии, до искреннего восхищения и сострадания — пожалуй, только Маккуин один и смог.

Маккуин был импульсивным, эмоционально раздёрганным и ужасно ранимым. Ну и, разумеется, приверженным разным нездоровым химическим экспериментам над своим организмом. В мае 2007 года не стало его ближайшего друга и музы Изабеллы Блоу. Летом он приезжает в Москву по случаю открытия своего магазина, даёт мне интервью для Vogue с одним условием — ни слова про Изабеллу. Я ответила крепким тёплым объятием. Он понял. А в февраля 2010 года скончалась его мама и друг Джойс Маккуин.

Через девять дней после её смерти и прямо перед парижскими показами мы узнаем, что Маккуин умер. Повесился. Все понимали, что смерть матери для него трагедия, но никто не мог предположить, насколько она поставила под угрозу его собственную жизнь.

Уход Маккуина поставил жирную точку в том, что я бы назвала высоким дизайном моды. Многие из того, что он делал, было своего рода вершиной профессии.

Две-три недели всех лихорадило от горя, а также от мысли «что же будет»? Отменят показ в Париже? Ателье принимает решение довести начатую им работу до конца и все же выступить в Париже.

Ассистенты Маккуина не только завершили коллекцию, но и

превратили показ в своеобразное прощание с героем.

В роскошном парижском особняке действие происходило в несколько сеансов. Один за другим. На каждый приглашали десять-двенадцать человек, не больше. Едва поднимали глаза на вновь пришедших. Когда под тихую классическую музыку вышла первая модель, казалось, что за кулисами стоит живой Маккуин. Всего шестнадцать выходов эдаких красавиц эпохи Возрождения с византийскими мотивами.

Они проходили мимо нас, разворачивались в конце зала и уходили. Больше ничего. Ясный и сильный способ заставить всех ощутить утрату.

Кто-то пытался записать, кто-то просто смотрел. Многие сквозь слезы. И в то же время в показе не было ничего похоронного, никакой пафосной скорби. Аскетичная дань гению, без сценических и световых эффектов, без пафоса и цветов.

Эти трое мужчин — мой дед, мой муж и мой друг — совсем разные люди, из разных поколений и с разной степенью близости ко мне. Но вопрос остался. Он мучает всех, кто соприкоснулся с такой бедой. Почему? С чем не справился? Кого предал? Чего испугался? Сошёл с ума?

Во многих языках мира для описания самоубийства есть формулировка: «добровольно ушёл из жизни». Так вот. Никакой доброй воли в самоубийстве нет. Оно всегда происходит под давлением. Будь то перспектива пыток и измывательств или страх перед утратой таланта, потерей успеха, страх одиночества и беспомощности или просто страх жить.

Эти три человека наполнили меня своей жизнью, а не своей смертью. Они и сейчас числятся мною среди живых. Просто стоят чуть особняком.

Русские идут

Я ещё долго буду помнить этот комичный немецкий акцент в уверенно беглом русском: «Алиона, меня зовут Бернд Рунге, мне дать ваш телефон Наташа Сингер, и она говорит, что вам есть интерес к журнал Vogue. Давайте встретимся».

Наташа!? Моя добрая приятельница-американка, улыбчивая, крошечная брюнетка, отменный журналист, автор книги о жителях Дома на набережной, сейчас — сотрудник The New York Times, а тогда — корреспондент модного делового издания WWD. Мы часто виделись на московских квартирниках у общих друзей. Обладательница самого заливистого смеха, который я когда-либо слышала, знала и чувствовала русских порой лучше, чем мы сами. В перерывах между обсуждениями малиновых пиджаков 90-х годов и Versace с головы до ног, она и правда как-то раз обронила: «Ты была бы идеальным главредом журнала Vogue, не думаешь?»

После того звонка Бернда зимой 1997 года мы встретимся с ним не один раз, все больше за изысканными ужинами, где пахнущий хорошими духами, в ладно скроенных костюмах, тонкогубый обаятельный ариец с неискренними глазами будет капризно вращать красное вино в бокале, морщить над ним нос и с проницательностью сотрудника спецслужб расспрашивать меня о Москве и москвичах, моих амбициях в журнальном деле и вязко говорить часами будто ни о чем.

Но первая встреча — а она ведь всегда самая-самая — была совсем не в ресторане, а в гостинице «Националь».

Прямо на Новом Арбате моя длиннющая «Вольво VIP» зачихала, и мне пришлось залезть ей под капот, подёргать за разные трубочки. Шведка благодарно прокашлялась и, славатегосподи, вовремя доставила меня к Театральному проезду.

Нажимаю звонок номера люкс и, к своему ужасу, вижу свои грязные руки, грязь под ногтями, предательские масляные пятна на свитере. Скорее напоминаю девушку-подмастерье из шиноремонта. Но было поздно.

— Аааа!! Топрый тень, проходите, Алиона. (В голову снова полезли комичные немцы у Достоевского и лесковский Гуго Пекторалис).

Смотрю и глазам не верю. Номер — что актовый зал, с роялем и дверями, ведущими не пойми ещё куда. Ничего себе издатель, думаю. Ну и с ходу ему:

— Простите-извините, где можно помыть руки у вас? В прямом смысле слова.

Вдруг подумает, что я ему намекаю на встречу в ванной или что не забежала в туалет по нужде перед встречей?

Бернд удивлённо поднимает брови и провожает меня в другой актовый зал, в ванную со всеми мыслимыми сантехническими резервуарами, креслами и оттоманками, подходящую для интимных вечерних бесед.

Когда я вернулась в рояльную, он усадил меня в кресло и вежливо протянул меню:

— Вы голодны?

И я, искренне:

— Очень!

Беру первую позицию в меню «коктейль из креветок с авокадо», чтобы долго не думать и не отвлекаться на пищеварительное. Ещё много лет этот заказ будет предметом публичных поддёвок в стиле «представляете, первым делом она съела коктейль из креветок!!!». И что такого в этом блюде, до сих пор не могу понять. Он, наверное, надеялся, что я откажусь — а вот не вышло.



Наверное, это было не очень глянцевое поведение. Но в то время

человечество для меня не делилось на глянцевого и неглянцевого. На образованных и не очень — да. На тех, кто любил Лотмана и Бахтина, — и тех, кто нет. На интеллигентных и хамов. На тех, кого я встречала в консерватории и кого — нет. На тех, кто любил The Beatles и тех, кто любил The Rolling Stones. А вот про отдельную популяцию «глянцевого» я особого представления не имела. Я вообще смутно представляла, во что ввязываюсь.

После той встречи в «Национале» последовала длинная череда ужинов. На пятой трапезе — все с тем же обнюхиванием вина и с капризным: «У вас что, нет разливного пива?», с муторными вопросами типа «А вы только главным редактором хотите или, может, замом пойдёте?» — я закипела и сдалась.

— Слушайте, — говорю, — у меня отличная работа. Я делаю масштабные межкультурные проекты для России и Великобритании, у меня вообще-то все заебись (из-за нового слова у немца заскрипел внутренний переводчик), я вкусно готовлю и совсем не голодаю, и ещё у меня мало времени. Давайте вы уже что-нибудь решите, ок? А я поеду по делам.

А дела были и правда яркие, громкие: мы наконец оклеили московское метро четверостишиями великих русских и британских поэтов, открывали выставку «Сокровища Тауэра» в Кремле, заканчивали подготовку к приёму в Боярских палатах с министрами, послами и прочими вилами. Не продохнуть.

Спустя дня три раздался звонок, и знакомый голос сказал:

— Заберите свой билет Москва — Лондон на послезавтра. Вас ждёт владелец издательского дома Condé Nast Джонатан Ньюхаус.

— Ой, — говорю, — а я не могу! Двадцатого декабря открываю проект на Соборной площади. И у меня Виктор Степанович Черномырдин в гости ожидается.

А он:

— Так потом у нас Рождество и все уйдут на каникулы!

— Ну что ж, — говорю.

Короче, двадцать третьего декабря я приземлилась в горящий всеми цветами радуги предрождественский любимый город Лондон. Иду на интервью к Главному, и, вероятно, какой-то из пяти прописанных мной сценариев русского Vogue ему понравился.

Легендарное здание VOGUE House на площади Ханновер было знаменито тремя вещами: туда мечтали войти и осесть на подольше миллионы девушек всех национальностей, цвета кожи и ориентаций,

любящих мир глянца. В центре входного холла висела неопишущей красоты плоская, круглая, с матовым стеклом люстра на латунных цепях. За стойкой вас всегда встречали двое мужчин неопределённого возраста, оба по имени Питер, окружённые исполинскими разноцветными пакетами с соблазнительными логотипами Chanel, YSL, Gucci, Celine, Dolce&Gabbana, Alexander McQueen, Giorgio Armani.

Для начала меня отвели в кабинет на четвёртом этаже и представили ветерану глянцевого движения, стилисту леди Дианы, тогда замглавного английского Vogue Анне Харви. Воплощение английской породы, сухая, сдержанная дама пронзила меня строгим рентгеном светло-голубых глаз.

— Имейте в виду, Джонатан человек занятой, больше пятнадцати минут говорить с вами не станет. Поэтому будьте краткой и внятной. И ещё, он чрезвычайно застенчив и скромн.

Породистый и надменный лондонский акцент пропечатывал простую информацию, как приговор. Через минут пять я шла к лифту через редакцию английского Vogue. Ни одной живой души, сотрудники, видно, строем ушли на ланч. Где я? Это какое-то министерство внутренних дел, а не журнал имени кофточка-юбочка-какбытьнедостижимойзвездой. Но! За каждым рабочим столом на экранах компьютеров горят одинаковые скринсейверы и буквально жгут мне роговицу словами «RUSSIANS ARE COMING...»

— Добрый день, господин Ньюхаус вас ждёт. — Секретарь пропускает меня в кабинет Главного.

Из-за рабочего стола поднимается и лёгкой походкой выходит мне навстречу эдакий молодой Вуди Аллен, типичный еврейский молодой мужчина в очках, с крупным носом и пухлыми губами. Такой школьный умник-отличник.

Когда Джонатан подошёл ближе, я поняла, что мои старания быть чуть Vogue style — твидовая удлинённая юбка Ralph Lauren, шёлковая а-ля мужская рубашка не-помню-кого и очень модные короткие кожаные сапожки Sergio Rossi на тринадцать см — привели меня к полному фиаско. Я возвышаюсь над невзрачного роста Главным, как Останкинская башня — над кафе «Твин Пигз» на Королёва, 19.

От неловкости у меня подкашиваются ноги, и я плюхаюсь на удачно стоящий сзади меня диван. Мы чуть сравнялись по росту, и дышать стало легче.

Он сделал вид, что не заметил моего faux pas, вальяжно взял стул, придвинул к дивану и сел рядом. Что мне там Анна сказала? «Застенчивый? Занятой?»

— Как вы думаете, в русском Vogue должен быть юмор?

— Конечно!

— Какой писатель вас может рассмешить?

— Довлатов, Бабель, Пелевин, Хармс, Чуковский.

— А! Довлатова печатали в New Yorker, верно?

Ну и понеслась-полилась беседа с любопытным и любопытствующим, не таким уж застенчивым Главным. Джонатан Ньюхаус, догадалась вдруг, — это ж по-нашему Ванечка Новодворский, то есть практически свой мужик.

И правда, его бабушка и дедушка — из Витебска. Он трогательно поведал, как его родители выстроили специальный подвал-убежище у себя в Америке на случай, если русские налетят со своими ракетами. Я ему в ответ рассказывала, как приблизительно в то же время в СССР, в свои студенческие филфаковские годы в МГУ им. Ломоносова, я прятала среди купальников и бюстгальтеров самиздатовских Солженицына, Авторханова, Шаламова и Зиновьева, а ближе к ночи, наготовив блинчиков и сырников, принимала друзей, алчущих почитать запрещённую в СССР литературу. За это можно было в секунду вылететь из университета, подвести родителей под монастырь и испортить всем и всё надолго.

Хохоча, бывшие участники холодной войны упоённо листали альбомы Сесилия Битона и Хельмута Ньютона, обсуждали, кто бы мог быть на первой обложке русского Vogue (эх, жаль леди Диана умерла), остались ли порода и аристократизм в России и скоро ли русские девушки перестанут так сильно краситься и ходить в Versace с головы до ног.

Минут через пятьдесят занятой и застенчивый Главный протянул мне руку со словами «Отправляйтесь к Анне Харви, она вас ждёт, и было приятно познакомиться». А ещё минут через семь меня снова вызвали туда же, на шестой этаж, и на этот раз Новодворский-Ньюхаус вышел из кабинета с лицом решительного жениха: «Вы согласны стать главным редактором русского Vogue?»

Русские пришли.

Я не подозревала, что меня ждут головокружительные двенадцать лет контрастного душа красоты и уродства, куража и тяжести, смертей и рождений, свадеб и разводов, верности и предательств, слёз и неутомимого хохота.

Два

С хрустальным шаром

Как-то раз мне крупно повезло. (Не один, конечно, это я так, для красного словца.) Мне достался магический кристалл. Или хрустальный шар — какая разница. Повернёшь в одну сторону — неземная красота. Повернёшь в другую — жуть малиновая. Про жуть позже расскажу.

Когда-то журнал Vogue и журнал Interview были отличным пространством игры с магией и создания удивительных метаморфоз. Вы, может, думаете, что гляцевый журнал — это пара сотен страниц для продвижения продаж предметов роскоши? Ну вот не совсем.

Во времена главредства у меня часто было праздничное, подарочное ощущение. Я держала в руках хрустальный шар — и, преломившись в нём, обычный наш серенький дневной свет выходил обратно дивными цветными лучами. Новый цвет, новый свет, новое сияние жизни, преображённое существование. Таким, казалось мне, должен быть высокий глянец и смысл нашей работы.

Когда меня попросили сделать концепцию Vogue, я предложила несколько вариантов — и победила «русская» версия. Достоевский говорил, что русскому человеку свойственно «всемство», всеотзывчивость, восприимчивость любой культуры, и в этом смысле наша версия была — понимаю это задним умом — «всемская», синтезированная, что ли. От американцев я взяла яркость и внятность модного сообщения, от итальянцев — артистизм и мечтательность, от англичан — иронию и парадоксальность, от французов — элегантную эротичность. И что оказалось? Русские герои — актёры, режиссёры, дизайнеры, архитекторы, галеристы, писатели, врачи и многие другие — легко и с достоинством вошли в это пространство, как будто высокие бренды, лучшие фотографы и стилисты мира только их и ждали.



Вера Брежнева, Interview Russia, ноябрь 2014 г.; Евгений Миронов, Vogue Russia, апрель 2005 г.; Мария Шалаева, Interview Russia, № 37,

февраль — март 2016 г.; Светлана Ходченкова, Interview Russia, июль 2013 г.; Дима Билан, Interview Russia, № 33, апрель 2015 г.; Андрей Бартенев, Interview Russia, № 34, сентябрь 2015 г.; Анна Михалкова, Interview Russia, февраль 2012 г.; Аня Чиповская, Interview Russia, февраль 2014 г.

Мы не делали полную перезагрузку героя, но всегда находили в нём новую, незнакомую публике грань, его «потаянный сад», — и как будто высвечивали другую личность. Наша Пугачёва с выглаженными кудрями, напроочь лишённая эстрадной вульгарности, была не в набивших оскомину легинсах, а в молодом тогда Ямамото. Или Женя Миронов, тогда ещё не народный артист России, но уже пленивший публику своими нежными, ранимыми, тонкими персонажами, превратился у нас в брутального мужчину с обмотанными бинтами руками после тяжёлой «разборки» в советском подъезде, с тем же — мироновским, неповторимым — взглядом. Ингеборга Дапкунайте была и капризной звездой сороковых, и свободолюбивой девочкой итальянского неореализма.

С большим азартом мы ломали московские стереотипы — например, о якобы безнадежной, дремучей и в целом уёбищной русской провинции. Мы сделали серию портретов творческих людей из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Перми — красивые, уверенные, отлично одетые (стилисты Vogue работают на пятёрочку) архитекторы, писатели, актёры, модели. Хрустальный шар высветил такой new look, новое лицо России, который наши читатели не знали.

При этом нам важно было не упасть в местечковость, провинциальную душность местного журнала, где «всё про нас», где «мы сами с усами». Нам помогали лучшие фотографы моды того времени — от Хельмута Ньютона и Питера Линдберга до Сольве Сюдбо и Терри Ричардсона. Мы сочиняли новое русское как часть европейского мира, но русская культура оставалась главным источником нашего вдохновения.

Не отодвигали мы и советскую культуру. Однажды сделали фоторемейк знаменитого советского фильма 47-го года Григория Александрова «Весна». Кого там только не было — Толстогонова, Чурсин, Гармаш, Литвинова... Мы намеренно привлекли к пересъёмке известной советской комедии крупных актёров. В отличие от киноремейков, он никого не раздражал — это была весёлая, но почтительная игра с классикой, с самыми знаменитыми цитатами: «Возьму с собой “Идиота”, чтобы не скучать в троллейбусе», «И это ничтожество я почти любила», «Красота — это страшная сила». Съёмка стала пропагандой блестящего мюзикла —

половина поколения, которое в тот момент читало Vogue, не смотрело «Весну», а их родители, может быть, и вовсе забыли.

Мы играли и с прошлым, и с будущим. В другой раз мне захотелось увидеть сочинский кинофестиваль «Кинотавр» настоящим роскошным фестивалем — таким, чтобы Каннский закачался и заскрипел зубами от зависти. На «Кинотавре» тогда преобладал стиль тёплого, почти родственного междусобойчика и непритязательного курорта средней руки — майки-шорты, вьетнамки, панамки. А мы придумали «Кинотавр десять лет спустя» — и пустились, как говорится, во все тяжкие.

Все наши — Бондарчук и Исакова, Литвинова и Фандера, Смолянинов и сёстры Михалковы, Мороз и Страхов — включились в игру на раз-два-три. Мы их оголивудили. Они превратились в недоступных и загадочных, длинноногих, с улыбками в сто зубов, с тёмными очками и сияли бриллиантами. Мы написали для них футуристические короткие истории. Лежит Рената, утомлённая солнцем, на пляже на каком-то хайтековском белоснежном матрасе, в чёрном купальнике Eges, рассекающем всё тело, на розовых лубутенах и в розовых перчатках до плеч, в очках вивьен вествуд и, разумеется, в ожерелье и браслетах. Звезда — упасть и не встать. А за ней изумлённо подглядывают трое пятилетних мальчишек: рыжий, блондин и шатен (где мы их-то нашли, таких безупречно веснушчатых?). Текст вкратце: Рената ушла из большого кино, отдалась словесности, получила Гонкуровскую премию за роман, стала затворницей. Её появление на фестивале — настоящая сенсация!

А вот с Викой Исаковой (полулежит в белом купальнике и на шпильках Celine) в объятиях Федора Бондарчука (белая рубашка с перламутровыми запонками Windsor и бархатные туфли Lanvin) вышла целая история. В нашем будущем Вика, по версии журнала Vanity Fair, вошла в список ста самых привлекательных женщин планеты, вся нарасхват у мировых режиссёров и, прежде чем приступить к съёмкам в новом фильме Бондарчука «Отелло. Новая версия», она должна завершить съёмку у Педро Альмодовара в фильме по роману Сорокина «Голубое сало».

Спустя одиннадцать лет я узнала от Вики, какой мы внесли конфуз в её жизнь. Именно в те дни, когда мы делали фотосессию в Сочи, Альмодовар на самом деле был в Москве, и все вменяемые актрисы рвались к нему хоть как-нибудь попасть. Вика со своей подругой актрисой Викторией Толстогановой не были исключением и мечтали познакомиться с великим испанцем. Безрезультатно. И тут выходит сентябрьский номер Vogue, Толстоганова читает нашу историю и в неукротимом гнев набрасывается

на подругу: «Так вот оно что!! Ты пролезла, мне ничего не сказала! Кто ты после этого?!» Всё приняла всерьёз. Хохотали до упаду.

Мой особый драйв был в решении неразрешимых задач. Сколько подвигов нужно совершить в день, чтобы отправить гениального фотографа Питера Линдберга снять Дашу Жукову с самым успешным в мире русским художником Ильёй Кабаковым в честь открытия её нового проекта «Гараж»? Все трое находятся в разных странах. Только глубокий и образованный Линдберг со своим кинематографическим талантом видеть в каждом объекте новые сверкающие сущности (и не важно, о чём речь — о моделях, машинах, собаках, инопланетянах, юной Жуковой или Кабаковых в их почтенном возрасте) мог превратить всех в настоящих киногероев. Даша тогда не хотела сниматься для Vogue, потому что считала себя ушедшей на арт-рынок, а Кабаковы сказали, что вовсе не любят ни сниматься, ни тем более в глянце (правда, узнав, что ими займётся великий Линдберг, согласились. У-у-уфф!!!).

Две недели без сна (все в разных часовых поясах), запутанная логистика, — съёмка наконец состоялась, и я полетела в Париж на встречу с Питером смотреть материалы. Он думал, что мы сделаем нормальный 6–8-страничный материал. Но когда он мне стал показывать всю съёмку, я поняла, что у меня — джекпот, золотая удача, небывалое счастье. Он создал поразительной свежести, точности и тонкости портреты — такие портреты, что у нас получалось большое кино. Какие шесть полос? Как минимум в два раза больше!

Высокий глянец силён и выживает, только когда создаёт что-то новое, до чего никто другой не мог додуматься. Для кого-то это будет воспитанием вкуса и культуры, для кого-то — школой восприятия высококлассной фотографии. А для кого-то — просто долгий вдох чистого воздуха и такой же долгий выдох. Он даёт тебе возможность мечтать и, быть может, покажет путь к достижению этой мечты.

Глянец часто упрекают в том, что он кормит публику миражами, внушает искусственные потребности (например, в бриллиантах) и, как итог, травмирует тех женщин, чья годовая зарплата меньше стоимости одного платья в рекламной съёмке.

Я возражала: дело не в цифрах. Мы формируем не потребительский ассортимент, мы формируем вкус. Мы производим образы, которые, возможно, не подлежат широкому тиражированию, но создают новые массовые представления о прекрасном. Где-то в начале нулевых я получила очень важное для меня письмо от жительницы Кузбасса. Женщина писала, что она врач в поликлинике, ей сорок два года, муж — младший

инженер, — понятно, что жизнь её не образец изобилия. Она увидела наш журнал в киоске и купила его на те деньги, которые намеревалась потратить на килограмм сосисок. Нет, никто не остался голодным, но вечером, покормив семью, она стала читать Vogue — и провалилась в новую для неё вселенную, в великую грёзу, в невиданную красоту... Она читала всю ночь, потом перечитывала, снова читала. «Спасибо вам. Я летала», — написала она.

Мы поблагодарили её в ответном письме, отправили ей несколько номеров. Не знаю, как сложилась её жизнь потом, но мне кажется, что наш журнал, так потрясший её, каким-то образом повлиял как минимум на её воззрения на красивое и некрасивое. И если она достигла достатка (почему бы и нет) — она, верю, не топырит пальцы в Шанели fool look. А если её материальное положение осталось тем же (и в этом нет ничего стыдного) — она вряд ли одевается на местном черкизоне. Сегодня городская толпа — и столичная, и периферийная — выглядит гораздо элегантней, чем прежде, в девушках все меньше вульгарного, в мужчинах — быковатого жлобства.

За всеми этими превращениями и играми с хрустальным шаром в Vogue и в Interview стоят живые и, может быть, не очень совершенные люди. Вот смотрю на фотографию: по какой-то нью-йоркской улице, с картонным стаканом из «Старбакса», идёт Анна Винтур, главный редактор американского Vogue, — воплощение коммерческой машины, наделённой почти абсолютной властью. Она пахарь. Она деспот. Тот самый дьявол, что и правда носит Prada. Всегда в тёмных очках, даже в помещении. Эти чёрные стекла отгораживают от внешнего мира, но полной защиты не обеспечивают. И как сама Анна отражается в зеркальных стёклах Манхэттена, так и Манхэттен отражается в её очках.

Маленькая женщина с большим стаканом кофе, которая ведёт всю эту игру. Нравится, не нравится, стерва — не стерва, более успешно, менее успешно — сейчас не важно. В её руке — хрустальный шар, бросающий цветной луч на многие, многие жизни.

Наваляла!

Одна остроумная девушка, служившая рекламным директором журнала Vogue, выдала как-то пародию: «Долецкая — это же вся такая сидит леди в платье-карандаш молочного цвета, на каблуках, нога на ногу и шелестит в телефон на своём бархатном английском: «Yes, darling. By all means, darling»^[5]. Потом кладёт трубку и басом во весь голос: «Да пошли они все на хуй со своими претензиями!!!» Получилось похоже. Все смеялись.

Да, я известный певец гламура и высокой эстетики быта. И проповедую это множество лет. Я люблю, когда все нарядные, без лишних стразов и перьев, и скатерть крахмальная, и тарелки с бокалами красивые, а разговоры за столом — умные и весёлые. Но вот тут у меня вышел своего рода диссонанс.

Обсуждали мы феноменологию русского застолья со знатоком этого дела Серёжей Шнуровым, Шнуром, и я сама не поняла, как брякнула: «Идеальное застолье — это море разговоров, с водочкой, салатом оливье, языком с хреном; и конечно же, с поздними откровениями и выяснениями отношений. И тут как что-нибудь грохнется и протечёт, и гром с молнией, и всех бежишь спасать...» И Шнур: «Ну и с дракой обязательно! Куда ж без неё? Это ж самое прекрасное!»

Драка? Какая вульгарность. Ну ещё пощёчина там, дуэль куда ни шло. Потом в голове мелькнуло — почему уж такая-то вульгарность? А сама ты чем лучше?

В начале 1999 года мы с редакторами обсуждали спорную тему: Алла Борисовна Пугачёва на обложке — это уровень или не уровень Vogue? Всё-таки на обложках — фигуристые молодые модели или голливудские кинозвёзды. А Пугачёва ни то ни другое. Долго спорили, кто за, кто против, потом выдохнули, и я сказала: «Рискнём».

Как осуществить этот план, я знала — у меня было несколько рабочих идей. Проблема была только в том, что я совсем не являлась фанатом творчества А.Б. Ну, не влезал в меня репертуар примадонны. К февралю, однако, влез — под давлением близкой подруги Маши Шаумян я прослушала всё, что было написано и спето Пугачёвой.

Впечатлилась. Порыдала над «Реквиемом», подпевала в машине «Позови меня с собой» и отправилась знакомиться с самой легендарной певицей Советского Союза — достать до неё рукой или звонком было

почти нереально.

Мой добрый приятель Володя Некрасов (тогда владелец крупнейшей сети косметических товаров «Арбат-Престиж») пригласил нас на чашку чая. Алла Борисовна мало что понимала про журнал Vogue (примерно как и я про её творчество), но после обмена любезностями и упоминания общих знакомых снисходительно предложила приехать и снять её в Мюнхене на гастролях.

Время было послекризисное, бюджеты — тоже. Пришлось пламенно убеждать московский и лондонский административные дивизионы, что мы снимаем русскую Мадонну, Диану Росс, Далиду и Тину Тёрнер в одном лице и надо всё сделать по первому разряду. Деньги получили и заказали съёмку английскому фотографу и арт-директору британского Vogue Робину Дереку, стиль — итальянскому стилисту Даниэле Паудиче, волосы и мейкап — крутым американцам.

В Мюнхене без труда нашли студию и попросили немецких коллег, чтобы они подобрали побольше современных, недивоподобных нарядов — и чтобы не из шоу-румов, а из магазинов, по причине немодельных размеров героини.

Рано утром, прямо из аэропорта Франца Йозефа Штрауса, как и договаривались, я приехала к А.Б. в отель с охапкой разноцветных свежесрезанных работающими немецкими цветоводами тюльпанов. «Давай-давай, заходи», — раздался хриловатый и теперь уже до боли знакомый голос из будуара номера люкс. Несмотря на ранний час, Борисовна с гривой чистых локонов мелким бесом сидела перед трюмо и наносила известный всей стране макияж.



Алла Пугачёва и Алёна Долецкая, 1999 г.

— Да зачем вы тратите время, Алла Борисовна!!! Там армия спецов вас ждёт. Поехали скорей, — говорю нежно.

Она пропустила мои слова мимо ушей, приняла букет с царственной, но искренней улыбкой и сказала: «Жди в студии. Скоро буду».

А в студии интернациональная команда готовилась к съёмке. Выставляли свет, раскладывали кисточки, баночки, щёточки, пинцетики, отпаривали ямомоты, максмары и диоры. Играл зажигательный музон в стиле прогрессивного американского R&B.

Она вошла — и все присели в книксен на западный манер. А я отвела

её в примерочную и оставила со стилистом Даниэлой отсматривать и мерить вещи. Даниэла выскочила из примерочной минут через десять, заливаясь слезами: «Она невыносимая. Ужасная. Она всё обругала и расшвыряла», — и убежала в туалет сушить следы рыданий.

Чтобы не терять времени, я отправилась к львице в модную клетку.

— На кого это всё?!?! — гневно рокотала А.Б., шваркая одну вешалку за другой как деревянные бусины на гигантских старинных счетах. — На скелетов в похоронном бюро?? Я в жизни этого уродства не надену! Не моё всё это. Пошли все к...

На самом деле А.Б. в то время была в неплохой физической форме, не модельной, разумеется, но одной из своих лучших. Сама я тогда ещё не окунулась в параноидальные бега по детоксам и гламурным голодовкам и тоже была вполне в теле.

Что делать-то? Я и давай при ней раздеваться и примеривать то да сё, показывая, что вещи очень даже неплохие, модные и комплиментарные, а огромный белый песцовый палантин поверх маленького чёрного платья и вовсе — хоть в Кремль на выход, хоть на обложку. Всем снесёт крышу.

Великий женский трюк «а тебе это пойдёт ещё больше» сработал, примадонна смягчилась и стала примерять то, что не вызывало у неё особо грозного возмущения. Дело пошло. Мы довольно быстро отвесили достойный short list вещей для съёмки и отправились на грим.

Небывало харизматичный и нежный гримёр Стивен побледнел, увидев наложенный героиней с утра макияж, и вопросительно посмотрел на меня: «Смываем ведь, да?» В ход пошли термальные воды, и гипоаллергенные лавандовые полотенца на лоб, и бархатистое рукотворное молочко для снятия косметики. В общем, всё как в голливудском «Сансет Бульваре» с Глорией Свэнсон — на примадонну не дышали, лишь взмахивали крыльями и погружали в облака неземной заботы. Мне и самой казалось, что я не на Земле, а где-то там, где проживают боги и богини и прислуживают им ангелы, перебирающие струны божественных арф.

И тут, как говорится, среди полного здоровья, Алла вскакивает из кресла с диким криком: «Он попал мне чем-то в глаз! Я сейчас ослепну! У меня на всё аллергия! Я ухожу! Сворачивайте свою чёртову лавочку!»

Прикладывая салфетки к глазам и рассыпая пожизненные проклятья на всю команду, она исчезла в направлении того же спасительного туалета, где недавно билась в рыданиях стилист-итальянка.

Мои память и мозг выпускницы филологического факультета разрывались в поиске наиболее куртуазного перевода русской малоцензурной истерики на пристойный английский. Из «чтоб вы все

провалились с вашей ёбаной съёмкой» вышло «простите, но боюсь, у меня аллергия и надо привести себя в порядок».

Модный интернационал никак не мог понять, какая вожжа попала под хвост совсем им не известной и капризной даме, тем более что команда работала на косметике для суперчувствительных. Фотограф Робин немедленно заявил, что у него вечером самолёт и что всё меньше шансов сделать хоть один приличный кадр. Воздух накалялся. Время тикало. Деньги утекали. Сенсационная обложка погибала на глазах.

Оставался последний шанс — броситься звезде в ноги и как-то вернуть ей спокойствие. Я отправилась в туалет: она стояла перед зеркалом и внимательно разглядывала лицо. На челе её высоком не было ни малейших следов покраснения или ещё чего-то, нарушавшего медицинскую норму.

— Ты что, не видишь????!! Козлы! Я чуть не ослепла! — и др. и пр. несло из уст великой.

— Так ведь нет ничего, Алла Борисовна, — ворковала я, осматривая её лицо. — Наверное, всё уже прошло? Давайте, пожалуйста, вернёмся, у команды так мало времени, всем скоро лететь в разные стороны света. — Я пыталась взывать к профессионализму звезды.

— Да пошла эта твоя команда на хуй! — Губы белые от бешенства, пальцы в кулак.

Неожиданно для себя я схватила промышленного размера рулон бумажных полотенец с раковины, со всего размаха запустила в Борисовну и с изумлением услышала собственный голос: «Да идите вы сами на хуй! Я думала, вы звезда, а вы провинциальная истеричка!» И тут же со страху выскочила, оставив её одну.

Хотя, если вдуматься, это был не столько страх, сколько удивление от того, на что я, оказывается, способна. Не из-за бабок же, не от обиды за пропадающий редакционный бюджет я в неё запустила этим рулоном.

Я же так хорошо всё придумала, как превратить эту всенародно любимую тётку в образ, приближенный к иконе стиля мирового класса. Она, конечно, ездила за границу и пела при полных залах, но всё же это были залы чувствительных русских эмигрантов. Она поёт, они рыдают. Мне-то хотелось сделать её более понятной всему миру. Я мечтала познакомить её с Тиной Тёрнер: по вкусу и чувству меры они похожи. У Тины Тёрнер больше всех наград «Золотой малины». И я уверена, если бы Алла Борисовна жила и творила в США, у неё этих «Малин» было бы тоже ух сколько! Но это не уменьшает величия обеих.

Ради всей этой мечты я лелеяла каждого стилиста, каждого

мейкаписта, каждого специалиста по бровкам. А она мне эту мечту спускает в унитаз! Какого хрена?!

Потом я поняла, что на месте А.Б. могла быть практически любая звезда. Просто её калибр меня поставил в более жёсткие обстоятельства. Я только ещё один раз в жизни столкнусь с таким уровнем своенравия — но там я была не столько участником, сколько миротворческими силами ООН. Но это совсем другая сказка. Скоро узнаете.

А пока что я сообщила коллегам, что дело швах и надо начинать собирать вещи. Все стали мрачно доставать чемоданы и чехлы.

И тут из дамской комнаты выходит А.Б., свеженькая, здоровенькая и заразительно так: «Ну? Что там у вас? Работаем!!»

Несмотря на жестокое нарушение графика, все включились, и съёмка пошла как по маслу. Знаменитые взбитые кудри разгладили утюгами, надели на звезду ямомомотов и диоров, торопились, мёрзли в плохо отапливаемой студии, но работали чётко и закончили самую сенсационную фотосессию Аллы Борисовны того времени.

После съёмки А.Б. пригласила меня с редактором в ресторан «отметить это дело». Я получила урок высокого класса по дисциплине «как пить алкоголь» (идём только на повышение градуса и, разумеется, водочка ледяная), как закусывать (язычок с хреном, котлетки пожарские, чуть винегрета и дальше по списку), узнала, какое волшебное чудо итальянский дижестив Fernet Branca — настойка на двадцати семи травах, невыносимая горькая гадость и лучший в мире отрезвитель. Чтобы прогнать алкогольное опьянение, надо было, оказывается, эту «Фернет» заливать в горло и в тот же момент сильно оттягивать мочку уха.

За весь ужин про нашу драку — ни слова. Только первую стопочку Борисовна подняла и, прямо глядя мне в глаза, сказала: «Ну, для начала — за тебя давай».

Респект, Алла Борисовна, респект. Оценила.

Так или иначе: прав был Шнур, есть что-то в драке. Иногда надо давать жару. Я теперь жалею, что не додралась в своей жизни. А ведь было кому навалить.

Повелитель Сай

Когда Гулливер оказался в Лилипутии, он запереживал, что совсем не понимает, как вести себя при дворе настоящего монарха. Опыта не было. А у кого он есть-то?

Вот, например, с английской королевской семьёй у меня всё сложилось. Мечта познакомиться с принцем Чарльзом сбылась, он оказался поистине королевским и обворожительным, но, увы, уже связавшимся с Камиллой. Юношеская любовь крепче поздних глупостей.

Сай Ньюхаус, главный-преглавный монарх в исполинской медийной империи Condé Nast, на которую я тогда работала, вызывал любопытство. Я прочитала его шестисотстраничную биографию «Гражданин Сай», потом ещё более увлекательное сочинение Франсин дю Плесси «Они» про знаменитого арт-директора Алекса Либермана, ближайшего друга великого Сая, и удивилась, что у глянцевого владельца собираются капиталы в десять миллиардов долларов. Он был нестандартный парень, этот Сай. Пришёл в небольшой тогда издательский дом своего отца семнадцатилетним мальчишкой, папа кинул его в самую гущу и сказал: «Учись — будешь наследовать бизнес». Сай мало что понимал в отцовском деле и попеременно просто садился с каждым, кто работал на тот момент в компании, — издателем, редактором, стилистом, корректором. Обучение в полях дало недурной результат: из мажора-наследника Сай превратился в полководца самой авторитетной и дорогой армии самого роскошного глянца в мире (двести журналов, несколько ТВ-каналов и дюжина газет в придачу).

Меня нанял и моим главным начальником в журнале Vogue был его племянник Джонатан Ньюхаус, владелец европейского Condé Nast. Сам Сай владел американским издательством Condé Nast и всем остальным заодно.

Года через два после запуска журнала мне позвонила Анн Маркус, глава секретариата Сая Ньюхауса, и сказала, что он хотел бы со мной повидаться.

Наверное, думаю, у него слабость к русским! Ведь вся семья Ньюхаусов в XIX веке эмигрировала из Витебска, да и друг его Либерман был выходцем из России.

Короче, еду я к начальнику всех умывальников, королю королей и императору императоров, выше которого в этой империи нет уже никого.

Сай назначил мне встречу на шесть утра в только что открывшемся

конденастовском буфете, дизайн которого сделал архитектор Фрэнк Гери — гений, сотворивший для архитектуры примерно то же, что сделал в моде Кристоаль Баленсиага.

Прилетела в Нью-Йорк вечером накануне этой встречи. Самое страшное — проспать. Что делать? Засну — не проснусь в пять точно. Поужинала, поболтала с друзьями и отправилась в душ. Там и простояла до полпятого утра, типа на полчаса окунулась в прохладу Ниагарского водопада. Нарядилась и отправилась на Times Square.

В 5:45 утра здание Condé Nast на Times Square было открыто, за длинной стойкой ресепшен сидел не один заспанный злобный хмырь, а восемь бодрых гвардейцев обоих полов. Каждый из них измерил меня ясным дневным взглядом и был готов помочь.

Меня отправили к лифту на какой-то там этаж. Двери открываются. И вижу, мимо лифта медленно идёт дяденька в тёмно-серых трениках с растянутыми грушами на коленках и в кроссовках. Вот же, блин, думаю, в американском Condé Nast убирают мужики, и аж с пяти утра. Не то что наши Людочки и Ирочки на Большой Дмитровке.

Говорю дяденьке: «Доброе утро, простите, не могли бы вы мне подсказать, где офис Сая Ньюхауса?» Он поднимает глаза и говорит: «Доброе утро. Я — Сай. А вы Алёна?»

Похолодела я до пяток — и тут же порадовалась, что дома воспитали здороваться с министром здравоохранения и сантехником абсолютно одинаково. А могла ведь ему шваркнуть небрежное hi.

«I am Si». Небольшого роста, метр пятьдесят с чем-то, с подкупающе родным лицом. Быстрый острый взгляд, ироничный прищур и рот, полный зубов. Пока он меня провожал к себе, я пыталась понять, почему владелец всех этих земель и богатств, получив звонок с нижней security, не отправил за мной секретаря, а вышел сам. Шёл так, будто уже давно зенит рабочего дня — пружинисто, задорно, легко, — несмотря на свои семьдесят пять лет.

Буфет самообслуживания совсем меня не потряс, у нас в Москве даже в Библиотеке иностранной литературы был лучше. Такой наш советский, столовский ход с подносами. Сухой минимализм, замкнутое пространство, в котором я не увидела ни убийственной интерьерной красоты, ни архитектурного полёта. Ага, догадалась я, так и должна выглядеть настоящая роскошь — скучно, аскетично, — но просторно и с идеально выставленным светом.



Сай (Сэмюэль Ирвинг) Ньюхаус

Сели завтракать, и наш разговор совсем не потёк по, так сказать, творческим рельсам. Его не интересовали герои журнала или страна Россия. Все больше технические вопросы типа объём журнала, тираж. Потом спросил, какой, по моему мнению, целесообразно запускать в России следующий журнал. «Просто в качестве фантазий, в планах пока ещё нет». Самое логичное, говорю, запустить GQ. На рынке к тому времени уже был Men's Health, был загибающийся Playboy. Он рассмеялся: непохоже, будто русским мужчинам очень нужен GQ. Легенда о том, что в России — красивые женщины и уродливые бестолковые мужчины, царила уже тогда. Меня это удивило: «Как это не нужен? Ну, во-первых, кое-какую дорожку уже протоптали, а во-вторых, зря вы так думаете». И начала петь оду русским мужчинам! Да, возможно, они пока не столь элегантны, сколь

европейцы, не так интересуются модой, но у них много других достоинств, и эти достоинства было бы целесообразно отразить, а заодно углубить и расширить. Собственно, в журнале GQ. Видимо, из-за моей пламенной речи Сай мне говорит: «Вы так хорошо говорите про русских мужчин — может быть, вы возглавите GQ тоже?» Я говорю: «Большое спасибо за доверие, но давайте мы для начала таки сделаем Vogue главным игроком на рынке, пусть он займёт свой законный трон, а там посмотрим». Мне тогда нравилось говорить, что русский Vogue зашёл в Россию как император, когда вся свита уже заняла своё место. Последним.

Во время завтрака я поняла, в чём секрет успеха Ньюхауса. Если ты занимаешься mega luxury publishing^[6], он должен быть mega luxury во всём. И поэтому буфет нам будет строить великий Фрэнк Гери, и снимать для нас будут лучшие камеры мира, и журналисты у нас будут лучшие, и главные редакторы — звёзды на нашем люксовом небосклоне. Я вскоре познакомлюсь с главредом американского Vogue Анной Винтур — высокомерной, закрытой, немногословной и самой влиятельной дамой в мире моды, и с Грейдоном Картером — обаятельным бонвиваном, острословом и киноманом — яркими и отменными профессионалами. Только так мы имеем право работать с luxury market. В этом смысле Сай был мудр и чётко.

А ещё, когда я поехала к Саю, взяла с собой один московский журнал «Новый очевидец» — точную копию журнала The New Yorker, вплоть до макета, вёрстки, шрифтов и иллюстраций. У нас всегда воровали западные идеи, но украсть целый журнал — всё-таки несусветная наглость. Показываю Саю: «У меня вопрос — как мы себя ведём в такой ситуации?» И не потому, что я решила накапать на своих приятелей Орлушу и Серёжу Мостовщикова, а чтобы узнать, как крупные медиамагнаты ведут себя по отношению к воровству в издательском деле. И думаю, сейчас он как вскочит: «Вот воры хреновы! Юристов ко мне в кабинет!» А он посмотрел на журнальчик, улыбнулся ослепительной улыбкой и сказал: «Алёна, сообщите мне, пожалуйста, когда они закроются — это будет очень скоро». (Так оно и вышло).

В конце встречи он пригласил меня к себе домой на званый ужин.

Сай жил в даунтауне в просторном элегантном лофте, кажется, на последнем этаже небоскрёба. Много воздуха, мало мебели, белые стены, отменная коллекция европейской и русской живописи, подобранная самим Либерманом. Все гости были в той или иной степени связаны с Россией: главный редактор The New Yorker Дэвид Ремник много лет работал корреспондентом The Washington Post в России, а падчерица Либермана

писательница Франсин дю Плесси была, помимо прочего, дочерью Татьяны Яковлевой, парижской музы Маяковского.

Все со знанием дела обсуждали экономический кризис в России и отменившийся из-за этого роскошный приём в Историческом музее на Красной площади по поводу запуска Vogue в России. Я отчаянно хвалила книжку Дэвида Ремника «Мавзолей Ленина», а он задавал вопросы про политическую обстановку в России, которую знал лучше меня. Заговорили о том, что Россия тяготеет к византийской избыточности. Ремник сказал, что девушки слишком красятся и носят Versace во всех местах. Я возражала: все это просто последствия долгого голода, а на самом деле русские женщины, у которых есть вкус и стиль, одеваются необычайно красиво. Приезжайте к нам на кинофестиваль — говорила я им, и вы увидите, как одеваются наши актрисы, и это совсем другие девочки. В общем, когда они меня достали с этой византийской избыточностью, я им сказала: «Чтобы вас успокоить, давайте сделаем вам один раз соболью обложку, усыпанную бриллиантами». И все: «Что?!?» Я говорю: «А что? Суперобложку для журнала сделаем из соболя, вышьем камнями, весь мир умоем». Они хохотали, соболья обложка — небывалая история, прямо как лифчик на меху.

Вышла, правда, неловкость, когда на горячее принесли стейки и Сай расхваливал свою говядину удивительного качества, рассказывал про откормленных кукурузой коров, которых возвращали на ферме его родственников. А я к тому моменту лет пятнадцать как не ела красного мяса, и мне совсем не хотелось выпендриваться за столом и рассказывать, что того не буду, сего не могу. Пришлось попросить шёпотом у официантов немного овощей и быстро их съесть.

На прощание я взяла со всех гостей слово, что они таки приедут в Россию. И правда, Сай собрался в Москву со своей женой Викторией, которая мечтала сходить в Большой, — аккурат к пятилетию русского Vogue. Президентский номер в гостинице «Националь» был заказан. 9 декабря 2003 года раздался мощный взрыв у фасада отеля. В результате подрыва самодельного взрывного устройства с гвоздями, шурупами и металлом мощностью килограмм тротила погибли семь человек.

Сай отменил визит.

Образцовая девочка

Про неё ещё напишут книги, издадут неподъёмные фотоальбомы на дорогой бумаге. Для сотен тысяч людей её пока недлинная биография стала воплощением сказки. Худосочный подросток из неблагополучной провинциальной русской семьи в считанные месяцы превращается в звезду, украшает сотни глянцевого обложки, выходит замуж за состоятельного «принца», запускает масштабный благотворительный проект и расширяет своё положение супермодели до звания современной принцессы Дианы.

А начиналось занятно. В 2003-м мы решили сделать посвящённый пятилетию Vogue номер о том, что «всё будет хорошо, а с Россией тем более ещё лучше». Журналист Игорь Свиначенко написал убедительную статью про «почему в России всё будет хорошо». На Западе как раз появился интерес к русским моделям, и мы связались с нашими скаутами: «Ребята, сделайте хороший кастинг и подберите для нас новых молодых девочек, кто, по вашему мнению имеет шанс серьёзно рвануть в модельном бизнесе».

Выбрали человек семь, сделали съёмку. Чудесные лица, ничего сенсационного, материал небольшой на две странички. Но каким-то волшебным образом в центре этой фотографии была одна трогательная мордочка. Прямые широкие брови, чуть виноватый, чуть упрекающий взгляд. Это была её первая съёмка в журнале, не говоря уже о Vogue. С космической скоростью её заметили западные агентства, и уже через год-полтора она возглавит знаменитую на весь мир модельную тройку «the three Vs», как их называли, — Водянова, Вялицина и Володина. Через считанные годы она оставит этих девочек позади и попадёт в тройку топ-моделей с самыми высокими гонорарами по версии журнала Forbes. А ещё — запустит свой благотворительный Love Ball в московском Царицыне и поднимет за один вечер больше пяти миллионов долларов. Гигантская сумма для 2008 года. Но это всё потом.

Вскоре после той первой съёмки модный мир будет всхлипывать от восторга: «Ах, Natalia — ох, Natalia». Её фамилию будут произносить, разбивая на две части «Водя-Ноува», и букировать Наташу на лучшие показы в Милане и Париже. Она начнёт много сниматься и почти молниеносно попадёт в самый авторитетный журнал о моде — американский Vogue.

Для обложки великого, тогда ещё живого журнала Egoïste её снимает

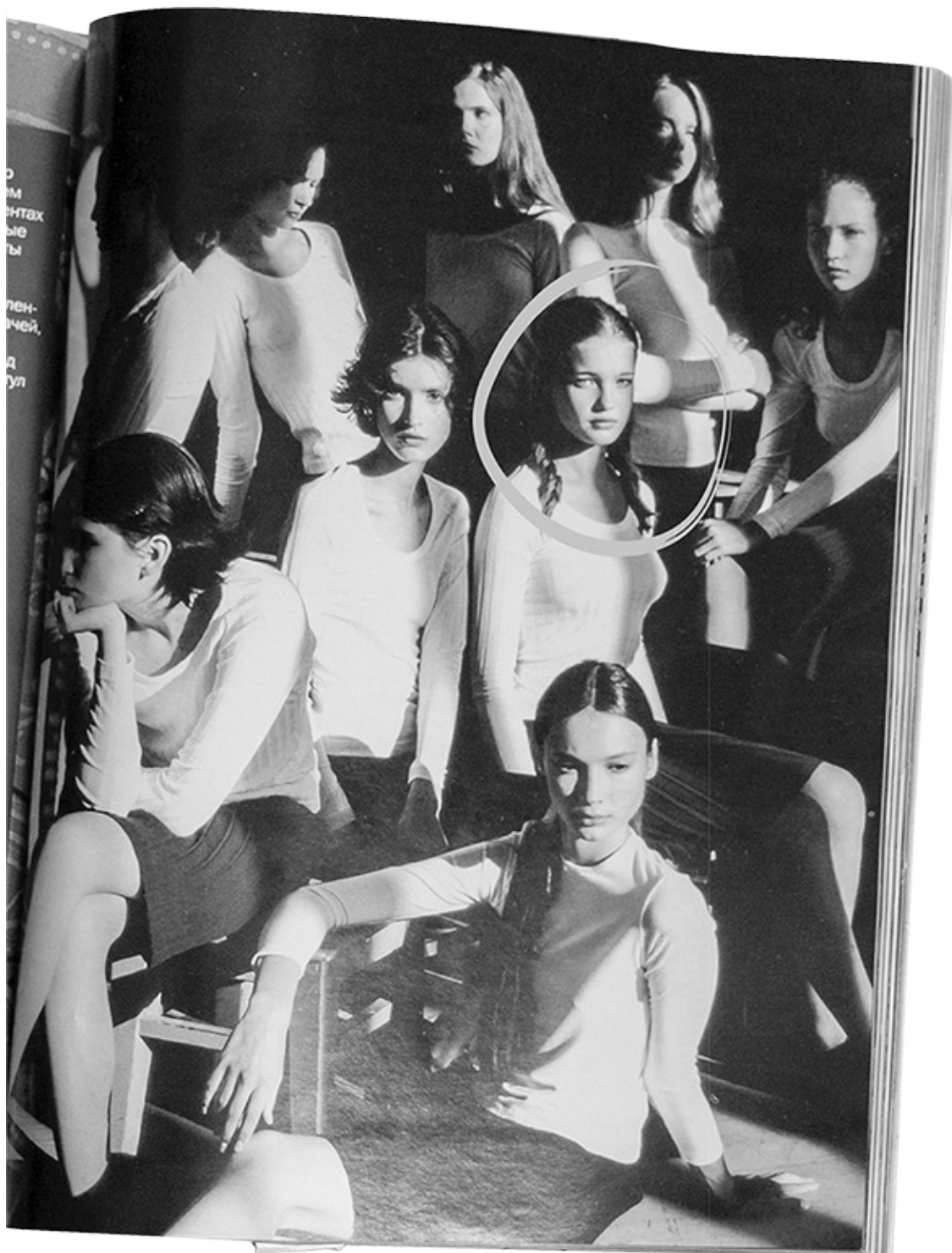
не менее великий фотограф моды Паоло Роверси. От этого детского лица с мечтательными и жертвенными глазами было невозможно оторваться.

Её лицо выдерживало любые крупные планы, что дано совсем не всем моделям. Прозрачные аквамариновые глаза, пропорции лица, и, может быть, её собственная душа обрели талант не прятаться перед камерой. Она умела быть особенной.

У нас быстро появились общие друзья, мы встречались на показах, в поездках по Европе, на Сардиниях и прочих дачах. Но. Взлетела она стремительно, приобрела жёстких агентов, которые с той самой нашей первой съёмки никогда её не давали для съёмок в русском Vogue. Она всегда занята, *fully booked*. А нам, как русскому бренду, было обидно.

Эти рабочие недоразумения не мешали нам продолжать общаться. В какой-то момент она приехала ко мне на дачу с Джастином Портманом, за которым тогда была замужем. Будучи беременной в очередной раз.

Несмотря на то что Наташа рано покинула страну и в России со всеми своими съёмками и показами в Европе и Америке бывала нечасто, она бережно сохранила в себе русское. Помню, мы как-то долго обедали, обед плавно перетёк в ужин, уже где-то ближе к ночи Наташа говорит: «Алён, а ещё котлеток твоих не осталось?» Я говорю: «Вообще-то мы всё смели, штук тридцать пять». А она: «Может, тогда сырнички сделаешь?» Это часа в три ночи. Сделали, съели и болтали до утра.



Vogue Россия, декабрь 2000 г.

В другой раз собрались с друзьями у меня на даче и решили повалять дурака. Поиграть в домашний театр. Разбились на команды по три-четыре человека, и каждая должна была разыграть свою версию сказки про

Красную Шапочку. В поисках одежды было разрешено шуровать по моим шкафам. Сначала на «сцене» появился Серый Волк, Гена Йозефавичус, обернувший бедра шкурой африканского козлика и почему-то с чемоданом. Навстречу ему шла Наташа-Шапочка. На голову она надела ярко-красное плиссированное боа с показа Nina Donis, которое вообще-то украшало моё кресло в спальне, и на живом человеке я его ни разу не видела. Вид у них был настолько смешной, что любое сказанное ими слово вызывало у всех хохот. Гулять умела от души. И всё легко — есть, пить, рожать детей. Через два месяца после родов — такая же стройная, как прежде, — идёт на показы и на съёмки.



Алёна Долецкая, Джастин Портман и Наталья Водянова, 2007 г.

Со стороны — почти всё беспечно и непринуждённо. Красивая успешная женщина, море поклонников. Муж Джастин — состоятельный наследник знаменитой английской аристократической династии Портманов. Заводной, быстрый, весёлый, безудержно играл в любые игры, которые существовали в мире, — в шахматы, шашки, маджонг, «Скрэббл». Всегда полон планов и прожектов, решил вложить деньги в научное английское общество геномики.читающий, образованный англичанин, он потеряет свою «золотую девочку» из-за беспробудного пьянства, потом раскается, но будет поздно. Наташа примет решение уйти с тремя детьми и строить собственную жизнь. Выращивать свой фонд «Обнажённые сердца», который она создала из-за тяжело больной сестры. Убеждать весь ей доступный список «А» в мире моды и глянцевого журналистики в важности своего дела в России. Устраивать благотворительные марафоны и самой участвовать в них до последних месяцев беременности, подавая миру пример того, как надо расставаться с деньгами.

Наконец наступил удачный момент. Мы где-то встретились, и я ей: «Наташ, мы должны успеть между твоим очередным, третьим и четвёртым (сейчас не припомню каким), ребёнком, сделать всё-таки настоящий номер для России, это важно. Я тебе предлагаю позицию приглашённого редактора — делай с номером что хочешь. Но сделай».

Она: «Ты с ума сошла! У меня так много идей, так много идей, но только я так занята, так занята». Победили идеи — и мы начали делать отличный номер с разными фотографиями, молодыми и зрелыми, с художниками русскими и американскими.

И вдруг Наташа говорит: «А давай я умолю Стивена Майзела сделать со мной съёмку для нас?» Майзел — самый дорогой и востребованный фотограф, у него два эксклюзивных контракта, с американским и итальянским Vogue, больше он ни для кого не снимает. И у нас созрел план.

Наташа снимается с Майзелом для американского Vogue и как бы ненароком после съёмки просит его сделать ещё одну маленькую для русских. Объясняет, что это важно для продвижения её фонда. Нарушаем, конечно, немного его контрактные договорённости. Но — это ведь для Наташи. Сработало! Майзел согласился. Ночью, прямо из студии, звонит Наташа:

— Алён, всё супер, только все вещи, которые снимали для американцев, развезли и ничего не осталось. Так, чуть нижнего белья. Что делаем?

— Как что? Снимаемся, конечно! Попроси продюсера привезти красивых цветов, необычных, типа анемонов — дадим обворожительную

романтику. А с вещами — бог с ними.

В конце апреля 2008 года выйдет мартовский номер с одной из самых красивых обложек русского Vogue. В первый и последний раз снятая знаменитым Стивеном Майзелом для России. Для Водяновой.

Мне трудно представить себе поступок, который бы мог опорочить Наташу. (Дай бог не сглазить.) Потому что на своём примере она показывает: nothing is impossible. Нет ничего невозможного. И дело не в деньгах. Не в мужьях. Не в связях. А в своевременном и точном понимании своего предназначения. И в честном служении своему выбору. Молодец.

Анатомия обиды

Никогда не знаешь, что может у людей вызвать гнев прямо на ровном месте. Я сейчас не про рассердиться на денёк и помириться на завтра, а про такой гнев, когда человек, кажется, может и голову тебе оторвать и печень съесть. Приключиться такое может в любой точке земного шара. Меня угораздило — в городе Милане.

В 2006 году вышла книга талантливой английской журналистки Алисии Дрейк *The Beautiful Fall* («Красивое падение») о парижской модной жизни 60–70-х годов. Алисия — изящная англичанка с тремя детьми, замужем за французом, полностью опариженная, в неизменно винтажных Cardin и Courrage — автор лучших аналитических модных статей и интервью для американского, русского и английского Vogue. О том, что книга на подходе, я знала за два года до её выхода — тогда Алисия встретилась со мной в Париже и предупредила, что в ближайшие год-два я не смогу рассчитывать на неё как на автора журнала, она собирается полностью посвятить себя большому труду.

Иногда я совершала попытки встретиться с Алисией, как всегда методично делала это со своими авторами, выезжая на показы четыре раза в год. Она отвечала: «Алёночка, страшно занята, пишу, не поднимая головы» — и мы не встречались.

Года через два, перед очередным вылетом с показов в Париже, я получила от неё сообщение: давай увидимся. Встретились в кафе Angelina рядом с моим отелем «Ритц», и Алисия сказала:

— Я закончила книгу. У меня есть гранки. Хочешь?

— Как ты думаешь? Конечно!

Это и правда были гранки, настоящие, бумажные, сшитые по корешку, без обложки, без выходных данных. Я их не читала. Я их заглатывала. Как троглодит — ночью, в отеле после всех показов и встреч, не отрываясь. После полусотни страниц стало ясно, что книга «Красивое падение» ни про какую не про «моду 70-х», а про двух гениев мира моды, Ива Сен-Лорана и Карла Лагерфельда, которые раскололи Париж на два лагеря.

Их личная жизнь пересекалась турбулентно и эротично. Их творческая — на таких высотах, до которых вряд ли доскачет кто-нибудь из молодых дизайнеров. Оба героя и создавали невероятный нерв книги. Атмосферу этого противостояния да и времени в целом идеально характеризует дотошно собранная Алисией фактура, то, что называется в

журналистике research — примерно половина найденных для этой книги фактов была здесь обнаружена впервые.

История была живой и аутентичной. Я знаю за Алисией этот талант: после обычного интервью по телефону или по электронной почте она могла создать образ, настроение и характер героя статьи, будто провела с ним сутки, не разлучаясь. К двадцатой странице «Красивого падения» у меня было впечатление, словно я надышалась всеми наркотиками 60–70-х, которые они все тогда беззаботно принимали, не подозревая об их смертельной опасности.

Великое поколение гуляло по полной: книга была пропитана запахами духов, табака, травы, алкоголя всех видов. А интерьеры, в которых они жили! А исключительность дизайнера и дома моды, завязанная не на концерн, а на творца, будь то Такаши Кензо, Тьерри Мюглер или Андре Курреж! Творцов сопровождали феи, музы, графини и лорды. Книга была полна подробностей и имён, кто конкретно был при Карле, а кто при Иве, как наши герои организовывали вокруг себя общества почитателей, парфюмерные облака восхищения, обожания, преданности — и предательства.



Книга Alicia Drake «The Beautiful Fall», 2006 г.

Короче, «Красивое падение» я проглотила за ночь и сказать, что я была под впечатлением — не сказать ничего. Слава богу, на первом показе в 9:30 утра весь первый ряд (модный мир это хорошо знает) сидит в тёмных очках. Кто-то скрывает следы ночной вечеринки, ну а я в этот раз — следы бессонной ночи в обнимку с книгой.

Гранки в Москву я увозила с гордым осознанием того, что кроме меня их получили, скорее всего, только Сьюзи Менкес, тогда самый известный в

мире обозреватель моды, и Александра Шульман, тогда главред британского Vogue. Через два месяца рецензия в русском Vogue на «Красивое падение» вышла одновременно с книгой — и я, гордая нашим эксклюзивом, отправилась на следующий сезонный показ мод в Милан, захватив с собой свежие экземпляры журнала.

После показа Fendi, где креативным директором десятилетиями бессменно служил Карл Лагерфельд, я, как обычно, отправилась за кулисы поздравить Сильвию Фенди и Карла: показ был замечательный. Там уже была толпа приятелей по цеху, десяток теле- и фотокамер. Операторы ждали, когда Сильвия начнёт давать интервью одной половине каналов, Карл — другой. Здоровые охранники подводили к ручке знаменитостей. Шла классическая закулисная тусовка. Я терпеливо ждала, медленно, но верно приближаясь к виновнику торжества. И вот голов через восемь я вижу Карла. Значит, уже скоро. В этот момент наши глаза встретились. В обычной жизни Карл говорит быстро, тихо, чуть шепелявит и некоторые согласные сливаются в один звук. Но тут он вытянул шею и совершенно неожиданно очень громко, чисто и с полётностью голоса, как у Паваротти, на всю толпу поклонников прокричал-пропел: «А Ва-а-а-а-с я уничтожу вместе с Вашим журналом! Я сделаю всё, чтобы он никогда не получил рекламы Chanel и Fendi! Я никогда не прощу Вас!»

Я оглянулась в поисках несчастного человека, которому адресовался этот ветхозаветный гнев. И тут услышала: «Нет, нет, я вам говорю, Али-она, и не надо озираться!» От ужаса я на время почти оглохла. Карл продолжал кричать, толпа глазела: я вмиг стала звездой покруче Софи Лорен и, кажется, самого Карла Лагерфельда. Первый раз в жизни я поняла, что такое ледяной пот, который медленно течёт от самой макушки вдоль позвоночника до копчика. В обморок упасть мне помешало только недоумение.

Поясню. С Карлом к тому моменту я была в близких и тёплых отношениях, вошла в пять-десять персон мира моды, которым Карл разрешал немислимое — за день перед показом Chanel посидеть на последнем прогоне, на той территории за семью замками, где самый ближний круг дизайнера без сна и еды доводит готовую коллекцию до подиумной кондиции.

За день до показа в студии всегда царит игра нервных престолов. Никаких отсрочек не может быть, что-то обязательно не готово, что-то неожиданно не нравится создателю, и весь предусмотренный порядок может рухнуть в любую минуту. Но только не у Лагерфельда.

К тому времени Карл похудел килограммов на тридцать пять после

своих девяносто шести, но оставался вальяжной фигурой в лёгком облаке безупречного парфюма — тогда он любил Dior Noir от Эди Слимана и его же, Эдички, знаменитые пиджаки в облив и узкие брюки. Вокруг него царил покой аристократичного XIX века, где всё давно отлажено. Он спокойно поддерживал беседу с зашедшими гостями, одновременно правил очередной выход модели, подписывал свою новую книгу фотографий.

В небольшой студии на rue Cambon на стенах уже нет ни одного свободного сантиметра, всё заклеено фотографиями с каждой моделью, с каждой вещью, с каждым аксессуаром, с именами и номерами выхода — но вся продуманная, просчитанная конструкция прямо на твоих глазах может измениться. Карл мог, наблюдая за тем, как мимо него идут модели, вдруг резко остановить выход и сказать: к чёрту весь жемчуг. А весь длиннющий рабочий стол завален жемчугом: коробочки-коробочки-коробочки, броши, бусы, серьги, булавки — аксессуары для коллекции. Или вдруг: поднимаем юбку на два с половиной сантиметра, а носки оставляем.

Aliona,

How can you let such a thing happen ?!

Here is my answer to this woman's letter she sent with the book to my house.

I also send you the translation of your article... apparently you are not reading your own magazine. This word about me alone, what is written by your writer is an insult.

I may go to court for it against Russian Vogue.

So you think I am a "criminal" as your article says ? You lost your mind to insult me that way... and Chanel , Fendi, etc...you see what I mean...

I will see with Jonathan. I talked to him before, as you saw in Milano.

Best regards,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Karl', with a long, sweeping horizontal line extending to the right.

PS : This book is also very homophobic...You should not be proud...

Anna Wintour refused to review this book insulting a friend. She apparently reads her magazine...and was the first to call me even before I knew about the book coming finally out...

Cc : Jonathan Newhouse
Bernt Runge

Копии: Джонатан Ньюхаус
Бернд Рунге

Алёна, как ты позволила такому случиться?! Вот мой ответ на письмо этой женщины, которое она прислала мне домой вместе с книгой. Заодно отправляю тебе перевод статьи... совершенно очевидно, что ты не читаешь собственный журнал. Слова, написанные обо мне твоим автором, оскорбительны.

Я могу подать за них в суд на русский VOGUE.

Ты и вправду считаешь меня «преступником», как написано в этой статье? Похоже, ты совсем спятила, если позволяешь так оскорблять меня... и Chanel, и Fendi... и т. д.... понимаешь, что я имею в виду...

Я повидаюсь с Джонатаном, я уже предварительно говорил с ним, как ты видела в Милане.

С наилучшими пожеланиями,

К

P.S. Эта книга к тому же абсолютно гомофобская... Тебе нечем гордиться...

Анна Винтур отказалась публиковать рецензию на книгу, в которой оскорбляют друга. Она, безусловно, читает свой журнал... и была первой, кто позвонил мне даже до того, как я узнал, что книга вышла...

Рядом с ним в такие моменты сидела главред итальянского Vogue Франка Соццани, иногда Анна Винтур, часто Андре Леон Телли — бессменный креативный директор Vogue USA. Заходили и друзья Карла — Джулианна Мур, Кайли Миноуг.

Как-то во время одного из таких прогонов он протянул мне страннейший аксессуар, который сам придумал — своего рода кастет, полуперчатку, сделанную из металла, всю в стразах и с шанелевским логотипом на тыльной стороне ладони.

— Померяй! Руки у тебя красивые и тонкие.

Мне было неловко, но искры вождения уже летели у меня из глаз уже летели.

— Идеально! Возьми, только не вздумай надеть завтра на показ!

Конечно, «не вздумай» — эта вещь была частью коллекции, не вошедшая в окончательный отбор, но всё, что предназначено для подиума, должно быть впервые показано только на подиуме. И вообще всё это время за один день до — день большого секрета, момент, окружённый тайной.

А ещё Карл ненавидел, когда к нему прикасались. Все это знали, кроме меня. Пришла я к нему во второй, кажется, раз, и, вся такая исполненная восторга от финальной репетиции показа, идущей параллельно нашему разговору, от альбома фотографий, которые он недавно сделал, от

затейливого подарка, я схватила его за руки, обняла за плечи и воскликнула: «Карл, простите, но вы, конечно, гений. Спасибо!» Свита замерла и ждала, что сейчас он меня просто вышвырнет. А Карл продолжал спокойно говорить, держа меня за руку. Так началось наше многолетнее удивительное общение.

Как-то раз я разговорила с Карлом про Пушкина. Почему он вообще знал Пушкина, не особо признанного в Европе, которая всю русскую литературу меряет Чеховым и Достоевским? Я привезла ему книгу дневников Александра Сергеевича и показала стихотворные строки с поправками и рисунками на полях. У меня была одна идея.

— Это, — говорю, — наше всё. Этот почерк и картинки на полях знает каждый интеллигентный человек в России. Давайте сделаем фон из пушкинских рукописей и на нём снимем последнюю коллекцию haute couture? Не только Chanel, но всех остальных дизайнеров, по нашему выбору.

— Гениально, — говорит, — делаем!

Это была одна из лучших съёмок кутюр для русского Vogue. Фотографом был, разумеется, Карл. Сканы рукописей распечатали, увеличили их до размера пять на шесть метров. Они-то и стали фоном для съёмки. Всё это Лагерфельд сделал за свой счёт и за большие деньги. У журнала такого бюджета просто не могло быть.

Словом, это были отношения неравные, но тёплые. Может быть, отчасти это было связано с тем, что он вообще был равнодушен к России. Он любил о ней говорить, как об эдакой современной Византии, трогательно хвастался только что найденными запонками Фаберже на своих открахмаленных манжетах и собольими покрывалами в спальне, мечтал приехать в Россию не ради кремлей и музеев, а чтобы поездить по провинции и посмотреть бескрайние просторы нашей Родины.

В любом случае, Карл был объектом моего восхищения и уважения. И этот человек, который занимал немаловажную часть моего сердца, громогласно бранит меня поверх голов *crème de la crème* модного сообщества: «И я напишу личное письмо Джонатану Ньюхаусу! Я напишу его са-а-а-м! И в этом письме скажу, что Вы сделали!»

Я по-прежнему не понимала, что вообще происходит. В какой-то момент в его возмущённой тираде всплыло слово «гнусная книга». Я поняла, что речь идёт о том самом «Красивом падении» Алисии Дрейк. Единственное, что меня с этой книгой связывало, была опубликованная рецензия в последнем номере. Но это совершенно не рассеивало моего недоумения. Вечером в отеле я на всякий случай перечитала рецензию. Она

состояла исключительно из комплиментов.

Сразу после описанной сцены мне демонстративно прислали приглашение на показ Chanel — в двенадцатом ряду, и это после семи лет сидения в первом. На показ не пошла. Следующие пару лет приглашения на показы Chanel я получала только в третий или четвёртый ряд.

Обещанный Джонатан Ньюхаус, президент Condé Nast International, спустя месяц после кошмара за кулисами Fendi, передал мне письмо от Карла и лениво бросил: «Что вы там не поделили? Я ничего не понял». Реклама Chanel и Fendi, надо заметить, в журнал продолжала приходить. Тесный дружеский круг коллег мне приносил отчёты о стрелах, которые продолжал метать в мою сторону Лагерфельд: «чудовищная женщина», «монстр».

Но тогда в толпе, которая медленно расступалась вокруг меня, нужно было как-то справиться с парализующим недоумением. Найти объяснение тому, что случилось. Больно получить такую оплеуху от человека, которым ты восхищаешься. Но получить её, не понимая, за что, — невыносимо.

Для начала выяснилось, что русскую рецензию на «Красивое падение», смехотворно крошечную, на треть полосы, Лагерфельду перевели некорректно и, боюсь, не случайно. Заметка по сути кратко пересказывала содержание книги, и фраза «Сплетники говорили, что злодей Карл намеренно познакомил Жака...» обрела полупристойные краски. «Злодей» был переведён как «преступник, уголовник». Но и это было не главное. Пламенный гнев Карла относился к самой книге. И предательством в его глазах было то, что я вообще посмела «эту чудовищную книгу» упоминать.

Расследуя инцидент, я узнала, что Карл патологически не выносит, когда заходят в его личную жизнь. Поговаривали, что он сделал особое распоряжение, согласно которому любой из его наследников, который напишет о нём книгу, автоматически лишается наследства.

Алисия потратила больше четырёх лет на сбор фактов и подняла свои отменные связи ради того, чтобы по крупицам собрать историю Карла и Ива — «как оно всё было на самом деле». И она их собрала. Именно то, что делало книгу в моих глазах бесценной, превращало её в преступление, с точки зрения Карла. Особенно его возмутило то, что она ссылалась на разговоры и факты, предоставленные ей кузеном Карла, которого он считал мало что понимающим ничтожеством. Кто ж знал?

У Лагерфельда была феноменальная память на цифры, на людей, на факты. При этом он был великим мифотворцем, человеком, который привык сам распоряжаться своей биографией и жизнью как ему

вздумается. Он был хозяином своей судьбы, придумывал и перепридумывал её, как ему этого хотелось.

Карл мог с лёгкостью сказать: «Какие ко мне вопросы? Я самый поверхностный человек на свете». Чтобы оценить высоту этого кокетства, нужно один раз увидеть его библиотеку, в которой он практически спал. Тысячи и тысячи книг, сотни самых различных интересов от ранне-средневековой литературы до последних айподов и прочих подкастов — я никогда не встречала среди дизайнеров моды никого, кто был бы настолько эрудирован. Поверхностный?

Так или иначе, все суждения и рассуждения о нём должны были быть только в его власти. Сама тщательность Алисии Дрейк, не говоря уже про мелкие ошибки, типа факта перестройки фамильного дома или дат какого-то путешествия, были для него чудовищно оскорбительны. Описав некую объективно существовавшую реальность, Алисия лишила Карла Лагерфельда власти над собственным мифом. Над его собственной личной сказкой. И его реакция на это «преступление» была поистине бешеной. Ну, или адекватной — смотря с какой стороны поглядеть. Он несколько раз подавал на Алисию в суд, пытаясь предотвратить распространение книги, — и проиграл все процессы.

Была и ещё одна, последняя, третья причина. Алисия в этой книге никого не ругает, не унижает и не принимает чью-либо сторону, она пытается разобраться в противостоянии Карла Лагерфельда и Ива Сен-Лорана. И в этом наблюдении она приходит к выводу, что Ив был артистом, художником (*artiste*), а Карл — стилистом (*styliste*). В подтексте: стилист трансформирует произведения искусства и моды, а артист создаёт вселенную из ничего, из воздуха. Именно это, в конце концов, могло оказаться для Карла настолько болезненным, что он проклял книгу как клеветническую и обрушил адский гнев на трёх немаловажных для себя персонажей — Сьюзи Менкес, Алекс Шульман и меня, — которые эту клевету ещё и похвалили в своих изданиях.

Позже я написала Карлу искреннее письмо, в котором описала и своё огорчение, и нежелание терять дружбу, редкие человеческие отношения. Ответа не получила, хотя знала, что Карл всё прочёл. Я же учла все тайные коды: во времена имейлов он принимал письма только по факсу, и только рукописные.

Время шло. Второй ряд Chanel снова превратился в первый. И спустя пару лет на ужине в отеле Le Bristol, посвящённом вручению г-ну Ньюхаусу ордена Почётного легиона, где были все ведущие французские дизайнеры, ко мне подходит друг и товарищ по модному цеху Сьюзи

Менкес и говорит: «Алёна, значит, так. Хватит театра, я хочу вас помирить с Карлом. Это просто глупо». Я говорю: «Сьюзи, это будет героизмом с вашей стороны — вместо меня он видит воздух. Не знаю, удастся ли вам». Она берёт меня за руку. Через два человека от нас стоит Карл.

— Карл, подойди сюда, пожалуйста, — просит его Менкес.

Он подходит к нам.

— Хватит. Я знаю, какие у вас были с Алёной отношения. Надо мириться.

— А я не ссорился, — отвечает Карл.

— Ну, Карл, зачем? Источник зла — в небрежном переводе заметки? — спрашиваю.

— Не хочу ничего знать! Ничего не хочу знать! — начинает он.

— Карл, — говорю, — а что на мои письма не ответили?

— Я не получал никаких писем, — легко парирует он.

— Что, — отвечаю, — в присутствии всех будем лукавить?

— Получал, рвал, выкидывал. Не открывал, — говорит.

— Факс же открывать не надо, он не в конверте приходит, — вставляю свои двадцать копеек.

От нелепости происходящего мы втроём начинаем безудержно хохотать.

— Давайте всё забудем! — говорит Сьюзи-миротворец, положив на свою руку мою и Карла.

Всё прошло, как с белых яблонь дым. Мы нежно обнялись.

Это происшествие помогло мне в каком-то смысле очнуться. Несоразмерность пустякового повода и бешеного гнева выдающегося персонажа поставила меня в тупик. Она разрушила редкие по своей искренности и теплу отношения. В голове не складывалось: ведь мир моды молится на публичность, публичность подчас экзальтированную, вызывающую, показную.

И легче всего было поддаться иллюзии того, что люди здесь железные. Чем выше ступень пьедестала, на которую они взобрались, тем они более непробиваемые. Верно? Каждый из этих титанов готов ко всему, и нет такой сплетни, шпильки, разоблачения, которое пробьёт их броню. Как у Гамлета — *readiness is all*. Будь готов, всегда готов! Всё, что не некролог — то реклама.

Так вот, оказывается — не всё. По минному полю ходим. Под бронёй порой оказывается нежная кожа, и, если туда проникнет соринка, последствия могут быть сокрушительными.

Жёсткая встреча

На каких концертах я только ни была — и на AC/DC, на Rolling Stones, Майкле Джексоне, Florence + The Machine и Мадонне. И везде была разнополая толпа. А на этом концерте мальчиков почти не было. Дело было в самом начале нулевых. Мне очень нравилась музыка этой певицы и её голос, хрустальный и чистый. У неё даже слова, когда она поёт, похожи на весеннюю капель, когда воздух ещё зимний, и капли замерзают и падают на землю уже кусочками льда.

И поёт она искренне — про любовь, про убийство, предательство и ненависть. В общем, тронуло. Ни на кого не похожа. И я понеслась на её живой концерт в Нескучном саду, хотя не особо люблю такой антураж.

Я встретила там, к своему удивлению, друзей — Гарика Сукачёва, Женю Маргулиса. Сидели рядом с Надей Соловьёвой, известным музыкальным продюсером и агентом, человеком, который привозит в Россию всех — от Маккартни до Rolling Stones. В середине концерта полил проливной дождь, но большая часть людей пришла с зонтами — плохой прогноз фанатов не пугает.

Надя мне говорит: «Долецкая, не понимаю, как ты можешь так долго слушать эту однообразную музыку. Я пошла отсюда, тем более дождь». А я ей: «Не, останусь, хочу ещё послушать. Что-то сильно цепляет». И осталась. Чуть меньше, чем через десять лет, Надя возьмёт Земфиру как агент, несмотря на то, что характер у певицы маложивчивый.

Как раз тогда Рената Литвинова сняла фильм под выход нового альбома Земфиры. Это был видеоклип песни «Мы разбиваемся». Я тогда сказала Ренате, с которой мы дружили: «Слушай, хочу тоже Земфиру под выход альбома, но в журнале. Клип твой отличный, Земфира похудела-похорошела. Давай?» Рената согласилась поговорить с Земфирой только при условии, если она будет арт-директором, ну или стилистом съёмки.

Мы в Vogue уже делали обложку с Ренатой, и тогда я, невиданное дело, заставила её смыть красную помаду а-ля Марлен. Это был изящный портрет в профиль, снятый шведским фотографом Питером Фараго. Ренате нравилось.

Нам было приятно дружить — у нас дни рождения почти подряд, у меня десятого, а у неё двенадцатого января. Обычно мы пытаемся встретиться, может быть, не день в день и обменяться подарками. У меня в квартире на стене висят два чудесных эскиза театральных костюмов, её

подарок. Мы с ней очень разные, она никогда, мне кажется, не выходит из образа, даже когда спит, я же постоянно забываю «надеть лицо».

Меня восхищало её тонкое, просчитанное чувство стиля. Рената давала новую жизнь звёздам прошлого, с которыми она или соотносила себя, или просто любила и уважала. Она стилизовала себя каждое утро. Тут тебе немного Марлен, тут — Орловой, а то вдруг много разных личин, прошлых и настоящих одновременно. И, что удивительно, выходило органично.

В наших отношениях мне можно было отбросить путанные игры и просто ей сказать: «Слушай, давай без дураков. Я тебе доверяю и в истории с Земфирой, понимаю, что ты хочешь быть её стилистом и видишь её новый имидж. Но ты же понимаешь, что мы всё равно будем собирать вещи сами, потому что есть профессиональный подход к съёмке. А ещё у журнала есть модные бренды, которые мы хотим поддерживать, отдавая себе отчёт в том, что наша героиня больше, чем модная марка». Рената всё сделала. Честно собрала свои вещи и приняла те, которые мы собрали дополнительно.

Рената может раздражать людей — театральной манерностью, отстранённостью, эдакой напудренностью поведения. Но мне это как раз нравится. И вообще, она бесстрашный человек. Думаю, они и с Земфирой нашли общий язык именно потому, что бесстрашие каждой — не тупое «мне море по колено», а скорее: «Я такая, вы меня любите или ненавидите — ваши проблемы». Что-то в песнях Земфиры мне всегда напоминало укол рапирой. Укол из «Мушкетёров» Дюма или из «Умри, но не сейчас», где фехтует Джеймс Бонд.

Договорились о съёмке, снимали в недавно отреставрированном особняке Муравьёвых-Апостолов на Старой Басманной в Москве. Я решила на съёмку не ехать: там маникюр, волосы, макияж, и Рената, и Земфира, и фотограф Володя Васильчиков, и стилисты, и продюсер — толпа. Васильчиков — опытный, работает всегда легко, входит в свой контакт со знаменитостью. Справятся. Только спустя дней пять после этой съёмки я узнала, что, оказывается, существовал пул фотографов, которые называли себя «Анти Z» — никогда ни при каких условиях не соглашались снимать Земфиру.

И тут раздаётся звонок. Звонит продюсер журнала Юля Тризна:

— Алёна, всё плохо, маникюрша рыдает, чуть не выкинулась из окна. К голове З. не прикоснуться, вещи смотреть не хочет, все в панике, не понимаем, как начать съёмку. Кажется, у нас всё разваливается.

А Юля — человек температуры даже не 36,6, а 35,2 — на съёмках у неё всегда всё гладко, ровно и небо одного цвета. Я уловила SOS, беру

своих собак хаски, которых, по счастью, захватила на работу, и еду в особняк. Собаки — известный антистресс, авось поможет.

Войдя в любимый, пропитанный духом размеренного XVII века особняк, я поняла, что здание мне поможет — это вам не холодная студия, которую надо топить своим теплом и творческими фантазиями. Реставрацию толком не закончили, всё было белое, чистое, где-то облетает лепка, но много света и абсолютный покой и уверенность в том, что в этом доме всё должно быть только хорошо.

Видела я вот что: на лицах стилиста, фотографа, ассистентов — смесь паники и измождения. Говорить не могут. Тризна с трудом выдавила: «Она не хочет ничего».

Я знала, что Земфира — перфекционист. Будет негодовать из-за миллиметра неточно сделанной стрижки. За одну восьмую неправильно попавшего на репетиции тона будет терзать не соседей, а ближайших коллег. Она умеет кидаться не предметами, отшвыривая не понравившиеся туфли, но поворотом головы, жестом и словом, которое летело, как бритва, прямо тебе в горло. Жёсткая и бескомпромиссная к нарушению тех идеальных форм, в которых она видит музыку, песню, человека, ситуацию, съёмки, не важно.

Нахожу Ренату, она в своей роли полурассеянной-полузадумчивой звезды смотрит невидящим взглядом на съёмочную группу. Земфиру я даже не замечаю, сидит, как паучок, где-то в углу. Говорю своим: «Ну не хочет маникюр? Не делайте, в чём проблема? Просто в съёмке будет приятней увидеть ухоженную руку, а не обгрызенные ногти».

Земфира напряжённо сидела у стены с рапирой, пусть и учебной.

Отправила я маникюршу домой, стилиста отпустила поест мороженого в соседний зал, стали вместе с Земфирой просматривать отобранные вещи. Собаки изображают заботу и внимание к переодеваниям. Я ей: «Чего ты такая злая, что тебя бесит?» А она вдруг мягко так: «Да ничего, в общем». В итоге надела короткое чёрное платье а-ля Твигги шестидесятых, чёрные колготки и встала на каблуки — идёт через анфиладу такая девочка-цветочек с тонкой шейкой. Переоделись в фехтовальное, поиграли рапирой, обласкали собак.

По ходу съёмки, правда, уколы вовсе не рапиры иногда летели в адрес фотографа: «Ты чем там камеру держишь? Может, тебе показать, как надо?» Володя терпел, а что делать?

Потом был перерыв, она пошла переодеваться. И тут Володя тихо так мне: «Алён, люблю, уважаю, но я сейчас валю, так нельзя». Я говорю: «Вов, ещё два кадра, и главное, что последний look я хочу сделать на улице

— мы же взяли мотоцикл Vespa, чтобы довести шестидесятые до конца, всё стоит на улице готово. Я её хочу одеть в тот чёрный кожаный плащ на голое тело, как Жюльетт Бинош в фильме «Ущерб»». Будет невероятно круто. Потерпи. Ну пожалуйста».

Предпоследний кадр мне тоже был дорог. Я хотела, чтобы Земфира, человек, перпендикулярный всему и всем на тот момент, надела простые узкие чёрные брюки с ремнём Hermès — а наверх ничего. Topless.

В этой истории у меня было запрято сложносочинённое сообщение. Новые русские тогда понакупили ремней Hermès, сияли пряжками на улицах и в ресторанах: ну и что, нависает у меня здоровый живот, зато ремень с заветной золотой буквой H! А мне хотелось сказать, что Земфира — и есть настоящая роскошь, несмотря на весь её рок, провокации и андерграунд. К моему удивлению, она уловила мою идею, спокойно оделась и встала в тот ставший знаменитым кадр — топлес, прикрывая грудь рукой с застенчивостью молодой Кейт Мосс, чуть съехавшие брюки на одно бедро и этот ремень с заветной пряжкой Hermès.

И наконец долгожданный финал. Земфира выходит в кожаном плаще, конечно, застёгнутом, но на голое тело, на Басманную, где стоит наша Vespa. За ней гуськом — Рената, Володя с камерой, продюсер Юля и я. И тут Земфира, игнорируя мотоцикл, решительным шагом переходит Басманную улицу на другую сторону, на которой нет ни фотографа, ни Vespa. И куда-то уходит.

Я — за ней. По походке человека всегда видно вот это «я пошёл». Догоняю её через трамваи и гудящие машины, а она мне: «Всё, заебало, я больше не могу, всё вот это вот, не могу! Достало, нах!» Что именно нах-то?! Исторгаю на неё волшебные облака успокоения, нежности, просьбы, всего на свете. Она остановилась. Посмотрела в глаза и вернулась. Села на Vespa и молча доснялась. Уф-ф-ф.

Ещё до съёмки, когда я брала у З. интервью, я увидела, что она умеет хохотать, громко, отвязно, как девчонка в том возрасте, когда ей не важно казаться женственной, она ещё вне половой игры. И вот когда я поймала этот её хохот, он перенёс меня в детство, в пять-семь лет, когда просто хотелось веселиться и беспечничать, закопать свой «секретик» с монеткой или маленьким фантиком, спрятать в землю и никому не сказать. А потом искать секретик всем вместе, находить и хохотать. Этот детский хохот в мгновение ока мог смениться у Земфиры напряжением и гневом — до зубовного скрежета и проступивших желваков.

Когда пришла съёмка, мы сделали в журнале нехарактерный для Vogue макет — кадры как будто напечатаны на фотобумаге, которую потом в

отчаянии порвали, а потом сложили заново. Хотелось передать жёсткую драму и певичку и съёмки. Скоро позвонила Земфира: «А знаешь, мы сделали самую красивую историю, которая мне когда-либо удавалась». Точно.

В последние годы я заметила, что Земфиру стали густо красить, с тяжёлым макияжем на глазах, желая «украсить», а не, наоборот, подчеркнуть её остроту, жёсткость и, главное, перпендикулярность её личности. Земфира же — в известном смысле Цой в юбке или лидер Radiohead Том Йорк. Может быть, так хотят усмирить, сделать её чуть более удобной, менее ранящей?

Но если она так любит, что убьёт соседей ради твоего безмятежного сна, — можешь пугаться этой яростной любви и бежать, а можешь и принять эту игру. На лезвии бритвы.

Белая и чёрная

В начале нулевых я поняла, что хочу вернуть моделей-легенд. Выросла я на Vogue с Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Клаудией Шифер и Линдой Евангелистой. А к 2000-му с легендарностью стало плохо, всё размылось. Они ушли с показов, их перестали звать на съёмки, потому что уже не проходили по возрасту.

Все были в поисках новых лиц, давай новое, новое, новое. И я подумала: «А вот Наоми. Её легендарность никто не отменял, а обложек было не так много». Мне издатель тогда: «Ты с ума сошла! Она тяжелейший человек. Одних слухов вокруг неё не оберёшься — ругается, дерётся, опаздывает на три-четыре часа. И потом, темнокожая на обложке русского журнала...». Но мы принимаем своё решение. В России Наоми Кэмпбелл — хорошо известна.

Приезжаю в Лондон, в студию на съёмку. Робин Дерек — арт-директор английского Vogue, неплохой и надёжный фотограф. Знает Наоми, что важно. Съёмка назначена, кажется, на час дня. Сидим-ждём и продюсер говорит: «Ну, давайте чаёк-кофеёк, потому что часа полтора будем ждать точно».

Без пяти час, грохнув всеми дверями студии, вошла Наоми Кэмпбелл. Вошла и сразу заполнила собой пространство. У англичан это называется presence. Я искренне удивилась такой королевской точности, потому что её опоздания были такой же легендой, как она сама. В руках у неё два мобильных. Благодаря лондонской команде мы узнали, с кем она больше любит работать, приготовили специальный мейкап для тёмной кожи, и всё такое прочее. Когда я увидела вещи, мне очень понравилась красная крокодиловая шляпа Dolce&Gabbana. Во-первых, красный цвет продаёт обложку и журнал, а во-вторых, наступали времена больших денег и, если уж ты про роскошь, то меть прям в крокодила. А если уж крокодил, то на Наоми Кэмпбелл, и наоборот, если уж Наоми Кэмпбелл, то крокодил.

Конечно, она бесконечно и страстно говорила по телефону, она это делает всегда. Но безупречного профессионализма у неё нельзя было отнять: отсмотрела всю одежду, спокойно обсудила весь мейкап «лучше эту тональную основу, а не ту», никого не ругала, ничем не кидалась. И на моих глазах быстро разрушила легенду о себе, как о капризной скандалистке.

Я только потом поняла её мирное спокойствие: в тот момент никто

особенно не снимал её, журналы потеряли интерес к команде так называемых супермоделей. Да, не все из них были в лучшей форме: у кого-то были проблемы с наркотиками, у кого-то — с алкоголем, а главное, молодые, да ранние борзо наступали на пятки. И в этом тяжёлая особенность модельной профессии — ты каждый день окружён камерами, тебя щёлкают на каждом показе, до показа, после показа, снимают, когда ты вышла просто поужинать, пообедать и позавтракать — ты всё время в этом ослепительно жадном свете рамп. И вдруг — это ошеломительное внимание куда-то исчезает. Непросто справиться.

Фотосессия пошла своим чередом. И раз уж главный редактор приехал, то, естественно, пока команда занимается «переменой блюд», готовит новые вещи под следующий кадр, есть возможность поболтать. Я была с ней осторожна, чтобы излишний поток вопросов не поставил её в неловкое положение. Но любопытно-то как! Она была в замечательном расположении духа и надо ей отдать должное: Наоми уникальный человек. У неё память слона. Она помнит не только все даты, имена и события, она помнит музыку, которую на этом событии играли, помнит, кто куда повернул голову. Меня это, конечно, тогда покорило. Вот уж чья автобиография будет увлекательным чтением!



Наоми Кэмпбелл и Алёна Долецкая, 2009 г. Фото: Виктор Бойко

Короче, съёмка прошла замечательно, мы подружились. И, хотя издатель сомневался в Наоми на обложке, этот номер был блокбастером по продажам.

Она никогда не забыла, что я сняла её на обложку, когда больше никто этого не делал. И выражала благодарность тонко. В какой-то момент, когда Игорь Чапурин тогда молодой русский дизайнер, решил делать свой показ в

Париже, я ей позвонила и говорю: слушай, вот такое дело, русский дизайнер, пока не великий, но старательный, хочет сделать показ на неделе парижской моды — помоги, а? Открой своим выходом ему показ. Ну, конечно же, они заплатят, хотя выход на показе — не такие уж и большие деньги. Я их познакомила, она приехала в Париж и вышла у него на подиуме. Это было начало нулевых, и русские дизайнеры были ещё не в чести на парижских показах. И ведь ни разу не сказала ни слова, мол, не хочу, не могу, не буду.

Но репутация и шлейф бывает посильней тебя самой. Делаем мы съёмку с большой командой знаменитостей для одного события в Vogue, в году 2010-м, и мой стилист Наташа Белозёрова ждёт Наоми в студии на «Красном Октябре» (опять ведь не отказала!). Я подъезжаю, смотрю, стоит Белозёрова — пальцы белые, руки трясутся, даже хвостик, в который были завязаны волосы, дрожит.

— Наташа, что случилось?

— Алёна, Наоми же едет, я очень боюсь.

— Чего?

— Она может же кинуть чем-то в меня.

— Ты с ума сошла? Она у нас, смотри, уже снималась в журнале, и приходила ко мне в офис, помнишь? Чудесный, доброжелательный человек.

И надо отдать Наоми должное, к этому моменту она поворачивалась ко мне только доброжелательной стороной. И делала всё безупречно.

Именно Наоми подходит знаменитая присказка: When I'm good, I'm very good. When I'm bad, I'm horrid.^[7] Никогда в жизни я не встречала такого контраста у одного человека. Её доброжелательность, открытость, готовность помочь — феноменальны. И притом она удивительно красивая женщина. Её красота почти странная, почти животная: мощное тело, сильные бёдра, крепкие ноги, мускулистые руки, выносливая, неутомимая. Не зря её называют пантерой. Я их в Африке много видела, так что это — не случайное сравнение. В ней дышит бешеная сила. Наверное, это и повлекло за собой её такую мощную обратную чёрную сторону. Если она не в духе, то берутся телефоны, вазы, стулья, и всё летит тебе в лоб.

Она была чуть ли не третьим человеком, который мне позвонил, когда стало известно о моем уходе из Vogue. И своим известным голосом с хрипотцой закричала в трубку: «What the fuck?!»^[8] Я ей: «Darling, you know, shit happens». Второй её вопрос был: «What's next?» Я: «Чё what's next, дай отдышаться».

У меня там за стеклом кабинета любимая редакция, половина в слезах,

упаковывает мои книжки, и я сама не в лучшем виде. Единственное, что мне нужно, — это просто отдохнуть. Она не унимается:

— Отдых?! Какой возьмём следующий журнал?

— Наоми, нет журнала, который мне сегодня нравится на медийном рынке.

— Что ты говоришь глупости? Что, в России уже всё есть?! Тебе же не только разные Vogue нравятся.

— Ну, честно сказать, нравятся, хотя и не все. Единственный, кто мне правда интересен, это американский Interview, который делает Фэбиен Барон. Журнал, конечно, нишевый, и в Россию ему рановато, но если мы говорим про «нравится», то это он. А пока я тебя целую, мне прям совсем не до этого, и спасибо тебе огромное за звонок.

Как она могла оказаться в первых рядах, до сих пор не понимаю. У неё явно есть специальные антенны, и откуда она всё всегда узнаёт первая — одному Богу известно.

Не успела я уехать на океан, звонит мне тогдашний бойфренд Наоми, русский строительный магнат, красавчик Влад Доронин: «Мы тут с Наоми в Венеции, на кинофестивале. Приезжай, здесь Питер Брант, владелец Interview. Он никому не продаёт лицензию, но поговори с ним! Сойдётся, запустим вместе».

Метнулась я быстро, благо из Испании в Италию рукой подать. Встретилась с Брантом, миллиардером, владельцем крупнейшей в мире коллекции работ Энди Уорхола и прочего современного искусства и заодно небольшого издательского дома, в который входил журнал Interview. На вид — высокий, серьёзный, умный дядька малопривлекательной внешности с нависшим длинным носом и тогда — удивительно — муж знаменитой топ-модели Стефани Сеймур, матери их двоих сыновей необычайной красоты. Их брак, как выяснится, отдельный сериал, но это всё потом.

Разговор наш был содержательный, подробный и толковый. Мои соображения о журнале и о его возможностях на медийном рынке России ему явно нравились. И тут он вдруг:

— Слушайте, а вы куда после Венеции-то?

— Я в Москву или назад в Испанию, продолжать свой отдых, а что?

— А давайте-ка мы после Венеции прямо в Нью-Йорк. Влад ведь на своём самолёте?

— А мне-то зачем в Нью-Йорк?

— Ну, Вам, наверное, архивы Interview нужно посмотреть?

— Это значит, что Вы согласны?

— Мы с Владом поговорим по деталям.

Легко так, непринуждённо. И все соглашаются лететь в Америку.

Но до Америки остаётся пара дней на кинофестивале. Мы смотрим фильмы, едим обедать и ужинать. В какой-то из таких милых моментов садимся в катер вместе с Владом, Наоми, Питером Брантом и их другом Тони Шафрази, знаменитым американским галеристом, и несёмся в какой-то ресторан по каналам Венеции. Заговорили с Владом о делах. Ему тогда нравились гляцевые журналы, он уважал русский Vogue, но в издательском деле не понимал ровным счётом ничего. Как с лицензией? Где печатать? А кто на русском рынке делает схожее? И хотя он уже совсем обвыкся с жизнью на Западе, трогательно радовался, когда была возможность поговорить по-русски. И вот мы с ним плывём и бу-бу-бу-бу о своём. Вдруг в какой-то момент в крошечном пространстве катерочка раздаётся страшный крик Наоми: «Вот, Влад, ты опять! Вы специально говорите по-русски, чтобы я ничего не понимала! Я знаю, между вами что-то происходит, а я не в курсе!» Начинается буквально адский приступ бешенства. А я ни ухом ни рылом. Наоми кричит страшно, заодно и мне достаётся: «Ты специально с ним говоришь на языке, которого я не понимаю! Я знаю, что у тебя свой грязный планчик!» Всеми этому внимают Питер Брант и Тони Шафрази. И я понимаю, что у меня из-под ног уходит всё — катер, венецианские жёлтые воды — у меня полный разрывающий сердце ступор. Потому что я совсем не понимаю, как себя вести. А она мочит нас обоих.

Время от времени Влад вставляет: «What the fuck, shut up!»^[9] Но становилось ещё хуже: «Me shut up? You fucking shut up!»^[10] Если бы от звуковых волн этого гнева мог подняться шторм, мы бы попали бы в девятибалльный, в стиле Ивана Константиновича Айвазовского. К счастью, катер приплывает к набережной с рестораном, в котором мы собирались ужинать. Мы выходим на сушу, я тихо подхожу к Владу, отвожу его чуть в сторону и говорю:

— Влад, не отпускай, пожалуйста, катер.

— Что за дела!?

— Смотри, я сейчас сажусь в лодку, уезжаю назад в отель и улетаю домой. Так работать нельзя. Если это начало, то что будет дальше? Не волнуйся, я уеду тихо, никто не заметит.

Влад вдруг начинает на меня орать: «Ты с ума сошла, это же хуйня полная!!!» Тут подлетает Наоми: «Ах, вы опять говорите по-русски? Суки, твари! Интригуете против меня!»

Говоря литературным языком, на набережной воцарилось безумие.

Сильно смущённые Питер Брант и Тони Шафрази плавно направляются в сторону ресторана. Я, наоборот, ретиво припустилась к лодке. В этот момент вопли Наоми волшебным образом прекращаются, и я слышу крик в спину по-русски: «Алёна! Ты никуда не уезжаешь, мы идём вместе ужинать!!!» И тут же по-английски капитану катера — приказ меня не брать на борт.

Влад идёт за мной: «Слушай, пойми, ну бывает у людей, не обращай ты на неё внимания, это фигня, — заботливо извиняется передо мной. — Я тебя прошу, не уезжай, будет ещё хуже. Давай спокойненько сейчас поужинаем все вместе, и всё будет нормально». Ох, да и неловко мне, не попрощавшись, сбегать с ужина.

За ужином уже не было криков и воплей, но напряжение висело свинцовым грузом. Тони Шафрази, эксцентричный мужик, с гривой седых выющихся волос, ироничный, видевший всех уорхолов на свете, мне подмигивает, как папа родной: «Не переживай, всё нормально, пронесёт». И я понимаю, что эти все что-то знают, чего не знаю я, и мне, наверное, надо в этой ситуации подстроиться. Пошёл обычный американский трёп за столом, и в какой-то момент Влад, сидя напротив меня, говорит мне что-то по-русски. Ба-бах!!!! «Я всё слышу! Опять за старое?!?» — услышала я с другой стороны стола. Не помню, как закончился этот мучительный ужин.

В лодке её опять прорвало: «Я этого не потерплю!!! Я всё вижу, я всё чувствую, я всё знаю!» В общем, вернувшись в отель, я, как в знаменитой песне Донны Саммер с Барброй Стрейзанд, решаю, что enough is enough, харэ так харэ, а вот теперь хватит. Покупаю себе билет в Москву на завтра, ложусь спать, а утром пишу Владу смс: «Дорогой, было офигенно, огромное спасибо за всё. Билет себе взяла, улетела в Москву. Не суди строго, но я так работать не могу. Не моя чашка чая, как говорят в Англии».

Чемоданчик у меня крошечный, погода отменная, у меня пара часов ещё есть, пойду-ка я до аэропорта у бассейна посижу. Вдруг звонит телефон. Влад:

— Привет, всё прочёл, я тебя умоляю, пожалуйста, зайди в номер такой-то.

— Влад, я тебя прошу, никуда я не пойду, у меня водное такси в аэропорт через два часа. Всё нормально! Не напрягайся. Главное — решай свою личную жизнь, хрен с ним, с журналом. Сейчас — отбой.

— Не, ты не поняла, тут у меня кошмар, я глаза не закрыл ни разу за ночь. Она лежит на полу в слезах, рыдает, говорит: «Как я могла так обидеть Алёну? Это человек, который меня вытащил, когда меня забыли все, человек, который мне дал то-сё, был моим настоящим другом». Она

хочет попросить у тебя прощения. Умоляю тебя, зайди.

Что делать, захожу в их номер и вижу королевешну, которая превратилась назад в лягушонка, страшного, опухшего, всего залитого слезами. Бросается ко мне, захлёбывается в рыданиях: «Прости, умоляю». Реально на коленях. Я от неловкости тоже падаю на пол, говорю ей: «Ну всё бывает, пройдёт». — «Нет, ты должна меня простить, я себя вела ужасно». Дальше сквозь рыдания она вспоминает всё в деталях: «Я помню и 2000-й, помню Лондон, знаю, с каким ты вниманием и терпением...»

Ну, нельзя не простить человека, вот просто невозможно. Конечно, прощаю, обнимаю и вижу, что чем больше я её успокаиваю, тем больше она рыдает. Влад, который стоял сзади неё, мне показывает глазами: «ОК, уходим, дадим ей успокоиться». И я ей: «Отдохни немного», — и выхожу. И вместо того, чтобы всё-таки улететь, остаюсь. Потому что об этом, перед уходом, меня просит Влад.

Серьёзная ошибка, Алёна Долецкая! Потом огребёшь море «удовольствий». Но об этом в другой раз.

Увернувшись от истеричного тайфуна, села подумать. И вот что скажу: в Наоми живут два человека — «очень хороший» и «адски плохой». Они не знакомы друг с другом, и, наверное, в ней, в Наоми, никогда не встречаются. А если бы и встретились, никогда не смогли бы договориться.

Вспомнила, как ещё до всяких журналов Влад собрал милую компашку: Айдан Салахову, Наоми, Леонардо Ди Каприо, модель Бар Рафаэли, с которой Лео тогда встречался, того самого Тони Шафрази и меня — и мы поплыли на его лодке по Средиземноморью. По утрам Влад, как настоящий физрук, занимался со мной и Айдан йогой и прочей восточной зарядкой. Было весело.

И там я впервые увидела Наоми в более драматичном её проявлении. У них с Владом начались мелкие ссоры. Яхта ж такая вещь — пока лодка плывёт, читаешь-загораешь, а потом бродишь себе и бродишь. И как-то раз я случайно зарулила на верхнюю палубу — они ругались жёстко. И крики, и оскорбления. Наоми вдруг схватила тяжеленный корабельный шезлонг легко, будто подняла газету с пола. Я — пулей вниз, от греха подальше. Куда полетел шезлонг, не знаю. Но поняла, что девчонка, конечно, с мощным характером.

В другой раз Влад устроил вечеринку для Наоми по поводу её сорокалетия, на юге Франции, в Hotel du Cap-Eden-Roc. В огромном саду, с невероятной Грейс Джонс и Red Hot Chili Peppers на сцене. Все столы были украшены большими статуэтками чёрных пантер. Наоми была настоящей счастливой девочкой, которой делали подарок. Мы переодевались и

прихорашивались в огромном номере, ходили кто в бигуди, кто в специальных папильотках, позировали фотографу. Валяли дурака, короче. А потом она плясала, хохотала, ни одного гостя не обделила своим вниманием. Мила. Прелестна. Хороша.

И вот когда женщина с такими удивительными природными совершенствами превращается в свою диаметрально противоположность, её королевичность — в плебейство, доброта — в ненависть, забота — в оскорбление, это не может не напугать, потому что подготовиться к таким крайностям непросто. И надо быть очень сильным человеком, которым все эти годы был Влад, балансирующий между этими двумя состояниями и, несмотря на всё, счастливый.

Про Наоми получается не сказка, а антисказка, потому что в сказках всегда понятно, кто плохой, кто хороший — добро борется со злом, и дальше варианты, найдёт ли Иванушка те крошки, что разбрасывал по лесу, или не найдёт. А Наоми, выходит, добрая фея, которую заколдовали. И уж не знаю, кто с неё это колдовство снимет.



В курилке с Чужим

Я ничего о нем не знала. Когда он победил на «Евровидении», посмотрела его выступление. Оно было нестыдным, но его движения на сцене чуть отдавали советской эстрадной провинциальностью, что было досадно.

Где-то раз в два месяца на нашу редакцию в журнале Interview наваливалась усталость от Голливуда, мейнстрима и молодых, подающих надежды, и мы кричали друг другу: «Хочу дичи!» Дичью мы называли то, что никак вроде не влезало в рамки журнала, но мы знали, как создать угол, при котором это становится остроумно и точно. Одними из первых наших «дичей» были интервью и съёмка Андрея Бартенева с Еленой Малышевой.

Мы понимали, что журнал Interview нёс идею поп-культуры, но в том виде, в котором всё-таки её видел наш основатель Энди Уорхол, а не в виде банального преклонения перед совсем уж масс-маркетовым искусством. Но игнорировать то, чем были заняты умы и уши огромного количества мужчин и женщин нашей страны, мы не могли. Среди прочих экзотических идей вдруг прозвучало: «Давайте попробуем Билана». Я подумала, а что? Он, конечно, вызывающий тип — прыгает, бежит, что-то кому-то пытается доказать, иногда недурно, голосовые данные отменные, но как-то всё это завернуто не в ту обёртку. Мы придумали поместить его в чуть более международный контекст, потому что в России Билана видели всякого. И тогда наш стилист Саша Зубрилин сказал: «Давайте попробуем сделать из него певца Prince». И даже ведь что-то есть в них сходное — самоупоённость, в хорошем для музыканта смысле слова. Класс! А сама думаю: «Ох, он ведь уже звезда Первого канала. Сейчас начнётся: “У меня репетиции, съёмки, концерты, ‘Голос’, ‘Танцы’ и все такое”».

Он подтвердил дату съёмки на удивление быстро.

Я решила приехать в студию раньше, посмотреть отобранные Сашей вещи и на всякий случай подстраховать ребят — мало ли что. И тут появляется Дима. С опозданием, кажется, минуты на три, извиняется, говорит: «Ради бога, извините, я так летел, но меня там задержали, тут задержали. А никто покурить не хочет?» Я говорю: «Я, конечно». Мы вышли на лестничную клетку глубокой негламурности. Там валялись какие-то железки, обрубленные балки, и холодрыга была страшная.

Он щёлкнул зажигалкой, поднёс её мне и тут — клик! — я поняла без малейшей на то причины, что он мой человек — в его жесте было что-то

точное и уютное, будто он давал мне прикуривать лет двадцать. Даже сама удивилась, потому что, будем честны, совсем не все песни, которые поёт Дима, моя музыка. И вдруг он сказал: «Скажу тебе честно, твои интервью на «Дожде» — потрясающие, особенно...» И дальше перечисляет героев, с которыми я делала интервью. А я про себя: «Неужели он смотрит «Дождь»? Подлизываться ко мне ему вроде незачем, но мои интервью он помнил до цитат. И даже если он мегаотличник и решил сделать домашнюю работу заранее, чтобы потом передо мной выпендриться, все равно удивительно. «Дим, ты прямо какой-то биограф Алёны Долецкой. Откуда ты такие вещи знаешь?» Он говорит: «А ты что думаешь? Я слежу за процессом. Мне и Vogue твой нравился». Ни фига себе, думаю, неевклидова геометрия, пересечение двух параллельных прямых. Ну да ладно, главное, чтобы звезда на съёмке была в порядке.

Он тогда запускал свой диск Alien, и у ребят была идея сделать ему на щеке надпись-«татуировку» с этим словом. Он с улыбкой: «О, классная идея, мне очень нравится». «Что касается вещей, — говорю, — хотим качнуть тебя в сторону Prince». «О-о-о, он серьёзный музыкант», — говорит Дима. Я ему: «И вот смотри, есть рубашка с кружевными манжетами, которая действительно похожа на ту, в которой выступал Принс». Дима осматривает аккуратно: «Ой, что-то не очень это, какое-то гейское». Я говорю: «Дим, ты чего? Во-первых, Принс не был геем, если уж честно. А во-вторых, у нас другая тема. И я хочу, чтобы ты был с гитарой, чтобы ты упивался той музыкой, которую делаешь».

Он соглашается и терпеливо садится на «татуировку» — долгая всё-таки история с этим мейкапом. Потом примеривает вещи, переодевается и — пошла съёмка, и он прямо в кадре начинает импровизировать, берет гитару в стиле Принса, играет с удовольствием, работает щедро, ловя каждое слово, которое произносит фотограф Лёша Колпаков. А вдобавок у Колпакова всегда отличная музыка на съёмках, заводившая всех.

Фоном у Димы разрывался телефон, нужно было куда-то дальше ехать, его уже ждали, он начал нервничать, что опоздает. Предупредил нас. Мы ускорились. А ко всему прочему в студии было жарко, и он всё время пил кока-колу. Я ему: «Слушай, сколько можно пить кока-колу?» Он отвечает: «Мне б ещё редбулльчику!», отснялся до последнего кадра и пулей рванул одеваться.

Обычно, когда звёзды на съёмке начинают куда-то опаздывать, они начинают раздражаться, изо всех сил пытаются задвинуть следующую смену одежды и капризничают: «Давайте без этого обойдёмся и без того, а этого я вообще не хочу надевать». Он же сказал: «Доделаем всё до конца, как

вы хотели».

Эта обязательность, полное отсутствие капризности и эгоизма — свойства настоящей звезды, которая пробудет в профессии долго. Я сама такая. Накануне обещала улететь в Петербург, но отравилась, всю ночь выворачивало наизнанку, а утром приехала на съёмку и после неё поехала в аэропорт в Питер. Обязательность в других запоминается и как будто с ними роднит, даже если вы больше никогда не увидите.

Договорились с Димой сделать интервью позже, по скайпу. В назначенное время находим друг друга в Сети, и я вижу на экране Диму — ой! — лежащего на больничной койке, простуженного вдрызг.

— Я тут разболелся, прихватил жуткий грипп. Нас там никто не видит? — спрашивает.

— Нет, — говорю, — я сижу спиной к стене, всё ок, как ты?

Он и правда выглядел не лучшим образом, было понятно, что ему плоховатенько, но, раз обещано, шёл до конца. А мог поступить, как миллион других людей: «Заболел, пришлите по имейлу вопросы, отвечу». У меня до конца жизни останется в глазах этот скайп. Лежит несчастный простуженный парень, ему вообще не до того, и терпеливо отвечает на мои вопросы. История в номере вышла отличная.

Но у неё есть занятное продолжение. Появился, значит, Дима на обложке Interview, и вдруг меня приглашает пиар-директор одного знаменитого итальянского дома моды на чашку кофе поговорить про какие-то дела. На встрече один иностранец, который много лет работает в компании, и два русских менеджера: «Алёна, а вот вы поставили на обложку Билана. Вы чем руководствовались?» И я им: «Мы не игнорируем русскую массовую поп-культуру». И что Дима — вполне себе герой. Преданный профессии, музыкально образованный человек из масс-маркетовой звезды превратился в уважаемого мной и всей нашей командой персонажа. И вдруг они так все втроём: «А-а-а, фуф! Понимаете, мы тут сомневались, потому что на нём очень хорошо смотрится наш бренд, и он его носит, и мы подумали, что, может быть, предложить ему контракт... Мы так рады, что вы это сказали, вот спасибо!»

Прошло полгода-год, и мы в Interview придумали весёлый проект — круглый стол про адреналин, власть, славу и кофе. Я позвала разных гостей, актёра, режиссёра, продюсера, дизайнера моды. И Диму (а вдруг?). Через минуту он кидает сообщение: «Скажи время, место — буду». В конце нашей беседы за круглым столом я спросила: «Ребята, мы все тут собрались адреналинщики и кофеинщики, тем живём и радуемся — но вот какой вам всем не хватает одной вещи, чтобы радостно дышалось?» Ну, и

пошли ответы в стиле «Мир во всём мире» и тому подобное. А Дима, весьма активный в Инстаграме, говорит: «А я бы отключил все соцсети». Мы примолкли. Я спрашиваю: «А почему?» А он: «Да лишнее потому что это всё и очень шумное. Вот, кстати, и Долецкая в книге «Про варенье» говорит, что постоишь вот так в тишине, послушаешь, как пахнет клубника, помедитируешь — и уже легче. Вот мне бы этой тишины хотелось».

Где Дима, а где варенье? Ничего не складывается. Он звезда уже восемнадцать лет, такая карьера не бывает случайной.

Мы не близкие друзья, я не знаю, с кем он отдыхает или спит — но вот знаю, что этот человек где-то есть, и он настоящий. И если я вижу что-то неудачное, плохое, грустное, происходящее с ним, переживаю как за своего. А когда он радуется новому голосу, это же ликование через край. Как он прыгал по сцене и вопил и подпевал, когда вышла Мариам Мерабова со своим исполнением Georgia. Эту сцену можно пересматривать в качестве психотерапевтического сеанса. Мало кто в шоу-бизнесе умеет так радоваться успехам коллег по цеху.

Но есть в нём что-то трагическое, причём совершенно непонятно, откуда оно. И о чём. И в какие бездны ведёт. И от этого в сердце теплота и нежность. И хочется его беречь.

Короткие встречи

1

В случайных, мимолётных встречах есть особая магия. Они иногда остаются в памяти на всю жизнь, не превращаясь во что-то основательное.

Был такой знаменитый британский чёрно-белый фильм Дэвида Лина «Короткая встреча» 1945 года (кстати, один из любимых фильмов Миучча Прада, как выяснилось). В этой мелодраме герой, сидя в привокзальном кафе, вынимает у едва знакомой женщины из глаза соринку, и делает это так, что ты понимаешь: зарождается большая любовь, и даже невинное прикосновение пробивает им обоим сердце насквозь. Они оба женаты, и ничего у них не сложится, всё останется мимолётностью и закончится (простите за спойлер) в конечном счёте драмой. А вот в жизни кое-что можно развернуть иначе, ко взаимному удовольствию.

2006 год. Февраль. Лос-Анджелес. Голливуд. Прилетаю по работе на «Оскар» и, пользуясь цеховым знакомством, отправляюсь на самую известную вечеринку после церемонии, которую устраивает журнал Vanity Fair. Даже для главреда русского Vogue появиться там и увидеть весь «список А» мирового кино своими глазами в полном сборе — путешествие в сказку. Со специальными билетами мы с приятелем проезжаем на машине минимум пять проверочных кордонов — ощущение, что проникаем в самое сердце NASA.

В конце полосы препятствий находится наша цель — обычный шатёр с маловыразительной недлинной красной дорожкой. Но кто на ней позирует и как — отдельное зрелище. Переодевшиеся после церемонии Энг Ли и Риз Уизерспун размахивают золотыми болванчиками. Обездоленные, но прославленные Джуди Денч, Мадонна, Николь Кидман и прочие брэды питты солнечно улыбаются камерам. Оказавшись внутри, я переживаю взрыв мозга. Как сельди в очень жаркой бочке, набились великие, все страшно нарядные, что не мешает им толкаться как на базаре.

Под левое ребро мне жёстко упирается локоть Дженнифер Лопес, прямо над головой проносится тяжёлая статуэтка Риз Уизерспун, которой она, уже навеселе, радостно размахивает, сверху надо мной гундит голос Траволты. Пропихивающийся куда-то вбок Де Ниро пытается докричаться до Дастина Хоффмана, что он тут и хочет к нему пройти, но не может.

Редко можно увидеть в этой толпе незнакомое лицо. Одно вот,

например, мелькнуло, малопривлекательное, прямо скажем, жабоподобное. И я спрашиваю приятеля: а это кто? Да это же Харви Вайнштейн, самый знаменитый продюсер Голливуда. Упс.

Между сельдями и шпротами бегают знаменитый модный фотограф, длинноногий Марио Тестино, с крошечной разовой камерой типа «мыльница». Съёмка в шатре вообще-то строго запрещена, но Марио зовёт каждого по имени, и щёлкает, щёлкает. И ему радостно позируют все. Даже строгая Дайан Китон, демонстративно снимающая каблуки и надевающая кроссовки.

Возбуждённое профессиональное мегасборище скворчит о своём и про своих, все поздравляют друг друга, выпивают, сплетничают про церемонию, про платья, про дурацкие речи и, уж конечно, смотрят, кто в чём.

И раз я оказалась в такой сказке, нужно в ней как-то освоиться. А для этого выпить хотя бы полглотка воды, потому что страшно жарко, душно, воздуха нет, а выйти уже невозможно. Я нахожу глазами бар, но пройти к нему нереально: локти, колени, плечи по-прежнему оттесняют. Кричу через галдящую толпу бармену: «Can I have a glass of water, pleeeeeeze!!!!»^[11], но он, естественно, мечет индустриальное количество коктейлей голливудянам, и моя вода его вообще не интересует, потому что моего лица у него на жёстком диске нету. Шансов получить стакан воды у меня ноль, выжить без неё — тоже. В этот момент какой-то дядька, который стоит, облокотившись на стойку бара и ко мне вполоборота, поворачивается и ловит мой взгляд. А я по-прежнему воплю бармену: «Excuse meeee, can I have a glass of water?» руками изображая желанный стакан с водой, который отправляю себе в рот. Дядька, чуть небритый, безо всякого фрака и галстука, в светлой рубашке, небрежно расстёгнутой сверху, смотрит на меня приятным внимательным взглядом с намёком на полуузнавание. И тут меня прошибает молнией: «Это же Джордж Клуни! Как я попала... Ему кажется, что я кто-то, кого он знает. А я не та, и сейчас будет неловкая нелепость, и ох, как же это всё глупо!» Клуни что-то говорит бармену и через секунду у него в руках оказывается бокал с водой и, натурально, с этим американским льдом.

Через кишащую толпу, которая самопроизвольно перед Клуни расступается, он приносит мне бокал. У меня речевой ступор, который не позволяет мне даже на моём приличном английском сказать: «Thank you, Mr. Clooney». В тот момент он вообще не был моим любимым актёром, и буквально накануне выезда из Москвы я билась со своей подругой, которая меня убеждала в том, что Клуни sexiest, coolest, самый классный, самый

всё. А я спорила, мол, какой же он секси, мужик с коротким носом, и фильмы у него последние никакие. И в этот судьбоносный момент моё воображение превращает Клуни из лягушонка в прекрасного, добрейшего и щедрейшего принца. С трудом расклеиваю глотком воды пересохший рот и всё же говорю ему: «Thank you so much, Mr. Clooney». Здорово было бы, конечно, если бы он сказал что-нибудь вроде «ой, неужели вы меня узнали?» — но в реальности он ответил: «Oh, come on, please, call me George. What's your name?»^[12] И я понимаю, что этой мне минуты предостаточно, я не хочу даже пытаться к нему приклеиться и превратить его любезность в повод для разговора и говорю: «Aliona, и ещё раз большое спасибо».

Мы больше не встретились в тот вечер. Но у этой короткой встречи есть послесловие.

Прошло лет восемь, я лечу в роли главреда журнала Interview из Москвы в Шанхай на пышный ужин по случаю запуска новых часов Omega Seamaster в присутствии посла этого бренда. Кого бы вы думали? Правильно: Джорджа Клуни.

— А Джордж открыт для интервью? — спрашиваю организатора.

— Увы, — отвечает, — без вариантов. Его рекламный контракт не предполагает интервью.

Что ж, значит, посмотрим город и погурманемся ужином. А для журнала сделаю что-нибудь другое.

В самое изысканное место Шанхая, в Le Jardin Secret, в эдакий Нескучный Сад на китайский многоцветный манер, стекались к позднему ужину высокие гости со всех уголков мира. Платья в пол, открытые плечи, фраки, звёздное небо, под две тысячи орхидей на сорока столах, именная рассадка. Наконец к центральному столу, заполненному президентами «Омеги» и важными китайскими светскими дамами, присоединяется оscarоносный Джордж Клуни. Свою роль «лицо марки» он выполняет с особым достоинством, непринуждённо шутит с китайским благотворителем на сцене, вспоминает отца с его любимыми часами, короче, подходит к делу неформально, а не просто отрабатывает рекламный контракт.



Алёна Долецкая и Джордж Клуни, 2014 г.

Дело к десерту, вечер к завершению, и понятно, что Клуни свой выход уже отработал и собирается дальше, в самолёт, на съёмки и по прочим делам. Думаю — нет, я ему должна что-то сказать, ищу повод к речи. Беспомощно смотрю в телефон и вижу вдруг WhatsApp из Киева! Моя давняя подруга пишет: «Ты в Шанхае, на приёме “Омеги”? Там должен быть Клуни. Подойди к нему, передай ему от нас всех спасибо за его позицию по Украине».

Я затормозила. Меня Украина, честно говоря, в тот момент не волновала, я даже и не знала, что он там сказал (наверное, что-то русофобское). Я человек аполитичный, я не за Украину, я не против Украины, что Крым вернулся — мне нравится, хотя метод вызывает

сомнения, — но тут меня прямо подталкивают! Знак, можно сказать, судьбы! Прости, родина. И пошла.

Иду с рассеянным взглядом, как бы не торопясь, к центральному столу в своём длинном платье молочного цвета с чёрным японским поясом-оби, прямо звезда — и всё тут. Подхожу поближе, агенты отгоняют поклонников с мобилками — no photos, no interviews. А я просто наклоняюсь к нему и говорю: «Mr Clooney, I would like to convey my friend's gratitude to you». Хочу, мол, вам передать благодарность друга. Он вскакивает, официальные фотографы вскидывают камеры, а я им: ничего не снимайте, я только пару слов.

— Спасибо вам за внятность и определённую по украинскому, так сказать, вопросу.

— Стоп-стоп-стоп! — говорит Джордж. — Вы политикой занимаетесь?

— Я?! Совсем нет, я всё больше про кино, искусство и моду. Журнал Interview знаете?

И тут Клуни как будто переключает у себя в голове какой-то тумблер и посреди всего часового торжества начинает: «Джордж-Алёна», великая Киевская Русь, гражданские свободы и человеческие факторы. Народ в шоке, Клуни завис с какой-то гламурной особой, но так, словно они обсуждают что-то жизненно важное, срочное и актуальное. Я, конечно, про свой незабываемый стакан воды ни слова. Чувствую спиной напряжение зала. Говорю что-то вроде: «Ну, спасибо Джордж, чудесно поговорили, пора домой» — и ретируюсь, а он:

— Куда это вы?! Давайте сделаем фото! Вам, наверное, надо?

— Мне?!? Я вообще не для этого подошла, мне не надо.

Он в искреннем изумлении.

— Как это не надо?

— Да я просто подошла, — говорю. — Потому что, во-первых, мне очень нравится то, что вы делаете сейчас в кино и в жизни, а во-вторых, вы просто замечательный.

— Нет-нет-нет, стоп! Они же все расстроятся и не поймут, что это мы столько времени разговаривали. Давайте мы им всё-таки попозируем.

Тут я мысленно сняла шляпу перед его профессионализмом: контракт контрактом, но нельзя на глазах у всех уйти в частный разговор, не завершив его публичным жестом. Мы трогательно обнялись и приняли пару голливудских поз перед камерами фотографов и дружеских айфонов.

Потом он быстро сделал вид, что у него зазвонил телефон, и, естественно, исчез. Всё легко и непринуждённо — мимолётность нашей

первой встречи перескочила и сюда, во вторую. И была в этой мимолётности всё та же удивительная красота и точность.

Бог любит троицу. Скоро третья.

2

Другая мимолётность заняла в реальности больше времени, но расскажу о ней быстрее — время всегда идёт своим макаром.

2008-й Париж. Аэропорт Шарль де Голль. Вылет в Москву задерживали почти на час, и я отправилась пересидеть в тишине бизнес-лаунжа и выпить чайку. Там было совсем пусто, и только в одном углу сидела симпатичная высокая девушка с какой-то необычно царственной посадкой головы. Она живо разговаривала с каким-то мужчиной вполне заурядной внешности. Я пошла налить себе кофе, парочка сидела рядом с чай-кофе-печенье, девушка повернулась — я узнала Кейт Бланшетт. Дальше в общем-то можно было продолжать пить кофе. Но я только что посмотрела фильм «Загадочная история Бенджамена Баттона», который мне просто сорвал крышу. Я подошла к ним:

— Простите, пожалуйста, что отрываю. Кейт, я из России и просто хочу поблагодарить вас за роль Дейзи из «Бенджамена Баттона».

— Как это из России? У вас акцента совсем нет...

— Русская я, русская, хотите паспорт? — Рассмеялись все вместе.

— Ой, как интересно, присаживайтесь к нам, а? — говорит Бланшетт и рассказывает, что они с Эндрю («ой, простите, познакомьтесь — мой муж», и я догадываюсь, что это известный драматург Эндрю Аптон) как раз говорят про «Дядю Ваню», которого хотят ставить сначала в Сиднейском театре, а там, может, и в Америку свозить. А почему бы сразу не найти просвет в её бешеном съёмочном и театральном графике и не запланировать гастроли в Москве, говорю? Приезжал же Рейф Файнз со своим «Ивановым», играл аж в Малом театре.

Дальше мы незаметно окунулись в разговор про Чехова, и чем он ей и Эндрю, собственно, так дорог? Почему вообще, на их взгляд, Антон Палыч — главный русский драматург? Она говорит: ну как, у него всегда такая острая драма, где всё тонко, ранимо, истерично — это ведь только у вас есть, только вы так умеете страдать, любить, переживать, ну, или только Чехов сумел это как-то правильно описать. Мы не заметили, как Эндрю уже три раза приносил кофе и чай и тут — «внимание, посадка на рейс Париж — Москва заканчивается». Мы спешно и чуть разочарованно обнялись в

чеховском духе и попрощались.

Я пулей влетела в свой самолёт. Оказывается, в жизни Кейт Бланшетт ещё лучше, чем в кино. Было в ней какое-то необычайно женственное, естественное тепло — и в том, как она меня знакомила с мужем, и в том, как она на него смотрела, как заботливо и осторожно говорила про Чехова, как искренне обрадовалась, услышав слово «русская». Меня поразила её человеческая спонтанность, отсутствие звёздной усталости и желания отгородиться от всего мира капюшоном и тёмными очками, никуда не исчезнувшая способность выдающейся актрисы удивляться миру вокруг себя.

Прошло пять лет, и у Вуди Аллена выходит фильм «Жасмин» с Бланшетт в главной роли. Фильм отличный, дело запахло «Оскаром», и, конечно, захотелось немедленно её снять на обложку Interview. В Париже случайно встречаю знакомого агента, которую — ура-ура! — с недавнего времени взяла себе Кейт. Дальше всё, как обычно: у Бланшетт вообще нет времени, съёмки без перерыва, но я уже согласна на готовую неопубликованную съёмку, лишь бы сделать с ней прямое свежее интервью. И тогда я говорю приятельнице-агенту: «Будешь с ней разговаривать, напомни, что лет шесть назад мы с ней застряли в аэропорту и говорили про Чехова, вдруг вспомнит». К ночи она мне перезвонила: «Не поверишь — Кейт тебя вспомнила. Она готова дать интервью, но только лично тебе».

Мы говорили с Кейт по скайпу, по какому-то бесчеловечному австралийскому времени. Я, конечно, поблагодарила её за ту встречу. Не с каждой звездой можно зависнуть в аэропорту и обсудить национальные особенности чеховской драматургии. «Да ты что! — говорит. — Как же забыть! Это был такой чудесный момент, и только ты улетила, нам задержали рейс ещё на час и мы с Эндрю обсуждали, как всё совпало — наши репетиции, встреча с русской и эта ваша драма-драма-драма».

Интервью вышло по делу и отличное, но та короткая встреча греет мне душу до сих пор — даже если больше мы никогда не встретимся.

3

А вот ещё две мимолётности.

Захожу как-то в антикварную лавку в Москве, на Смоленской набережной, и вижу портрет старухи. Начало XIX века, может, конец XVIII. Неизвестный художник. Россия. Смотрит прямо мне в глаза внимательным

взглядом, на голове кружевной бело-аквамариновый чепец, лентой под горло завязанный. Губки сложила так иронично, а уголки по-джокондовски чуть вверх, типа «ну-ну, кто кого пересмотрит». Выразительный портрет. Я влюбилась в эту старуху, в её взгляд.

— Абрам Моисеевич, сколько стоит?

Пожилой хозяин галереи говорит мне цену, этих денег у меня даже близко нет, ни с собой, ни дома — дело в конце 90-х. Я умоляю его отложить, и через три часа у меня в руках вся сумма — собрала по друзьям. Прибегаю в галерею прямо под конец рабочего дня.

Перед закрытием у кассы стоит очередь, человека три. Я встаю за ними,двигаюсь к прилавку, фактически уже достаиваю — продавщица достаёт мою старуху, я собираюсь отдать ей деньги. Она протягивает картину... но не мне, а дядьке передо мной. Я говорю: «Минуточку, это моя старуха». Дядька возражает: «Что значит ваша? Это моя старуха». А продавщица не в курсе, ей главное, кто в очереди первый стоял. Хозяин Абрам Моисеич маячит где-то вдали. Я ему кричу: «Это я, Алёна, помните, была днём, мы договорились». Хозяин, слава богу, вспоминает, говорит: «Конечно-конечно!» — и велит продавщице отдать мне мою старуху. Тогда мужчина передо мной разворачивается и резко так: «Что?!?! Что значит ваша? Она моя! Вы вообще кто такая? Я — Илья Глазунов, а вы кто?» Я говорю: «Алёна Долецкая», — очень испуганно, потому что я никогда не видела Илью Глазунова в глаза.

Классик разозлился, но решил, что его авторитет тут сработает: «Да вы вообще ничего не понимаете, кто вы такая, Алёна, как вас там. Это вещь музейного масштаба». Я говорю: «Я всё понимаю. Была здесь утром и попросила, чтобы её отложили для меня». Слава Абраму Моисеевичу — не поддался соблазну угодить знаменитости и продал старуху мне. А я по-прежнему люблю её до беспамятства.

Жалко только, что вместо антикварного салона на Смоленке уже давно парикмахерская.

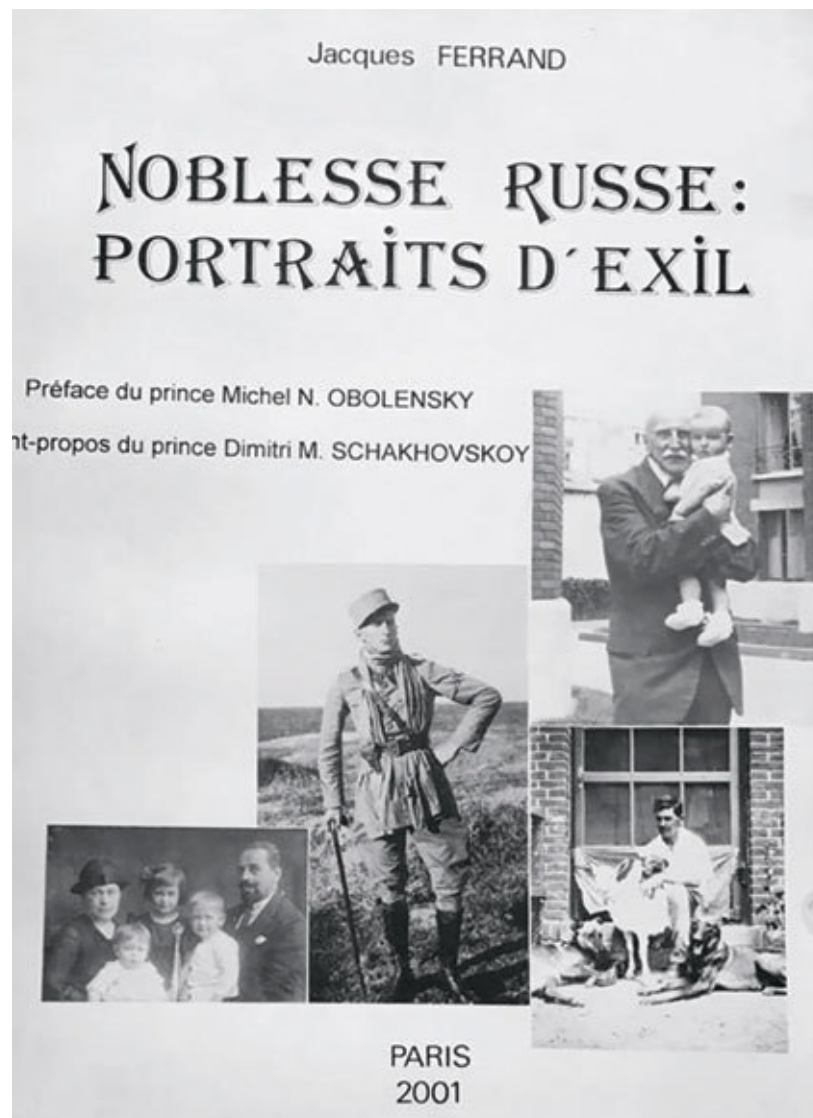


Картина неизвестного автора, середина XIX века

Почти зеркальная история приключилась в легендарном книжном магазине Galignani в Париже. Там покупают библиофилы со всего мира, потому что выбор — лучший. И у них я нашла нужный мне второй том английского трехтомника «Русская аристократия: портреты в ссылке». Первый у меня уже есть дома. Редчайшее издание, составители собирали эти фотографии в уцелевших архивах всех русских аристократических семей — Шереметевых, Юсуповых, Васильчиковых, кого там только нет. О, вижу стоит моя книжечка! И забираю её с полки. А в Galignani такой длинный прилавок у кассы, на него можно книжку положить, пойти поискать ещё что-то, и потом вернуться.

Я посмотрела ещё пару книг, возвращаюсь за своим вторым томом. И

вижу до боли знакомую историю. Дама-блондинка с красиво уложенной причёской держит в руках мою книжечку и достаёт кошелек из сумки, чтобы расплатиться. И тут я ей: «Простите, это моё». И в этот же момент буквально обмякаю, потому что дама-захватчица — Катрин Денёв. А она ведь — известный книголюб и коллекционер книг. И вот что делать? Не отбирать же её у великой Дневной Красавицы! К тому же она поворачивается и говорит по-английски с сильным акцентом: «Почему ваша, она же просто здесь лежала?» Вместо того чтобы сказать: «Мадам Денёв, заберите книгу и будьте с ней счастливы», — я, включая упёртого ослика, объясняю, что отложила её себе на прилавок минут пять назад. Тут Денёв спрашивает: «Простите, а почему она вам так важна?» Я говорю: «Знаете, я русская, живу в России, и у меня первый том уже есть, хочу все три собрать. А ещё во втором или третьем должны быть фотографии моих предков, которых я надеюсь найти. Хотя в этом томе их, может и нет». Она через крошечную паузу: «Ну, конечно, тогда эта книга принадлежит вам». Тут я подумала, что я несу? И дала заднюю: «Знаете, нет, мне теперь совсем неудобно. Я же знаю, вы случайных книг не покупаете. Значит, она для вас тоже важная». И Денёв так царственно: «Ну вы же в Россию уедете, а я узнаю, когда придёт ещё один экземпляр, и просто его закажу». Такое благородство мне было крыть нечем, и я с лёгким поклоном сказала ей: «Этот том будет стоять у меня дома и всю жизнь напоминать мне о вас и о вашей щедрости».



Книга «Русская аристократия: портреты в ссылке», 2001 г.

Такие разные мимолётности бывают. Вроде бы совсем ничего, чепуха. Но они так часто вспоминаются — эти мгновения. Такими разными гранями поворачиваются, что кажется — внутри них целая жизнь.

Эх, начальник!

Власть в самом полном смысле слова вовсе не всегда принадлежит человеку, который занимает высший пост. И это происходит не только в России — так везде.

И всё же в офисной работе у тебя всегда есть начальник, с которым нужно выстраивать отношения — хотя бы для того, чтобы обеспечить безопасность собственного места. Вот Алексей Зимин когда-то делал замечательную российскую версию GQ в качестве главного редактора. Журнал был особенный, не похожий ни на какой другой. На тот момент такого уровня публицистики не было. Но Зимин не имел ни малейшего представления о взаимоотношениях с начальством. Поэтому на встречах с руководством компании — главная тогда была из австралийского Condé Nast — он каждые две минуты смотрел на часы и падал головой на руку, изображая смертельную скуку. На все вопросы и предложения: «Алексей, а может быть, сделаем то-то и то-то?» — он тихо гудел басом что-то невнятное, и на этом заканчивалось его участие в командной работе.

Конечно, это раздражало руководство. Но communication. В конечном итоге несговорчивость приводит к тому, что начальству непонятно, кто же это такой под ним работает. Никто не любит неуправляемых подчинённых.

Придя в Vogue, я думала, что знаю этот закон. Верила, что Vogue — библия моды, журнал — мечта, до которой с хрустом плечевых суставов хоть как-нибудь пытаются дотянуться обычные женщины. Если не получается дотянуться, то хотя бы просто, на ночь глядя, восхищаться и думать, что когда-нибудь у неё будет такая же красивая жизнь, и даже если она будет не у неё, а у её дочери, то жизнь приобретёт некую новую форму.

Для меня Vogue не был просто журналом, он был новой эстетикой существования. Мы работали по восемнадцать часов в сутки: допрыгивали до невозможного. В Америке, где сидят все крупные агентства лучших фотографов и моделей, на наши телефонные звонки отвечали: «Where are you from? Moscow? Moscow, Massachusetts? Vogue? Russia? You sure?» И да, это дурно говорит об образовательном уровне Соединённых Штатов Америки, но мне биться в эти ворота было иногда весело, а порой ужасно обидно. Но мы бились и делали невероятное.

В 2001 году стукнуло 40 лет полёту Гагарина. Для номера, посвящённого космосу, мы придумали сильную съёмку — нашли пустыню в Америке, которая была копией лунной поверхности с её воронками.

Съёмка была приличная, но не выдающаяся: модель — средненькая, и кадра, достойного обложки, в полученных фотографиях не оказалось. И я говорю моему тогдашнему арт-директору, англичанину Брендану Паркеру: «Брендан, это тоска. Надо что-то делать». А у нас с ним был общий любимчик — знаменитый арт-директор Harper's Bazaar Александр Бродович, пожизненный конкурент креативного директора Condé Nast, легендарного Алекса Либермана. Вспомнили, что десятки лет тому назад у Бродовича была похожая проблема: чуть ли не Аведон сделал не самую удачную съёмку. И тогда Бродович создал из той фотографии коллаж, как будто модель позирует в шляпе. Аведон кричал: «Как ты смеешь покушаться на мой кадр?!» В итоге два титана сговорились-помирились, и этот номер позже оказался бестселлером, попал во все архивы лучшего, что сделано в глянце.

И тогда мы решили сделать нашей девушке с обложки платиновый космический шлем из фольги: вы видите девушку-космонавта.

Обложка была провокационная, ни на что не похожая. Выходит номер, приезжает владелец издательского дома Джонатан Ньюхаус в Москву, закрывает дверь в моём кабинете, садится и говорит:

— Значит, так, Алёна, ещё одна такая обложка — и я тебя уволю.

— А что, Джонатан, не понравилась?

— Никуда не годно. Ты вообще цифры продаж видела?

У-у-у-п-с! А мне цифр-то никто не показывал! Типа главный редактор не обязан видеть всех цифр продаж. Очень низкие — его расстроят, от высоких — охватит гордыня. Ньюхаус спрашивает: «Как не показывали?!» Подать сюда Ляпкина-Тяпкина!

Оставляет мне все бумажки и уезжает. И я, с трясущимся заячьим хвостиком и мокрым затылком, думаю: «Вот так лажа!» Сажусь и вижу: действительно в этом месяце цифры меньше, чем в предыдущем. Намного. Иду к тогдашнему генеральному директору, чуть ли не рыдаю, говорю: «Миша, какое позорище-то, а?» Он говорит: «Где позорище? В апрельском? Там не позорище, там подъём!!!! Этот номер же напечатали намного меньшим тиражом. В апреле продажи всегда пониже, вот мы и опустили тираж. Относительно всего предыдущего — это как раз очень высокие цифры».

Я лечу к компьютеру: «Уважаемый Джонатан, изучила цифры. Оказывается, номер с платиновым шлемом — бестселлер в рамках апрельского тиража». И сижу жду, как Алёнушка братца Иванушку, что вот он сейчас через минуту пришлёт мне извинение и охапку цветов. Не присылает. Прошло полгода. При встрече я вернулась к этой теме.

Джонатан рассеянно так ответил: «А, да-да-да-да, да-да-да, да, вы правы». Вот и всё, наше вам с кисточкой от начальства. А ведь грозился уволить.

Совсем другой случай из предыдущей жизни: в 1996 году шотландец Энтони Эндрюс пригласил меня в Британский совет возглавить отдел искусства и пиара. Готовились к 850-летию Москвы, и Эндрю сказал: «Хочу, чтобы Великобритания и Россия отпраздновали эту важную дату так, чтобы наконец показать, что связи наших стран крепки, как никогда».

Уж мы показали! Наша крепкая команда, практически «сердца четырёх», сделала за год восемь или девять проектов федерального масштаба. Одержимые и влюблённые в своё дело, мы взорвали культурную Москву со всех сторон. Обклеили весь Московский метрополитен — режимное предприятие, напомню! — четверостишиями русской и английской поэзии, а ночью русские и британские актёры читали стихи на станции «Рижская». Привезли премьеру английского спектакля «Иванова» с Рефом Файнзом в главной роли. А тут подоспел фильм «Английский пациент», и пришлось правдами и неправдами умолять прокатчиков немного задержать премьеру, чтобы она совпала со спектаклем и Файнз появился бы в Москве в ореоле двойной славы. Праздник — так праздник по полной.

В тот же год завезли в Кремль выставку «Сокровища Тауэра» и открыли ещё одну, из Королевской академии искусств — «Ожившие мосты» в Третьяковской галерее. В общем, Москва дымилась, и список наших подвигов здесь неполный. И вот во время очередного перекура на лестничной площадке в Библиотеке иностранной литературы, где у нас был офис, меня вызывает шеф Энтони:

— Alioshka, я очень волнуюсь.

— Что случилось? У нас всё под контролем — деньги ищем, выставки делаем.

— Я заметил, что ты со своей командой слишком часто стала ходить в курилку. Это значит, что вы в стрессе. Чем я могу помочь?

Ну, натурально — мы в стрессе! И я ему, как на духу: едва хватает рук на перевозки выставок, бесценных объектов культуры, материальных и живых. А визы? А разрешения? А запреты? Россия 90-х — не в лучшей форме.

Но начальник мой, под которым таких Alioshka было в шесть раз больше — британская наука и техника, образование, университетские обмены и прочие, — меня удивил. Вот ведь совсем другой начальник! Понял, что чем больше он о заботится о своих, тем вернее будет успех предприятия.

Вот такие разные начальнические истории. В одной — редактора GQ таки уволили. В другой — играла по всем правилам, старалась изо всех сил, но из-за ошибки руководства могли легко убрать. В третьей истории — снимаю шляпу перед шотландским шефом, который, вместо втыка и недовольств, проявил человеческую заботу.

Впрочем, самая интересная категория начальников — те, кто вырос из твоих бывших подчинённых. Вот тут начинается цирк с конями.

Женщина на вышке

Мой прилёт в Баку в 2004 году был обставлен почти как государственный визит. Почему бы и нет: в конце концов, Vogue — это тоже своего рода суверенная держава. Снимать предстояло Первую леди. Она ещё не была вице-президентом — её мужа Ильхама избрали недавно. Мехрибан мало тогда знали в России, но я загорелась идеей снять её для Vogue.

Алиева — не тусовщица, светские мероприятия её волнуют мало. Чем больше я о ней узнавала, тем становилось понятнее, что она вполне себе супруга лидера страны в европейском понимании — не носила никакой этники, не пряталась за спину мужа. А блестящий Дом-музей Гейдара Алиева, который она открывала, совсем не напоминает мемориал — скорее культурный центр, такой предшественник музея Ельцина в Екатеринбурге.

Подобраться к Мехрибан было непросто. Мы вооружились фотопортфолио американского Vogue с жёнами президентов, французского Vogue — с крупными писателями, и презентовали свой замысел.

И вот после долгих переговоров и полученного «добро» мы летим в самолёте с голландским фотографом Матиасом Вринсом, с визажистом Наташей Власовой и прочими ассистентами.

Снова смотрим портфолио. На кого похожа Мехрибан? Говорю: «Ребята, я хочу Джеки Кеннеди». Они говорят: «Подожди, давай лица сравним». Я: «Ну и что? У неё такое лицо восточной королевы, она из научной, интеллектуальной семьи, отец — ректор академии авиации, мать — известный востоковед. И у неё есть статья».



О ЧЕМ МЕНТАЛ ИТ ПЕРВАЯ
АЛАН ГОСУДАРСТВА

Без протокола

Первая леди
Азербайджана Мехрибан
Алиева знает, как быть
первой и оставаться леди.
Фото: Matthias Vriens

Первое открытие, сделанное мной в статусе первой леди, меня ошеломило. Оказывается, меня пытаются классифицировать. Мне сразу стало неудобно. На минуту я представила себе некий мифический зал, полный жен государственных деятелей. А перед ними возвышается традиционный университетский профессор и читает лекцию на тему – каких видов и подвигов бывают первые леди. Бывают тихие, но властные, бывают яркие, но ничемные, бывают еще такие, сякие... Мне даже показалось, что я слышу реакцию аудитории: от гомерического хохота до гневного возмущения. Это уже меня развеселило. Стало легче. Но я задумалась, и в конце концов получился опус, который вы видите.

Мне кажется, если провести опрос среди первых леди всего мира, то практически не найдется такой, которая мечтала бы с юности стать первой леди. Наоборот – высокий уровень честолюбия не дает человеку возможности реализовать себя в качестве жены, матери семейства и соратницы политического лидера. Честолюбивые женщины

В отеле каждого из нас ждали сувениры — азербайджанский коврик с кистями цвета зрелого вина и баночка чёрной икры с золотой крышечкой. Поскольку и то и другое было небольшое и скорее напоминало национальный сувенир в стиле «добро пожаловать, хлеб-соль», то, что уж тут говорить, было приятно.

Мехрибан назначила нам встречу в Центре Гейдара Алиева и лично провела нас по музею как гид.

Что такое восточная красота? Благородный профиль, осанка, гордая поступь, тёмные раскосые глаза. Улыбка не американская во весь рот, но лёгкая, еле заметная. Это по форме, по содержанию — иностранные языки, знание литературы, медицинское образование. Идеально сложена, красива.

Но как только дело дошло до съёмки, она сказала то же, что и все знаменитости, которые любят вещи. «Давайте всё-таки вы меня в моём снимаете». Я говорю: «Мехрибан, вы же понимаете, это журнал Vogue, который всегда смотрит вперёд. Поэтому мы привезли вещи следующего сезона». «У меня есть все последние коллекции», — ответила она.

Мы прошли в огромную светлую гардеробную с большими окнами, выходящими в сад. Она открыла шкафы, мы охнули — идеальный порядок, и, да, все вещи были top, из последних коллекций. Кое-что вызывало скепсис, но это нормально. Достойный гардероб. И я ей говорю:

— У вас и правда всё отлично. Но у нас вещи из только что показанных коллекций, в продаже ещё их нет, это пресс-образцы. Когда выйдет журнал, вы будете в том, что в магазине появится через полгода, и это придаст вам ещё большей стилистической остроты, если хотите.

— Хорошо, давайте смотреть, что вы там привезли.

Достаём наше фотопортфолио и показываем, как мы хотели бы её снять. Она: «Вот вы куда клоните! Джеки Кеннеди даже?» Среди прочих фотографий была одна, которую я люблю до сих пор: длинный план, Джеки идёт по аллее в майском, зелёном, ухоженном саду в удлинённой юбке, как будто бы только что с приёма. Я и говорю: «Вот вы идёте, Мехрибан, с какого-то важного государственного мероприятия, и всё это вас чуть утомило, но вы никогда этого не покажете, как не покажете и в жизни». То есть играть особенно не нужно, но чтобы не было другого прочтения — что вот, мол, какая-то дура в вечернем платье идёт по аллее. Я люблю давать контекст. И Мехрибан, чуть подумав, согласилась. Мы сделали ей сдержанную лаконичную «ракушку» в стиле 60-х.

Съёмка шла отлично, она себя вела породисто, не помню ни одной претензии, только про какие-то вещи спрашивала: «Вы уверены?»

После окончания съёмки она говорит: «Давайте я вам покажу дикий

морской берег, по которому люблю бегать». Я спрашиваю:

— Вы ещё и бегаєте?

— Ну да, утром надо же как-то размяться.

И я понимаю, что эта подтянутая лёгкая фигура не с неба свалилась, что она всё-таки занимается спортом. И вдруг мы видим на фоне чистого белого песка морского берега высокую такую, чуть ржавую, заброшенную судейскую вышку. А там никакого спортивного поля нет, судить некого.

— Красиво как!

— Какие вам чудные вещи нравятся, — она рассмеялась.

— Мехрибан, а раз вы такая спортсменка, слабо́ вам туда залезть?

— Да я туда, кстати, залезаю часто.

Был ветерок. Она уже переделалась после съёмки в своё летнее платье, тонкое, открытое, шелковистое, до колена, и как лань взлетает на эту вышку, садится.

— Можно мы вас снимем? Такой красивый кадр!

— Давайте!

— Вот просто так посидите.

И мы её щёлкнули на фоне заката. Красиво получилось. Ничего не скажешь.

— Только, пожалуйста, — предупредила она, — не публикуйте ничего без моего разрешения».

Какое «без неё»? Три пресс-секретаря, восемнадцать советников, всё очень серьёзно.

Мы прислали ей фотографии на одобрение, и нам молниеносно всё одобрили — мы нигде с ней не разошлись, чего вообще-то обычно не бывает. Проблема вышла с одним тем самым заветным кадром на судейской ржавой вышке. Как ни упрашивали, восемнадцать советников ответили «нет». Ну да, железный закон — коронованные особы не считают возможным показываться на публике вне протокольных рамок. Ничего личного.

Но через полгода европейская женщина в ней победила. На какое-то мгновение. Мы цитировали её по другому случаю — у нас была рубрика «По-моему», в которой герой говорил то, что могло быть абсолютно поперёк глянцевого журналу. И тогда я взмолилась второй раз: «Хочу эту фотографию. На вышке». Не знаю, что сработало, — может быть, моё жуткое занудство и способность умолять долго (как говорила моя мама: «Вот что тебе сейчас приспичило?!»). Фотографию опубликовали.

И я поняла, чем мне нравится Восток — особым чувством соразмерности и уместности. У каждой вещи и поступка должно быть своё

время и свой порядок, который возникает из собственного представления, как всё должно быть устроено. Мы, русские, можем скинуть каблуки в окно и: «А теперь — ванна шампанского!» Не мудро, может, зато мило. Восток же всё взвесит точно, на ювелирных весах.

Соколы наши ясные

Вот не знаю, как вам, а мне нравятся мужчины — герои сказок, которые умеют кем-то обернуться. То Финист — Ясный сокол бьётся в окно — и в девичьей горнице оборачивается молодцем невиданной красоты. То очередной Иван, весь дурной и в саже, залезет в правое ухо Сивке-Бурке, а из левого уже вылезет добрым молодцем. А ещё более изобретательный Иван из «Хрустальной Горы» предстанет и пастухом, и птицей, и древним старцем, — чтоб всех перехитрить, чудище извести и дёвицу спасти.

Я к чему это всё? К тому, что среди мужчин реальных и вполне земных — и о которых вы наверняка слышали — попадались мне такие, что могли превращаться. Пусть и не всегда в ясного сокола.

О них и поведу речь.

1

Никита Сергеевич Михалков, большой актёр и режиссёр, много понимает про стиль. И не только в кино, но и в жизни. И воспитание хорошее семейное, и социальную закалку не отнимешь. Ну кличут их с женой «бантик и шарфик» и что? Бывают же у людей пристрастия. Зато весело.

В конце 90-х мне приспичило забабахать «премию журнала VOGUE для Московского международного кинофестиваля за лучшее стилевое решение фильма». Москве и России тогда явно не хватало статусного, достойного мероприятия только для профессионалов кино, с настоящим вечерним дресс-кодом, ужином на белых скатертях и без богемного потного срача и пустозвонной светской тусовки. Вот чтобы солидно и достойно, как в первых приёмах журнала Vanity Fair в Голливуде. Никита Сергеевич, президент ММКФ, дал согласие — и понеслось. Заказали статуэтку бронзовой птицы Иулиану Рукавишникову, собрали авторитетное жюри и оглашали имя призёра только на этом самом ужине.

Н.С. всегда был пунктуален, элегантен (ну хорошо, иногда зачем-то в любимой морской фуражке), остроумно и уважительно представлял приз, я объявляла решение, птица уходила в руки счастливому режиссёру-оператору-художнику по костюмам, дальше рассаживались за столы, выпивали, болтали. Никита также всегда следил за тем, чтобы иностранные

гости фестиваля были обласканы, хорошо рассажены, и вовсе не обязательно за его столом. Вот и любовалась я нашей киноэлитой рядом с Мерил Стрип, Квентином Тарантино, Фанни Ардан, Дэрил Ханна...

И тут, кажется, в июле 2006 года, на седьмой год премии, в ресторан «Ваниль» приходит Н.С., — в тренировочном костюме, на коленках обвисшие груши трикотажа, в спортивных тапочках. Проходит, смотрит убранство, присаживаемся с ним выпить воды, и я думаю, что он проездом к нам заскочил посмотреть, как всё готовится, потом переоденется и вернётся к нам на ужин. Ан нет, смотрю — никуда не собирается.

— Никита, дорогой, у нас же вечерний дресс-код. Все такие нарядные едут, вы же знаете! Да и вы всегда соблюдали.

Он резко меня оборвал, и без тени юмора или этой его иронии и заливистого смеха, жёстко и громко мне так:

— Тебе я нужен или мой костюм?! А-а-а?!?! И мой дед, Пётр Петрович Кончаловский так же ответил, когда его упрекнули, что он не во фраке. Так я или костюм?!?

От греха я испарилась из-за стола. Церемонию провели, ужин прошёл, как всегда, достойно. Наутро в «Известиях» вышла заметка Божены Рынска: «...господин Михалков и госпожа Долецкая стояли на приступочке рука об руку. И выглядела эта пара как аристократка и шофёр. Исхудавшая до прозрачности гранд-дама в укороченных белых брючках, в маленьком же беленьком жакете и в блузке с рюшами. А рядом — как будто вышедший из фильма «Жмурки» «папа»...» Весь тот день я молилась, чтобы пресс-служба президента фестиваля не принесла Н.С. эту заметку. «Он меня убьёт. Подумает, что это я намутила. Закроет премию. Не будет никогда со мной разговаривать».

Всё обошлось. Мы потом проведём вместе не одну церемонию и сто раз увидимся по другим поводам, и он никогда не упомянет этого эпизода. Зато я буду знать, кем может обернуться, скинув перья, добрый молодец из одной из самых знаменитых семей России.

2

Не одно поколение выросло на его «хотели как лучше, получилось как всегда», «надо же думать, что понимать», «если делать, так по большому». Старшие знают его как премьер-министра РФ, и.о. президента страны, посла Украины и советника президента Виктора Степановича Черномырдина. Политики знают о нем всё или почти всё. В 1997 году,

несмотря на должность пиар-директора компании Ericsson, я обладала позорно туманными представлениями о том, кто он такой, этот Ч.В.С. Мужчина-шкаф в костюме, с лохматыми бровями, который со своеобразным южнорусским акцентом говорит из телевизора что-то про озимые и яровые — и иногда у него получается даже смешно. Стыдно за себя сейчас.

Короче, оказываюсь я в Стокгольме на встрече с президентом компании Ericsson, Ларсом Рамквистом, чтобы обсудить 100-летие работы знаменитой телекоммуникационной компании в России. А я полгода как заступила на работу. У меня в кармане — проект книги с уникальным фотоархивом и с подборкой тех стихов русских поэтов, где упоминаются телефонные разговоры, — на двух языках, коллекционное издание. И разумеется, предложение устроить приём в Кремле. Предложения приняли «на ура» и попросили меня остаться ещё на денёк. Завтра важный визит. Кого ждём? Вашего премьер-министра, говорят. А я при чём? Правительственными контактами ведь не занимаюсь. Хорошо, чтобы у принимающей стороны был хотя бы один русский. Короче, едет Ч.В.С.

С утра все при параде прибыли в главный офис знаменитой телефонной компании — современное здание, стеклобетон, скандинавский элегантный минимализм. Нас, человек двенадцать, выстроили в почётный караул. Сначала подъехала первая машина, из которой вышли шесть Добрыней Никитичей, косая сажень в плечах, у каждого из уха спиралька уходит под облегающий пиджак. Расположились по два с каждой стороны нашей линейки и два молодца сзади. От важности момента у меня выпрямилась спина, отчего жакет цвета слоновой кости сел на плечи ещё более ладно. Подъезжает следующий лимузин. Из машины выходит Ч.В.С.

Высокий представительный мужчина с отличной осанкой поднимается по лестнице и подходит к президенту компании пожать руку и поприветствовать. Ну, думаю, сейчас мы все сядем в глубокий книксен, и они пойдут работать. Не тут-то было. Ч.В.С. идёт к следующему по линейке, здоровается, знакомится. И они все: «Mr. Chernomyrdin, nice to meet you». И по спине — холодный пот. Я же единственная, кто его может назвать по имени-отчеству! «А он Сергеевич или Степанович?» Поворачиваюсь к Добрыне, он шёпотом, едва сдерживая смех, «Степанович». Подходит сам, и я так гордо ему по-русски: «Добрый день, Виктор Степанович!» Он аж замер, руку жмет — не выпускает:

— А Вы что тут делаете? Вы что, русская?

— Да, Виктор Степанович, русская, — говорю, наслаждаясь обрётённым знанием звонкого отчества.

— А что не на родине трудитесь?!

— Я как раз на родине и тружусь. Тут с визитом. Деловым. Почти, как Вы! «Боже, что я несу? Нашла где шутить. И снова холодный пот».

А он как начал смеяться, звонко так, заливисто. С такой широкой, красивой мужской улыбкой. Весь шведский менеджмент как по команде «равняйся-смирно» развернул головы в нашу сторону. Потом они долго меня будут допекать, о чём, мол, мы говорили и почему он смеялся.

После закрытых переговоров с президентом Ч.В.С. спустился к нам поднять бокал шампанского по случаю благоприятного исхода, ритуально попрощаться и дальше ехать вершить большие дела. Мы снова — по линейке. А он подходит ко мне и говорит: «Пойдёмте присядем, спросить хочу вас кое-что». Разговор наш был всё о том же: что делаю в компании, почему решила работать на иностранцев, чем нравится. Ничего серьёзного. Главное, что я поймала себя на том, что передо мной сидел вовсе не тот мужчина-шкаф из телевизора, который «про озимые и яровые», а весёлый, даже задорный, с тонким чувством юмора. Так бы и говорила с ним долго-долго. Он скоро протянул руку, встал и, попрощавшись со всеми, уехал. Мужская осанка, безупречно сидящий костюм и никаких чиновных рыбьих глаз. Вот так обернулся. Чудеса.

Мы встретимся спустя несколько лет вновь, по другому случаю, оба в другом положении, в Белом доме. Я увижу его с той же монументальностью в повадках и в идеально сидящем костюме, но уже в окружении коллег и подчинённых, услышу как виртуозно он владеет матерным языком (обращённым не ко мне, разумеется, — но филологическая зависть захлестнула). Он узнает меня, отправит свою свиту, мы поговорим вдвоём о книгах, и в этот раз он сильно меня удивит своей начитанностью и образованностью. Опять преобразился. И опять непредсказуемо.

3

Славный Виктор Олегович Пелевин, писатель-загадка, человек-невидимка, мужчина-непустота, появился в моей жизни так же волшебным, как и исчез. Наверное, скоро опять появится. Но быстро сказка сказывается, не быстро дело делается, так что по порядку.

Году в 99-м захожу к своему другу Володе Григорьеву, основателю книжного издательства «Вагриус», и говорю:

— Вов, умираю — хочу познакомиться с Пелевиным и сделать с ним

съёмку и интервью для Vogue. Но он интервью не даёт, на премии не ходит, очки не снимает. Ты его издатель, помоги.

— У тебя полчаса есть? Не поверишь, он скоро приедет.

Вот же повезло так повезло. Я увижу мужчину, чей роман «Generation “П”» совсем недавно заставил меня хохотать во весь голос. Соседи по бизнес-классу в самолёте Москва — Париж раздражённо на меня поглядывали весь рейс. А Чапаев, а Пустота... Пока я предавалась переживаниям, время пролетело со свистом.

Вошёл молодой мужчина без особых примет, коротко стриженный, с чуть капризными губами. Говорит с Володей тихо, почти бурчит под нос. Безо всяких тёмных очков, кстати. Знакомимся. Я, уже придя в себя, излагаю свою мечту сделать с ним съёмку для Vogue и интервью. Володя подливает жару, говорит комплименты журналу и мне, типа не просто тебе стоит, а надо. К моему изумлению, В.О. мягко соглашается. Я достаю свою самую рискованную просьбу:

— Я знаю, что вы даже для великого Аведона в журнале New Yorker не сняли очки, но я очень хочу, чтобы у нас на съёмке вы открыли глаза. Всего один портрет — и всё. И обещаю, мы встретимся в лучшем японском ресторане, я в курсе, как вы любите хорошую японскую кухню.

Боже, что я несу? Кто мне даст такой бюджет?

— Ну... — тянет, — ладно.

И чего это все паниковали, что он трудный и недоступный?

Ресторан «Изуми» в конце 90-х был-таки самым надёжным (сырая рыба — это риск всё же) и самым дорогим. Бюджет выбила. Фотограф Якова Титова зарядила сидеть и ждать в нарядном лобби ресторана. В.О. опоздал совсем немного, часа на полтора. Извинился в своём стиле: «Меня можно, конечно, прижать к стенке, но дело в том, что стенка сразу исчезнет». Я растаяла — вот он, писатель, буддист, наглец. И пошло-поехало. Саке, суши-сашими-терияки, великолепный стол и Пелевин — отменный собеседник, плетущий кружево из слов и смыслов. Невзирая на мелькающие графинчики, которые нам регулярно обновляли заботливые псевдояпонки, он не терял цепкости взгляда. Когда моему редактору всё же пришлось достать диктофон, он разразился известной тирадой:

— Что вы мне кайф ломаете, а? Вот он, позор и ужас-то жизни! Я только что готов был поверить, что красивые умные девушки могут со мной просто так посидеть, побазарить... А так не бывает, потому что это работа такая, да? Именно поэтому этот мир и вырубился. Он всё время выставляет красоту, ты идёшь ей навстречу, а там — или микрофон, или бабки.

Доужинали-договорили-повеселели, я расплатилась (как отдать чек и посмотреть в глаза ответственному редактору, нет сил думать, я вся в зефирах и туманах). Напоминаю В.О., что надо ведь снять портрет, а, кстати, — вот «в кустах» и фотограф, и интерьер красивый.

— Да я вообще не снимаюсь! Какой ещё портрет?! Это ещё кто?! — раскидистым взмахом руки чуть не сметает с ног интеллигентного и сублильного Яшу Титова.

Драчливый буддист? Этого мы не проходили. Неужели мой наполеоновский план «Пелевин без очков» рушится в тартарары? Извиваюсь, уговариваю, молю, обхаживаю.

— Ладно, вот с тобой сфотографируюсь! — прижимает меня к себе.

Говорит Яше:

— Давай быстро снимай! И поехали.

Мне хотелось поплотнее прижаться к роковому мужчине, но мозг сквозь завесу обильно выпитого саке шептал: «Отодвинься от него!! На макете придётся отрезать!» Так и было. Меня, разумеется, отрезали. Зато Пелевин таки снял очки и показал глаза!

Вышли на улице прощаться. Пелевин спрашивает:

— По каким домам? А кто где живёт?

— Я тут рядом на Цветном, — зачем-то брякаю.

Гуляли долго, пьяно и очень весело. Подробности опущу. Одна только деталь. Под утро я осмелела и решила выложить В.О. сокровенное.

— А что у вас так мало любви в романах? Нет чтобы навывлет, до соплей и слёз — нам, девочкам!

Наложившийся на саке более серьёзный напиток не позволил классику на меня крыситься и закатывать едкой иронией в асфальт.

Через пять лет выйдет «Священная книга оборотня» — история любви лисы-оборотня по имени А Хули. Оборотень родил оборотня. До сих пор ласкаю себя мыслью, что косвенно причастна к этой истории.

Мне космически повезло подглядеть за метаморфозами больших героев. Не жизнь, а сказка.

Заберите это, пожалуйста

Когда меня с ней знакомили, на ухо успели шепнуть: «Это новый Восток». Хороша собой, стройна, молода, с густой гривой светло-каштановых, тщательно уложенных волос ниже плеч. Современна и модно одета, ну, может быть, многовато бриллиантов. Чуть напоказ. Поёт и записывает свои альбомы, занимается дизайном модной одежды, трудится на госслужбе то в должности советника министра, то представителя ООН, и — открывает магазин Chopard в Узбекистане. Но эти раскосые глаза как будто смотрят на тебя с одним выражением, воспринимают сказанное тобой по-другому, а решение принимают третье. Вот такая — как у пахлавов — многослойность настоящей восточной принцессы. Говорю без осуждения. Просто нужно держать в голове, что в общении с восточными людьми всегда есть двойное дно. Восток старый или новый — не важно.

Договариваюсь со старшей дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой о съёмке и интервью — и оговариваю пункт об эксклюзиве, поскольку на рынке глянцевого журналов есть определённые правила.

Мы привозим отличного фотографа в Узбекистан, делаем съёмку, и тут я через коллег узнаю, что вполне дружественный мне, хотя и конкурирующий журнал Harper's Bazaar тоже делает материал с Каримовой и якобы уже договорился отснять её прямо вслед за нами. Неприятно. Связываюсь со своей приятельницей Шахри Амирхановой, которая тогда была главным редактором Harper's Bazaar, узнаю, что материал с Каримовой у них идёт в тот же номер, что и наш. А значит, ни о какой эксклюзивности речи нет.

Я очень не люблю, когда все журналы выходят в один месяц с одними и теми же героями. Приезжает в Россию, например, Миучча Прада — и все пять глянцево, как солдатики в муштре, про неё пишут, как будто до этого никакой Прады не существовало. Вышли бы хоть на месяц раньше или на два. И тут ровно то же самое: появился новый герой — и все одновременно на него кидаются.

Я решаю перенести материал в другой номер. Для журнала Vogue это важно. Ну кто-то другой сделает с ней первый — ну и что? В конце концов, она не исключительный персонаж. Условно говоря, не Кейт Мосс, которая впервые за сорок лет жизни собралась дать звуковое интервью.

Сообщаю своей редакции и руководству, что этот материал у нас

сдвинется, сделаем другой восьмиполосник. Написала всем письма, в том числе и Каримовой: к сожалению, материал в этот номер мы снимаем в связи с тем, что Вы не выполнили нашу договорённость о сроках публикации и эксклюзиве. В этот момент раздаётся звонок.

Звонят из пресс-службы президента. Сергей Ястржембский говорит: «Привет, Долецкая, ты там про Каримову делаешь? Сделай ты про неё материал». Я в шоке, вообще вначале не поняла, зачем мне звонит пресс-служба президента Российской Федерации. Говорю: «Серёжа, я не могу подставлять бренд, на который работаю. У него есть свой имидж, имидж называется the best. Не обсуждается».

После этого звонка моё руководство в издательском доме тоже почему-то начинает намекать на то, чтобы хорошо бы оставить этот материал в номере — наплевать, мол, на этот эксклюзив. Я в бешенстве и готова спорить с начальством.

В один прекрасный день я сижу в офисе, работаю и вдруг вижу сквозь стеклянную дверь кабинета двух мужчин, несущих какие-то огромные трубы. Мой ассистент, к ногам которой несут эти трубы, изумлённо на меня смотрит. Думаю: «Канализацию прорвало, что ли?» Ассистентка рисует рукой вопросительный знак в воздухе. Машу ей рукой: ладно, оставь. Она мне показывает знаком через стекло, что эти трубы — мне.



Наверняка какая-то ошибка, просто кто-то забыл сказать про замену чего-нибудь в офисе. Дядьки ушли. Выхожу из кабинета и вижу, что обёрнутые в бумагу трубы всё лежат на полу. Говорю: «Давайте посмотрим, что это». Разрываем — и видим два исполинских узбекских ковра. Кричу на весь офис: «На охрану звоните быстро, верните скорей мужиков!» Сама, не дождавись, звоню с нашего одиннадцатого этажа охранникам: «Сейчас будут выходить двое мужчин, не выпускайте, пожалуйста, и верните их назад на одиннадцатый». Их возвращают, я говорю: «Взяли, как у Никулина в цирке, брёвнышко — и понесли!» Они: «Это невозможно. Нас убьют». «Просто верните, пожалуйста, по адресу, очень вас прошу. Не волнуйтесь, я вас прикрою. Я сейчас сяду, хотите, при вас, и напишу письмо. Уносите и

не тратьте время, у нас тут ваши ковры полредакции заняли».

Я правда тут же написала пресс-секретарю Каримовой: «Не стоит благодарности, я выполняла свою работу, это раз. И два — к сожалению, не могу принять ваш подарок ещё и по личным соображениям». Она же нас обманула. И с третьей стороны, я была страшно зла, потому что моё начальство в тот момент сказала уже директивно: «Ставь материал. Тем более там наверху кто-то волнуется».

Прогнуться по приказу — увы, часть профессии. Но ещё и подарок за это взять — блядство.

Шестнадцатый день

Лето. Москва. Центр. В огромном лофте на одиннадцатом этаже идёт редколлегия журнала Vogue. Мой кабинет — за стеклянными дверями, а большой редакционный стол по центру. Я за этим длинным столом во главе, как грузинский тамада, вся редакция по бокам. Раскидываем план номера, разговариваем, обсуждаем героев. Всё как обычно. И вдруг один редактор за столом, сидевший напротив входа в мой кабинет, закричал: «Смотрите, у Долецкой в кабинет влетела птица!»

Стояло жаркое лето, я обожала открывать окна: одиннадцатый этаж, голубое небо, крыши Камергерского, один из лучших московских видов.

О боже, подумала я. Говорят, это к смерти.

Мы медленно идём к кабинету и видим, что действительно в открытое окно влетел большущий белоснежный голубь и сел на край моего «Макинтоша». И сидит. Кабинет небольшой, при входе стоит толпа в количестве минимум пятнадцать человеческих существ на двух ногах с открытыми ртами. Что делает нормальная птица? Смущается и улетаёт в окно, потому что оно по-прежнему открыто. А этот не улетаёт.

Я говорю: «Спокойно, сейчас я разберусь». Захожу одна в кабинет, подхожу к компьютеру, осматриваю голубя — может, раненый, может, крылышко подбито. Нет, вроде здоров, блестит всем солнечным светом летней Москвы. Я ему говорю: «Родной, может, всё-таки домой? Как тебя сюда занесло?» Молчит и пялится на меня. Причём я поднимаю руки — он не двигается. Я говорю: ребята, он меня не боится. Может, любовное письмо принёс? Ничего — лапки свободные, симпатичные, янтарно-розовые. Но я понимаю, что надо его отпускать, беру нежно с двух сторон и — вжух! — в окно. И он улетаёт.

Я говорю: «Так, пошли назад за дело». Сидим, разговариваем дальше. Тишь, гладь. И вдруг дикий вопль: «Алён, смотрите, он вернулся!» Мы все разворачиваемся — он опять сидит на компьютере. Прямо фанат-яблочник. Дубль два, один в один. Подхожу к нему, он на меня внимательно смотрит — и всё ровно то же самое. Я ему: «Родной, я потом сделаю свою домашнюю работу и узнаю, что ты хотел сказать, но пока — не понимаю. Может, тебе лучше домой, потому что здесь тебе явно совсем не в кайф, потолки низкие и вообще».

Все смеялись, потому что я выглядела, как городской сумасшедший, а может, и как Франциск Ассизский: разговариваю с голубем по-взрослому.

Но он не улетает. Беру его в руки, сердце все равно постукивает, выпускаю в окно и говорю своим: «Давайте окно закроем? Чтобы он понял, что сюда не надо летать».

Окно закрыли. Редколлегию довели до конца и пошли дальше заниматься своими делами.

Вечером прихожу домой, а голубь не вылезает из головы. Прорыла все от «Золотой ветви» Джеймса Фрейзера до сборника русских суеверий. Ничего вменяемого. И в этот момент у меня на экране мобильного выскакивает лунный календарь: «шестнадцатый лунный день. День голубя, «лестницы на небо». Один из самых благодатных дней в году, день созерцания с большой силой воображения, главный цвет — белый (оппа!), важно в этот день соблюдать уравновешенность и не допускать крика и агрессии».

Я медленно пролистала в голове весь день — обычный, спокойный и точно безо всяких истерик. И тогда я решила, что если на моём личном компьютере сидел белый голубь в День голубя, наверное, небеса одобряют, как я стучу пальцами по клавишам.

Ко мне никогда больше в дом не залетали птицы. Кормушки на даче — да, всегда полны, и сойки там кормятся, и дятлы, и трясогузки всякие. Тот, белый, видно, навещал меня не случайно. Одна примета заменила другую.

Выбирайте лучшее — оно и сбудется.



Алёна Долецкая, белый голубь, 2005 г.

Дошло наконец

У каждого, кто делал в жизни что-то масштабное, есть двойник с обратным знаком. Эдакий выращенный своими руками оборотень, который тебя непременно подставит. Примеров — пруд пруди. Тут тебе и изощрённый политик Фуше, сдавший Наполеона, и Цезарь с любимым Брутом и с его «И ты, дитя моё». И уж, конечно, надо смотреть фильм «Всё о Еве»: красноречивей некуда.

Историю моего увольнения с поста главреда журнала Vogue описала Божена Рынска, ядовитый светский хроникёр и «народная правдоматочница РФ», как она себя сама называла: «Вечный сюжет — конфликт стрекозы и муравья — длился без малого десять лет. Алёна — это лёгкое дыхание, чарующий интерфейс. Карина — упорный железобетонный пахарь, Сальери, которому всё даётся очень тяжело. У неё нет и не будет полётности, но эти терпение и труд перетрут всё живое... Операция «Убрать Долецкую» была Сталинградом Добротворской, она схрумкала главреда Vogue не между делом, она положила на это почти десять лет».

В той заметке в Газета.ру не все соответствовало действительности, но суть верна — это увольнение смахивало на самое что ни на есть банальное противостояние двух персон. Про Сальери не уверена, а вот со стрекозой и муравьём поточнее будет. И возвращаюсь я к ней, потому что такой истории в моей долгой рабочей жизни никогда больше не случилось.

В 1998 году я набирала себе команду для запуска Vogue в России. Глянцевая индустрия в стране только набирала обороты, профессионалов не было, а мне хотелось — команду мечты. Каждого игрока надо было отбирать вручную.

С иностранцами, которые знали толк в настоящем, недоморощенном глянце, у меня всё было отлично. С русскими — сложнее. Я принципиально не хотела брать людей из других гламурных журналов. Требовались незамыленный глаз, профессиональное перо и подлинный драйв делать лучший в то время женский журнал в мире. Одного из таких персонажей мне посоветовал влиятельный кинокритик и редактор Александр Тимофеевский. В газете, которую он тогда возглавлял, работала Карина Добротворская — одарённый журналист, по образованию театровед. Сама из Питера, замужем за москвичом, редактором культуры газеты «Коммерсантъ».

Мне понравилось, как она писала: легко, чуть наотмашь, по делу и без штампов. Познакомились. И правда, молодая, хорошенькая, коротко стриженная брюнетка, быстрая, хваткая. Фамилия симпатичная. Я решила её пригласить, выдержав сопротивление тогдашнего издателя, немца Бернда Рунге, который всё время хотел кого-то из тех, «что ему посоветовали».

В новом офисе было ещё не очень уютно, и я позвала её с мужем к себе на дачу на выходные. Поработали, поболтали, прогулялись («Никто в твоём посёлке не продаёт дачу? Я бы тоже хотела здесь...»). После их отъезда в гостевой спальне осталась неубранная кровать с валяющимся на полу одеялом и несвежими влажными полотенцами. Ерунда, в каком только виде у меня не оставался дом после иных гулянок! Но то близкие друзья, а здесь другое дело. Это была подсказка: «Человек может быть нечистоплотен с тем, кто ему помог и дал приют», — но я её не поймала.

Вечером того же дня ко мне зашла моя близкая старшая подруга и соседка по даче, профессор ВГИКа Полина Лобачевская. «Алёна, а кто эта девушка с глазами затаившейся змеи, что уезжала от вас днём?» — «Ну что вы, Полина, просто у неё чуть-чуть косоглазие. Она очень милая!» — «Ну-ну», — сказала Лобачевская.

В журнале мы работали с Кариной в слаженном тандеме. Мне было интересно с ней пробегаться по темам номеров, она была не по-московски пунктуальна, работу свою делала быстро и споро. Всегда с готовностью отправлялась на интервью к героям журнала, и у нас сложился такой метод: я брала её с собой, вела разговор, раскручивала собеседника, писала на диктофон, она была рядом, иногда вставляла пару фраз, никогда не мешала. Возвращаясь на работу, мы обсуждали, смеялись, горевали или радовались в зависимости от результата. Она отписывала интервью, я хвалила, правила и — в печать.

Меня всегда поражала острота её оценок людей. За закрытыми дверями моего кабинета уничижительное лезвие бритвы проходило по разным персонам. Снаружи — она говорила прямо противоположное. «Наверное, это особое питерское социальное мастерство», — думала я.

Первые пара лет в Vogue были бурными и часто смешными. Иностранцы и их манера вести дела всегда обсуждались иронически. Я выступала по актёрской линии и пародиям, Карина — по линии сарказма. Обычная рабочая жизнь. Но друзьями мы не стали, даже по-девчачьи прошвырнуться по магазинам мне с ней не хотелось. Что-то не пускало.

Через год, сделав её своим замом (ну, пашет человек честно), я выдохнула. Главред — он с девяти утра до двенадцати вечера главред. С

утра машешь крыльями и, как положено стрекозе, уменьшаешь численность кровососущих насекомых (это биологический факт, кстати!), ведёшь редколлегии, читаешь тексты, отсматриваешь фотографии, а после работы, на встречах с рекламодателями, размахиваешь полупрозрачными крыльями всех цветов радуги, вращаешь цветным брюшком и стрекочешь про потрясающий продукт этого самого рекламодателя.

По-прежнему ни одна страница журнала, ни один макет не уходил без моей визы, ни один фотограф или стилист близко не подходил к съёмке без обсуждения со мной. В какой-то момент мои московские друзья стали тихонько приносить слухи в стиле «Карина говорит, что делает сама весь журнал, ты в ус не дуешь». Ну раз, ну два, ну три. И что обидно, чистое враньё же.

Приглашаю Карину к себе в кабинет. Что за фигня?

— Ты с ума сошла!!!! — пламенно так говорит, обиженно.

— Я? Да никогда в жизни. Полная чушь.

— Знаешь, — говорю, — если тебе правда очень хочется, то вот оно моё кресло. Бери. Только давай без этой светской вони и грязи.

— Я?! Главный? Никогда и ни за какие деньги!! Это последнее, чего я хочу в жизни. Я вообще не понимаю, как ты всё это выдерживаешь.

Звучало очень убедительно.

Через полтора года она становится главредом журнала AD. Значит лукавила, говоря, что не хочет главного. Но я за неё порадовалась — хотела и получила. Славатегосподи!

Признаюсь, в Vogue стало повеселее, что ли, полегче. Народ прибывал работать отменный, иностранцы потихоньку стали отъезжать — русские учились быстро.

Ещё года через три на место ушедшей с позиции президента Condé Nast Россия австралийки Робин Холт (не выдержала русских морозов!) приходит руководитель рекламного отдела Condé Nast Наталия Гандурина — и как бы ей в помощь назначают редакционным директором Карину. У-у-у-пс, выходит над моей головой навис двуглавый начальник!

Я отправилась к тогдашнему президенту новых рынков, Бернду Рунге:

— Поясни, кого мне теперь слушать? Начальники разрастаются — Анна Харви в Лондоне тоже редакционный директор. Карина теперь мой начальник? Ну, чтобы понимать.

— Ну нет, какой начальник, она — твой спарринг-партнёр.

— У нас теперь глянец боксом занимается?

Посмеялись — разошлись.

Сейчас я искренне поражаюсь своей беспечности и наивности. Ведь не

клюнуло меня, не тюкнуло, не моргнуло мне: «Долецкая, просыпайся!» Куда там! У стрекозы столько дел, столько дел. В начале нулевых по стране растекается экономический жирный жир. В месяц делаем по 400–500 полос, пока пролистаешь рекламу в начале журнала, мышца вспотеет. Vogue встаёт на ноги красиво и прочно, подтягиваю в журнал великих фотографов, лучших стилистов, первоклассных моделей. И по ходу летаю на десятки показов мод в год, на встречи, юбилеи, бьюсь за обложки и редких героев — куда ж без них? — с последней истеричной неделей перед сдачей номера, как в первый раз, и всегда до ночи. Порхаю на всех парах. С удовольствием и хроническим недосыпом.

А ещё ведь никто не отменял бурное личное, друзей, романы, коктейльные платья и высокие каблуки.

И тут, как говорится, среди полного здоровья, на меня наезжает танком, нет, не танком, а начинает меня обстреливать из гранатомётного комплекса ХМ-25 приличной огневой мощи новоиспечённый президент русского Condé Nast Гандурина:

— Что?! Обложка с Дашей Жуковой? Запретить!

— Чулпан Хаматова будет сниматься только за деньги для её фонда? Никаких денег не дам!

— Собака в офисе? Корпоративный запрет!

— Разумничались в журнале? Интеллектуалок набрали в авторы?

— А ну отчёт ваших о последних разговорах по мобильному мне на стол!

Такое всегда звалось травлей. Я — к Карине.

— Ты ж редакционный директор, администратор по творческой линии, помогай, поясни...

— Ой, Алён, — кротко и с печальным кивком, — ну что я могу сделать? Это же Гандурина.

Моё двуглавое начальство дышало одним воздухом, ходило к общим врачам, в одни бутики и прачечные и как-то своим образом плотно дружило. Травля от Гандуриной продолжала набирать обороты, и доставалось не только мне. Через два года карающий меч упал на её шею: увольнение в один день. Гандурину увезли на «скорой».

Ко мне в кабинет приходит Карина:

— Какой ужас, что делать, кого назначат?!

— Думаю, тебя, — говорю.

— Ты с ума сошла?! Никогда. Через мой труп. Буду стоять на коленях — зачем мне это всё надо? Я же это ненавижу, не выдержу.

Тут бы мне и вспомнить про черешню — про знаменитую манеру

Карины всегда выбирать из вазы лучшую, самую большую и красивую ягоду, первой хватать с блюда самый большой и красивый кусок. Родители учили меня — не хватай лучший кусок, ты не детдомовка, не голодная. Это неблагородно. Пусть лучшее достанется тому, кому достанется.

Но я не вспомнила. У Карины зазвонил мобильный, и я услышала вместо привычного тинь-ли-динь — не компьютерную, а настоящую Хаву Нагилу. Еврейской темой она прежде не играла. Неужели то был тонкий заход в сердце владельца Condé Nast International ироничного еврея Джонатана Ньюхауса? Уау!

Через неделю Карину объявили президентом и редакционным директором компании.

Отлично, решила я. Человек (хоть и снова лукавя) идёт своей дорогой. Нравится человеку административная власть — и славно. Кто-то же должен сидеть в ледяных кабинетах, двигать шашки на доске, увольнять-нанимать, принимать ордена и грамоты и делать приятное вышестоящим. И главное, для меня такое назначение — самое то. Я — как бы её крёстная мать: нашла-выбрала-поверила-заставила поверить остальных. И вот тебе — получился целый президент. Свой человек в начальстве — это симпатично.

«Симпатично» вытекало подчас в скучные рабочие разборки. Карина начала раз в месяц писать обстоятельные имейлы с разбором вышедшего номера Vogue. Процентом на десять была разумна, остальное — чистая вкусовщина. Я исправно отвечала ей на всё, памятуя завет великого издателя Джона Фэрчайльда: «Дайте мне любой журнал, и я порву его на куски». Говорили мы всегда на равных — живо, по возможности убедительно с обеих сторон. Трепетом перед начальством я никогда не страдала.

Чудесным июльским солнечным днём 2010 года, за два дня до моего отпуска, отправляюсь к Карине на заранее оговорённую встречу обсуждать директора отдела моды. Я с папками, со съёмками и фамилиями кандидатов. Сажусь в кресло, начинаю раскладывать свой веер предложений. Она перебивает.

— Алён, знаешь, мы тут с Джонатаном решили, что тебе надо уйти.

Я так и застыла со своими папочками в воздухе, и хватило меня только на одну фразу.

— О как!

— Пресс-релиз написали. Все условия возьми в кадрах. У тебя два дня, чтобы освободить кабинет.

Это моё «О как!» всосало всё — шок, удар под дых, удивление, адскую боль, облегчение, скрежет зубов, отчаяние. Слова у меня закончились. Я

вышла. Потом вошла в кабинет кадровички. Та с трясущимися руками, с глазами, полными слёз, протянула бумагу о расторжении контракта.

Смотрю бумагу, набираю своего приятеля-адвоката Сашу Раппопорта.

— Привет, я в Перу! — говорит адвокат — Что случилось?!

— Такая хрень, — читаю ему документ.

— Значит, так. Суд можем выиграть, но денег потратим больше, чем они тебе отмусолили. Про нервы вообще молчу. Подписывай и быстро уезжай отдыхать.

Подписала.

Иду по коридору из админблока в наш редакционный лофт. Шагов пятнадцать, не больше. Каждый шаг — как харканье сердечной аорты густой тёмной кровью.

Как же можно спустить в унитаз мои двенадцать лет преданной и успешной работы этим «мы решили»?

Как можно было хотя бы не сказать мне «спасибо» за всё?

Как же ты, сука, можешь втыкать нож в спину? Что это, месть за благодеяния? За наставничество?

Как я могла не посмотреть пресс-релиз?!

Блять, за что уволили-то?

Что я скажу своим ребятам? Мы как раз такой кутюр отсняли!

Я, значит, свободна? А что мне делать с этой свободой?

Как держать лицо? Как держать спину?

Почему я не услышала своего друга Полину десять лет назад?

Что могло грызть живого человека, какая сводящая скулы зависть, чтобы сожрать дающего?

И правда, что могло мучить успешную Карину так больно? Хотелось звёздности? Так прыжками по админке её всё равно не получить. Звёздность же либо есть, либо её нет. Кулыт льстящих подчинённых тоже звёздности не подарит. Наверное, противно иметь в подчинённых ту, которой совсем безразличен твой стремительный взлёт по этой гребаной лестнице. Она ещё и спорит с тобой как с равной. М-да.

Ну а если спокойно взглянуть на всё это из нашего прекрасного сегодня — ничего особенного не произошло. Обычное предательство. Историй, которые начинались с богов и заканчивались их осликами, мы видели много. Индустрия начала менять ярких и дорогих на тусклых, управляемых и подешевле. А надо-то было наоборот — менять ярких и дорогих на ещё более ярких и ещё более дорогих! Тогда раритетный продукт не съебался бы до посредственных мышей. Страшна ты, поступь империализма.

Позже уволенная недотёпа Гандурина принесёт мне извинения за то, что меня травилa. Она, оказывается, не понимала, кого ей действительно надо было бояться и травить.

Позже Карина проследит, чтобы ни одной моей фотографии не появилось ни в одном русском издании Condé Nast и чтобы меня ни за что не пригласили на пятнадцатилетний юбилей журнала, который я делала десять с лишним лет.

Но всё это — муравьиная чушь. И есть какая-то окончательная справедливость в том, что Карина написала книжку про свои диеты, анорексию, обмороки и кровотечения, а я — про завтраки, обеды и ужины. Стрекозе нельзя расстраиваться, от этого портится цвет крыльев. Я полетела дальше.

Три

Полетела

«Нет ничего скучнее чужих снов и чужого блуда», — говорила Ахматова. Про блуд ещё можно поспорить, но чужие сны (например, мои) должны сохраняться как культурное достояние человечества. Те, кто не согласен, могут пропустить эту главу.

Мои сны почти всегда вызывающе кинематографичны, событийны, многоцветны, превосходно смонтированы и, если везёт, сохраняются со мной до конца дня. Не знаю их сценариста, но не сомневаюсь в его величии. Любимые сны — те, после которых просыпаешься, будто подзаряженная специальной батареей. В этих снах я летала и до сих пор летаю. Один был давно-давно, но я его запомнила навсегда.

Лечу я, значит, над океаном, из которого торчат куски материков, айсберги и скалы, а потом снижаю высоту и наблюдаю сначала маленьких рыбок, потом больше и наконец — невероятных глубоководных монстров с выпученными глазами, сиреневыми ресницами, пышными хребтами. Волшебство.

Вдалеке вижу берег. Замечаю, что песок на пляже острова сверкает золотом. (Я потом такой песок спустя много лет видела один раз в своей жизни в Кении, на огромном, безлюдном пляже Golden Beach. Его песок при ярком солнце сияет как мелко-мелко раздробленное золото.) Берег длинный, пустынный. На бреющем полёте спускаюсь и вижу, что на берегу парочками стоят друг напротив друга люди, как в замысловатом танце XVIII века. Думаю: красиво стоят. Очередь начинается на песке, и некоторые даже заходят в воду по щиколотку, потом по колено, и самые-самые близкие в воде стоят по талию. Подлетев совсем близко, понимаю, что знаю почти всех. Бабушки и дедушки, предки, виденные только на фото, друзья, подруги, мужья, однокашники, студенты, преподаватели, начальники, коллеги, племянники всех мастей. И тут они протягивают руки ладонями вверх друг другу, а те, кто напротив, кладут руки ладонями, соответственно, вниз, создавая мостик, на который я влетаю пузом. Но, поскольку я, видимо, влажная, в, так сказать, облачной росе, я съезжаю по их рукам как по трамплину: вж-ж-ж — и спрыгиваю на берег. И все целуются, обнимаются, говорят, как мы все давно не виделись. И мы идём всей многосотенной толпой по золотому песку, хохочем — и все живы, все любимы, все красивы и нежны... Такая вот нечаянная «Ода к радости».

Чего мне только про этот сон не объясняли! Каждый приятель-эксперт

нёс свою пургу. Один по Фрейду клеил мне безудержный секс, который я хочу, но недополучаю. Другой сказал: напротив, это пресыщение сексом. Третий говорил, что мне уже хватит секса, пора с родными общнуться. Четвёртый — что это образ моего внутреннего раздрая: я занимаюсь чем-то не тем и подсознательно хочу перейти к более почтенному, фундаментальному занятию.

Давно я так не смеялась. И вот что — я слишком уважаю свои сны, чтобы опускаться до их интерпретации. Расшифровка сновидений и поиск символики — гиблое дело. У меня была массажистка, которая несколько раз внезапно отменяла сеансы. Когда я потребовала объяснений, она призналась, что очень много лет живёт только по своим снам, читает их, расшифровывает, и в этих её снах идут предупреждения, — например, не выходить сегодня из дома, иначе пиздец. Она с такими воспалёнными подробностями рассказывала про свои послания, что на меня пахло жёлтым домом. Дружба с сонником — дорога умалишённых. Не мой путь.

Мои полёты — сродни наркотическому трипу. Когда-то давно у меня был приступ аппендицита, и папа решил, что сам меня прооперирует. Отвезли в больницу и для начала дали закись азота, веселящий газ. Я хохочу на всю реанимацию и слышу папин голос: «Интубируйте её и грузите. Она будет тут ещё час хохотать как подорванная».

Не помню точно, произошло это во время закиси азота или после интубации, но свой наркотический полёт помню до сих пор. Покинула я, значит, грешную землю и превратилась в существо, которое целиком состоит не из кожи, костей и мышц, а из неведомого материала — миллиардного скопления крошечных звёздочек. Я могла дотронуться до себя этим мягким подобием своей руки, а она то проваливается, то не проваливается, то она мягкая, то тёплая, то встаёт на своё место, то оставляет ямочку, а потом снова встаёт на место. И конечно, это существо облакоподобного силуэта летало — но как! С несоразмерными, всё время разными скоростями — то на бреющем полёте над Африкой, через секунду — над Антарктидой. Потусила так вокруг планеты, быстро заскучала, потому что мы все видели глобус, и отправилась дальше, в Галактику. Обнаружила несколько планет интересной формы, похожие на фасоль. Потом были малоприятные планеты, некоторые походили на корабельные мины и состояли из острых шипов. В космосе, поняла я тогда, хватает своих минных полей.

Возможно, за то, что я с трепетом и благодарностью отношусь к сновиденческим полётам, мне въяве дано чувство лёгкого неба. Я искренне люблю летать на самолётах. Меня не раздражает даже самолёт

сомнительного, скажем так, комфорта. Ну трясёт, ну болтает его в грозу, он же, бедный, не виноват. У меня не бывает панических атак, и я всегда держу за руки всех, кто не любит летать, рассказываю им анекдоты. Первый главный редактор журнала Elle Лена Сотникова боялась летать, и, когда мы отправлялись на модные показы, она всегда звонила мне и говорила: «Долецкая, забукируй мне место рядом, будешь держать за руку». И конечно, я обожаю смотреть в окно — где так щедро, так подарочно разворачивается «дивная мистерия Вселенной» со всеми её небесными снегами, белыми равнинами и перинами, с нестерпимо резкими чёрно-алыми знамёнами рассветов и закатов.

Меня как-то познакомили с человеком, который давал уроки по вождению вертолётa. Рисковое дело эти вертолётные штудии, но ощущение, когда летишь над Подмосковьем, например, в крещенскую неделю, — умопомрачительно. Вдруг что-то сверкает внизу среди сплошного чёрного леса. Оказалось, луковка церкви: маленький золотой шарик на земле. Говорю ему: «Подлетим к храму?» И по мере того, как мы спиралью, аккуратно опускались, я начинала различать и четверик на пятерике, и стройную, как свеча, колокольню, и тихую очередь людей за крещенской водой — это была картина неопишемого тепла и умиления. Может быть, так себя чувствуют ангелы, когда смотрят на нас сверху, и если всё хорошо, они раскрывают крылья и думают: «Ну вот, все хорошо. Полетели дальше».

Как-то в Тунисе мы отправились в Сахару на экскурсию. Поездка была драматичная — водитель катал нас вверх-вниз по барханам, так что машина практически стояла вертикально, я умоляла: «Я, пожалуй, выйду...», а он говорил: «Не-не, лучше сидите». Потом мы пошли гулять с друзьями Нелли и Костей, и вдруг Нелли мне говорит: «Долецкая, посмотри, какой чувак». Посредине бивуака, где местные чем-то торгуют, кто чаем, кто сладостями, стоял, как бы это описать... удивительный арт-объект — огромное гинекологическое кресло на двух колёсах и с крыльями. А рядом — такой Роберт Редфорд из фильма «Из Африки», что даже по-своему логично, раз мы в Сахаре. В середине жопы Земли стоит этот невероятный голубоглазый человек. «Hello», — говорит он на королевском английском языке, ну прям Queen's English. Хотя Редфорд не в моём вкусе, но, как говорится, он не в моём вкусе, пока лично не встретишь.

Спрашивает: «А не хотите ли вы полетать над Сахарой?» Я?! Могу ли я не хотеть полетать над Сахарой? Нелли говорит тревожно: «Долецкая, ты у нас одна. Может, он сам полетает, а ты посмотришь?» А это

гинекологическое кресло как раз двухместное. В отличие от вертолѐта, здесь всё открыто: нет стен, нет пола. Друзья перекрестились, я села к мужику. Не помню, что он мне надел на голову, — возможно, ведро.

Оказалось, управлять этой штукой проще, чем автомобилем. И вдруг коварный Редфорд говорит: «Вижу, вам хочется попробовать». Спрашиваю: «Но как?» — «Меняемся местами». — «Ну не в воздухе же!» Сама вспоминаю и думаю: боже, какой бред, какая отмороженная авантюра. «Да что вы, никаких проблем. Тут есть режим бреющего полѐта. Вы быстро привстаньте, я сяду на ваше место, руль сам держу». Пролезаю под его рукой и сажусь на его место. Он говорит: «Ну всё, держите руль». У меня, видимо, был такой приступ эйфории, что я даже не помню, как я его крутила и на что я нажимала.

Иногда я чувствую себя (скромно так) героем фильма «Андрей Рублёв» Тарковского: разбег, рывок — и упоительный вопль: «Летюююююююююю!..» Летю, летю, нон-стоп, — хотелось бы сказать, но, разумеется, нет. Не все сны радостны, не каждую ночь случается счастье полѐта. Но как человек, умеющий производить радость и управлять ею, я знаю, как обращаться со своими тягостными, страшными фильмами. После «дурного кино» я утром бегу в ванную, включаю холодную воду и первым делом долго мою запястья.

Тяжёлые сны почему-то смываются именно через кисти рук.

Трюк Клементины

Нехорошее чувство — зависть. Зато у нас есть белая зависть. Что-то вроде одновременного восхищения и желания обладать. Хорошо выкрутились, да?

Так вот меня пробрала такая белоснежная зависть к экс-премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. Ему вообще-то не позавидуешь: аутизм, дислексия, дурной характер, туча разочарований, ненависть людей, победа на выборах, проигрыш на выборах, победа в войне, блестящая слава, дурная слава. Драматичный, один из самых цитируемых политиков в истории. Как он там про нас: «Страну, в которой зимой едят мороженое, победить невозможно»? Но стал он таким благодаря Клементине. По мужу Черчилль.

Комплексом домохозяйки Клементина не страдала, была блестяще образованна, красива, элегантна. Владела тремя языками, слыла «иконкой стиля» того времени, возглавила Фонд помощи России и «подняла» для нас сегодняшними деньгами больше двухсот миллионов фунтов.

Она не просто всегда оказывалась рядом и в нужный момент. Она умела поселить сомнение в безупречности Черчилля как человека и как правителя. А ведь дело имела с главой страны и любимым непростым мужчиной. Зимой 1940 года она написала ему письмо, в котором среди прочего была обеспокоена тем, что Уинстон перестал слышать критику. Он стал настолько уверенным в своей правоте, что начал вызывать неодобрение политического окружения. Хуже того, его стали бояться друзья, а это — совсем недопустимо. Потому что, если ты их потеряешь, ты никогда ни от кого не услышишь правду. И, предупреждая его об этой потере, она обращает его внимание на простую вещь: «Мой дорогой Уинстон, должна признаться, что я заметила: твои манеры ухудшились, и ты не так добр, как раньше». Добр! Добр?! И в самом конце послания: «Я написала это письмо в прошлое воскресенье в Чекерсе и порвала его, но сейчас оно перед тобой».

Никаких выяснений в стиле «почему ты на меня смотришь ледяным взглядом? С тобой стало невыносимо находиться рядом». Нет-нет, совсем не так. А через вдумчивую мудрую паузу.

Мечту о человеке, которого любишь, на которого опираешься и который умеет поселить сомнения в правильности того, что ты делаешь, — вот такую мечту о Клементине с маленькой буквы я собирала по кусочкам и

трепетно ценю.

Взбесил меня как-то один человек, инвестор проекта, над которым я работала. Взбесил своим тотальным безразличием. Он забывал, что людям надо платить, что надо отвечать на звонки, на WhatsApp, на Telegram, на смс, на email. Он забивал на всё с таким усердием, что сам же губил свой проект. Злилась я на него всерьёз, хотя парень он был вроде симпатичный. Просто сколько же можно?!

Дойдя до градуса закипания, я решила: «Скажу ему всё, что думаю: тебе наплевать на большое дело, твоё молчание нарушает все юридические и человеческие договорённости, всё, чему нас учат с детства, все принципы порядочности как инвестора, как нанимателя, в конце концов! И кроме того, нельзя так поступать с живыми людьми».

Написала жёсткое письмо. Без единого грязного слова, но что ни фраза, то бросок лезвия в аорту. Жгла глаголом сердце, печень, лёгкие и остальные органы. И в этот момент, как раз когда я полировала финал и раздумывала, как подписать: «твоя А.», или «без уважения, А.» или «озверевшая А.», в гости зашёл мой близкий друг Серёжа.

Бешенство начало отступать, а удовольствие от того, что я написала это письмо, — оружие, как мне казалось, массового поражения непорядочности, светилось сквозь раскрасневшееся лицо. Он спросил, что случилось.

— Прости, что вываливаю на тебя свои рабочие проблемы, но просто не могу молчать, как тот Толстой.

Довольная своим письмом-филиппикой в адрес инвестора, зачитываю его с выражением. Он выслушал и говорит:

— Скажи, а чего ты хочешь добиться?

— Мне нужен ответ! — говорю. — Хоть на что-то!

— А покажи, что ты перед этим ему писала?

— Да я пишу как птица-секретарь!!! Вот от вчерашнего, а вот от позавчерашнего, вот неделю назад, вот имейл, а вот WhatsApp, а вот звонки.

— Понял, — говорит. — Давай ты напишешь другое письмо.

— Какое?

— «Дорогой Х, я соскучилась по хорошим новостям». И всё.

— Ты с ума сошёл? Что это за литературщина? Он бизнесмен, в такие тонкости не въедет, и вообще он дядька, а не фиалка.

— А ты попробуй, — говорит.

Что-то у меня щёлкнуло, и, без малейшей надежды на ответ, я отправила своему мучителю эту фразу. Нажала кнопку «отправить» и

пошла ставить чай. Через полминуты звякнул WhatsApp. Это был первый ответ безалаберного инвестора после двухмесячного молчания.

А вот ещё история в таком же духе. У меня случилась масштабная личная катастрофа, и я переживала тяжёлые последствия расставания с одним человеком. Вёл он себя недостойно, угрожал мне всеми видами расправ от карьерной до физической. А поскольку это расставание шло преступно долго, дело тянулось почти год и вымотало меня донельзя. На меня свалилась вся мерзость и злоба, все пакости, о которых прежде я могла только читать, и всё это было помножено на два и возведено в третью степень. Короче, я распадалась на куски.

И тут ко мне на дачу приезжает близкая подруга Маша.

— Что это с тобой?! — говорит. — Ты серо-зелёного цвета, а ещё у тебя, у тебя... просвечивают уши.

Я ей рассказываю всю свою муторную историю.

— Давай разберёмся, — говорит. — Вот он грозит тебя убить. Давай представим, как именно.

— Да масса способов! Иду по улице, и меня сбивает машина, например.

— Нет-нет-нет, — говорит, — давай подробно, в деталях. Какая машина? «Мерседес»? «Лада»? BMW? Грузовик?

— Знаешь, наверное, машиной меня не сошьёт. Он же не в себе, так что оглоушит топором.

И пошло-поехало. Выходило кино, которое начинается с погони, а потом этот «Форсаж-8» встречается с «Экзорцистом-3» и полируется «Мысом страха-2». Маша — человек творческий, добавляет детали, подкидывает дровишек: «Сзади визг тормозов. А ты прыгаешь через бордюр? Нет, не прыгаешь, ты остановилась, ах, тебя отвлекли, а потому и сбили!».

Сценарий триллера нас поверг в состояние истерического хохота, но остановиться не было сил.

— С убийством всё понятно. Что с трупом делать будем? — спрашивает. — Надо похороны планировать. Давай рассказывай, как будем хоронить. Какие указания? Музыка? Место проведения? Дресс-код, пожалуйста.

Я увлечённо расписывала похороны, с московским особняком как местом проведения, с конкретным музыкальным миксом (Aretha Franklin, 5'Nizza, Rameau, Chopin, Pink Floyd, Alabama Shakes Pavarotti+Sting, etc) и с развеиванием праха в самом волшебном месте на планете. Когда мы допланировали последние детали, Маша сказала:

— Ну что, смотри-ка, уши у тебя не просвечивают, румянец появился — закрыли тему?

— Закрыли.

Этот мудрый совет заставил меня усомниться в правильности моего поведения и в правильности эмоции. Маша просто взяла, достала меня за шкуру из пучины животного страха и ловко превратила разрушение в созидание.

Поселила сомнение — есть в этом слове «поселить» что-то мягкое и уютное, — чтобы сомнение заработало в твою пользу. Эдакий трюк Клементины — отказаться от агрессии, от прямого боя.

В замечательном фильме «Дочь Райана» Дэвида Линна главная героиня принимает решение уехать, спрятаться от всяких своих бед в Дублин, приходит к пастору, и он ей говорит: «Все, что я могу подарить тебе на прощание, это сомнение в том, что ты права». Жить со своей правотой или неправотой, конечно, нам. Но сомнение любящего дорого стоит.

Плохие мальчики

Ну вот зачем мы втягиваем себя в очередной раз в отношения, которые нам, очевидно, совершенно не нужны? Даже вредны. И, главное, как из этих отношений потом вылезать?!! Да ещё не растерять полностью самообладание, самооценку и близких друзей. Вопрос вопросов.

Со мной такое недоразумение стряслось в гостях у моей давней подруги. Живёт она за рубежом, а в Москве наездами. Как приедет — пир горой, гости и гулянка до утра.

Подруга моя на этот раз привезла новую, супернавороченную саунд-систему, музыка в динамиках звучала прямо как живая. И в какой-то момент из этих самых динамиков полился фантастической красоты мужской голос — пел что-то блюзовое по-английски. Я про музыку понимаю, да и песня — какой-то известный кавер, но голос слышу впервые. Кто это? Что это? Весь стол смеётся: ты что, не узнаёшь? Песню знаю, голос не знаю — низкий, мужской, с хрипотцой, обволакивающий, будоражащий. Все смеются ещё больше. И моя подруга говорит: направо повернись, через два человека этот голос и сидит.

Смотрю: сидит мужик с длинными тёмными волосами, стянутыми в хвост, горько-шоколадные глаза с длинными ресницами, внимательный взгляд. — «Серёжа». — «Алёна. Это вы так убойно поёте?» Серёжа возвращает мне комплимент и говорит что-то в том роде, что, если уж говорить о голосе, то голос красивый у меня. Но в динамиках поёт и правда он.

Я влюбилась за полторы секунды.



Алёна Долецкая и Сергей Воронов, 2007 г.

В разговоре выяснилось, что он фронтмен московской группы, которой уже лет двадцать, зовётся она The CrossroadZ, и у нас пол-Москвы общих

знакомых. Странный выходил казус, что я про этого человека до сих пор ни звука не слышала.

Выяснилось, что на завтра нас обоих пригласили на день рождения к общему приятелю музыканту. Договорились ехать вместе на его машине. После дня рождения мне нужно было ехать на дачу, и обладатель рокового голоса, разумеется, согласился отвезти. Стоял ноябрь, уже тот противный, с ветром и дождём, и когда уже больше хочется спрятаться в доме с камином и в носках из козьей шерсти. Дальше, как говорил классик, все заверте...

Мы не могли оторваться друг от друга. Работа была единственной причиной временных расставаний, телефон дымился взаимными признаниями. Я не вылезала из ночных клубов, где выступали The CrossroadZ. Отличная крепкая группа, которая много лет была вместе, музыканты понимали друг друга с полкивка. Серёжа — солист и феноменальный гитарист от бога, в юности даже разок сыграл с Китом Ричардсом на гастролях в Америке. Голос, который меня так впечатлил, продолжал взрывать сердце, душу и прочие важные органы.

Жизнь раскололась на до и после нашей встречи. Главное, я поняла — у меня есть миссия. Серёжа должен жечь на лучших блюзовых фестивалях планеты, звездить, джемить только с великими. Какая Москва, Пермь, Екатеринбург?! Бери выше — Новый Орлеан, Монтрё, Хэмптонс, Цинцинатти, Монреаль. Вставать из кровати меньше чем за десять тысяч долларов — ни за что. А уж на сцену и подавно. Миссия любящей женщины — это вам не хухры-мухры. Это держите-меня-все.

Мы жили вместе, дышали вместе, думали вместе, выходили «в свет» в одинаковых костюмах YSL, собирали комплименты самой красивой пары Москвы. Дома и в личной переписке у нас были прозвища, которых никто не знал. Мебель с трудом выдерживала ночные бдения.

В сексе был один «изъян» — мне было странно, что он в это время не поёт, чтобы вынести меня за пределы нормальной вселенной.

И тут в нашем романе происходит заминка. Мне потребовалась маленькая, но неприятная операция на глазах. И я, конечно, прошу его поддержать меня на операции за руку. Потому что страшно.

За день до моего отправления в больницу он исчезает. Резануло болезненное воспоминание из ранней молодости. Его нет дома, на даче, его нигде нет, он не отвечает ни на звонки, ни на смс. Пропал. Во время операции меня держит за ручку лучшая подруга, и я ничего не понимаю.

Спустя пару дней выясняется, что Серёжа запил. Надолго. А я и знать не знала, что он пил, да ещё запойно! Никто ж не предупреждал. Пришлось стать экспертом в вопросе алкоголизма. Оказалось, что больно не само по

себе, что человек пьёт, — ибо кто же не пьёт в России. А то, что это питье приводит в конечном итоге к безразличию ко всем. Кроме себя.

Понеслись отношения в режиме «качели». Запой, выход из запоя, ссора-прощение, детокс сработал, детокс провалился. И по новой. Взлёт, жар, любимое дыхание, а дальше опять провал, исчезновение. Хорошо, что запой происходил в его съёмной квартирке, я бы не справилась с потерей человеческого облика, со «всё под себя» и внутривенными промываниями.

Но качели моей миссии не отменяли. Сердце горело любовью, желанием всё отдать, помочь, но уходы в запои портили дело.

В Москву приехали Aerosmith, я отправилась брать интервью у Стивена Тайлера, и пока мы разговаривали, я подумала, как было бы здорово, если бы The CrossroadZ сыграли на разогреве у Aerosmith в Олимпийском. Высокая и достойная планка для русских музыкантов. Тайлер, увидев фотографию Серёжи у меня на экране мобильного (с хвостом и серьгой, в усах и в шляпе) спросил, что за чувак, и, услышав, что мой бойфренд — гитарист-блюзовик, сказал: вижу, правильный чувак, из наших. Мне было приятно, тут бы и разговор завязать, но у правильного чувака опять случился запой.

Пережили. Следующий взмах качелей. Я превратила свою дачу в звукозаписывающую студию, чтобы Серёжа там сидел и писал свои собственные сочинения, потому что сколько можно играть чужие каверы, хотя бы и великих музыкантов. Блюз — это всегда твой собственный голос. Дело вроде пошло.

А я тем временем придумала отправиться в Индию с севера, с Гималаев, через центр Раджастана на юг страны, в Бомбей, в святые деревни. К тому времени я начиталась книг по Веданте, Аюрведе, занималась йогой и увлекалась индийской философией, но в стране не была никогда. Вышло своего рода паломничество. Паломничество мечты. И пригласила Серёжу присоединиться.

Путешествие было почти волшебным: каждую минуту открывала Индию и влюблялась в неё ещё больше. Роскошные отели Оберой и придорожные трактиры, похороны чьей-то родни в Ганге и Тадж-Махал в пять утра, намотанные сотни километров в поездах, на машинах и пешком. Я жила словно в сказке, а Серёжу моего ничего словно не трогало — он смотрел на всё как будто со стороны, как человек, которому это мало интересно.

В конце нашего путешествия мы добрались до северных провинций, и там у меня произошёл печальный разговор с местным учителем веданты в ашраме. Он вдруг спросил, как мне живётся с этим вот человеком рядом со

мной, как ухаживает, как хвалит, как заботится, как болеет за меня. А я не нашлась, что толком сказать.

Вернулись в Москву.

Стал накатывать холод. Качели со сближениями-исчезновениями раскачивались слишком сильно. Когда очень хочется и надо, чтобы любимый человек был рядом, а его нет — тяжело. Меня рвало на куски, я не могла сказать до свидания, но и жить с ним становилось одиноко.

На помощь пришла подруга Лори Родкин, известный ювелир, женщина — ходячая энциклопедия личных пертурбаций и приключений, черноволосая роковая колдунья родом из Чикаго. Мы познакомились в Москве на открытии её бутика и подружились. Харизматичная красавица, ближайшая подруга Шер, она к тому времени имела в своей биографии череду головокружительных романов со знаменитыми рок-н-роллщиками, включая Стинга и кого только не. Увиделись снова на парижских показах, обнялись и скорей отправились ужинать. Надо же всё обсудить! И я давай жаловаться: не могу дышать, не могу думать, не могу работать. Любимый человек большого таланта выбирает жизнь провинциального неудачника, раз в месяц превращается в свинью, плюёт на себя, на всех и даже на такой бриллиант, как я. За двадцать лет не написал ни одной новой песни и морочит мне голову, что алкоголь, видите ли, расширяет талант и сознание. Невыносимо!

Лори в ответ не стала меня обнадеживать, зато много прояснила. В сухом остатке: «плохие парни» — это беда. Они такие плохие, что подойти страшно, и чем краше и талантливее, тем опаснее. Но вот поёт он на концерте и глядит только на тебя, и ты — прямо как принцесса, которой волшебная птица заливает свои трели. И всю эту ворожбу ты принимаешь на свой счёт. А он тут весь стадион качает, сотни-тысячи подпевают. А ты всё думаешь, что весь этот концерт — для тебя лично. Ловушка-с.

В заключение Лори сказала: тебе придётся решать самой. Ты можешь превратиться в медсестру, специалиста по детоксу, в психотерапевта — а хорошо бы ещё и в продюсера. Если ты готова — вперёд. Но это full time job, работа на полную ставку, короче, «журналист меняет профессию». Или — говоря другому «нет», ты себе говоришь «да».

А у меня ничего не получалось. Жаркие встречи и муторные разлуки. Мне всё хотелось, чтобы помог случай. А он всё не подворачивался.

Последнюю попытку я осуществила в Питере. Туда с концертом приехали Rolling Stones, и я отправилась с друзьями послушать любимых музыкантов. Сидели мы в первом ряду, я скинула свои двенадцатисантиметровые каблуки, прыгала на стуле, ловила брошенные

Китом Ричардсом медиаторы. А в эти гастрольные дни у Мика Джаггера был день рождения, который он праздновал в узком кругу, в одном из питерских дворцов, кажется, во дворце Белосельских-Белозерских, и меня пригласили.

И тут случайно узнаю, что Серёжа в Питере, и зову его с собой — там ведь будет Кит Ричардс, они смогут пообщаться, и вдруг что-то из этого наконец выйдет.

Это был трогательный вечер, который делал продюсер и фотограф Валера Кацуба: «Роллингам» показали милый домашний балет, потом легко и весело ужинали и плясали во внутреннем дворе. Кит Ричардс, хоть и ужасно неловко, танцевал с красавицей Пэтти Хансен, своей женой, высокой голубоглазой блондинкой, матерью их двух обворожительных дочерей. Я подвела Серёжу к Киту, Серёжа напомнил ему, как они вместе играли, Кит узнал или сделал вид, что узнал. Они о чём-то говорили, серьёзно и доброжелательно. Сказка начинала сбываться.

А после Питера качели снова вернулись в жизнь. Очередной запой. Зачем мне это? За что? Разрывая связку за связкой, мышцу за мышцей, я поставила точку.

Я чувствовала себя, как та ворона-матерщинница из старого анекдота. Лесные птицы и зверьки, уставшие от её беспрестанного мата, собрались под деревом, взяли медведя и волка для устрашения и сказали вороне: ещё одно матерное слово, они поймают её и повыдирают все перья. И вот она молчит день, молчит два, птички запели в лесу, заскворчали кузнечики, зашелестели кроты, вернулась благодать. И вдруг на весь лес раздаётся громкий вопль: «Да на хуя мне эти перья?!?!»

Выдёргивать из тела перья на самом деле тяжело. Было бы намного легче, если бы я слышала своих ангелов-хранителей, которые мне говорили — выдёргивай, не бойся, все вырастет заново.

Да-да, перья выросли, но вышла я из этой истории совсем голой. Потихоньку обросла новыми перьями и поняла, что с опасными игроками я за стол не сажусь. И ещё, надо поточней знать правила таких игр. Или хотя бы одно из них: «Победителей не будет. Проиграют все».

Мужчина впереди

Москва. Утро 8:45, пора. В 9:00 стартуем. Понятно, что никаким чудом между тренировкой, редколлегией, встречей с фотографом, деловым обедом с рекламным дателем, интервью для ТВ и нарядным ужином с креативным директором Bottega Veneta Томасом Майером в ресторане Baccarat — я ни при каких условиях не смогу оказаться дома. Любое передвижение внутри центра займёт минимум полтора часа. Портплед, в котором одежда и обувь на утро, день, вечер и, возможно, ночь — отправляется вместе со мной в любимую белоснежную с белым кожаным салоном BMW. Может, между встречами заскочу в кафе, выпью чашку чая и там же переоденусь.

А переодеваться надо из дневных брюк, свитера, под которым тонкая майка, и сапог на тонком каблуке в деловое, но со сдержанным шиком для ТВ, а потом в длинное шёлковое платье с открытой спиной, не забыть привести в порядок руки-локти, увлажнить кремом. Не в каждом кафешном туалете развернёшься. Поэтому «снимите это немедленно» будем делать в автомобиле.

Во-первых, в нём всегда тепло, во-вторых, на огромном заднем сиденье можно разложить всю косметику, кремы, увлажняющий на руки, тональный на ноги. Машина — что швейцарский сейф, поэтому заодно меняешь серьги из горного хрусталя на бриллиантовые подвески. Только вот в моей машине нет заграждения, как в английском black cab. И что там видел мой водитель в тот момент, одному богу известно.

А водитель у меня был — Вадик, его телефон часто был у моих друзей, потому что меня найти было сложно. Он всегда знал, где я. У одной моей подруги он и вовсе значился как Вадик Долецкий. «Семья» в дополнение к законным брату, племянникам и хаскам Рэй, Чарльз и Гай Долецкие разбухала.

Вадик к тому же был хорош собой, чего я долго не замечала. Открыла мне на это глаза мой директор моды итальянка Дэниела Паудиче, которая наезжала в Москву редко. Едем мы с ней как-то по Москве, на заднем сиденье, и вдруг она со своим итальянским акцентом: «Darling, а ты в курсе, что у тебя водитель — красавец? Ну ты посмотри, вот сейчас он в профиль повернётся». Он был не в моём вкусе — я больше кареглазых люблю — и говорю: «Да, ничего». «Как это ничего?! — обезумела итальянка — Помнишь, Лагерфельд сказал, что, если бы он был русской

женщиной, он стал бы лесбияном, потому что из мужиков вообще не на ком глаз остановить. Твой Вадик же просто звезда! Чистый Дэниел Крейг!»

Она мне так навела резкость, что мелькнуло: «Хм, если бы не моё профессиональное чистоплюйство, неплохой сюжет мог бы выйти в стиле книжки «Любовник леди Чаттерлей». Вадик вошёл в мир гламура, как нож в масло. Едем мы в непогожий февральский день на показ Nina Donis, а между местом остановки автомобиля и входом в помещение разлилась зелёно-коричнево-желтоватого цвета лужа шесть метров на двенадцать, а по этой жиже проплывает что-то малоопознаваемое, и шансов перелететь через неё у меня нет. Вадику ничего не стоило подхватить меня на руки в моём крепдешине и кашемире и замшевых туфельках Gianvito Rossi, перенести, поставить на сухую точку и только после этого отъехать. Но даже после комментария Дэниеллы мне это виделось, как исполнение обязанностей, а не как мужская куртуазность.

Так вот, найти подходящего личного водителя для занятой глянцевої дамы со светским обременением — дело, поверьте, непростое. Офис и деловые встречи, приёмы и интервью, банки и визовые отделы, дом и дача, покупки и ремонты, цветы и подарки и ни единого опоздания — тут требуется сноровка, знание города и высокие способности.

Моя машина быстро превратилась в Форт-Нокс, там есть всё. От липучек для чистки пальто, ухайдаканного собаками, влажных салфеток, сухих салфеток, воды, витаминов, предметов красоты, степлера, скрепок, визитных карточек, до паспортов и прочих важных документов. А ещё маленький пакетик с запасными набойками для шпилек — эти решётки для стока грязи немилостиво их сжирают. А, да, книжки, которые иногда покупаю в трёх экземплярах, чтобы подарить при случае друзьям.

Сейчас уже есть «Яндекс. Такси» и прочие уберы, которые приходят на помощь, когда мой водитель смотрит пятый сон или вдруг приболел, и я еду на Абдурахманах Бахудуровичах Акаевых.

Но никто, даже надёжный Вадик (куртуазно исчезнувший после завершения моей работы в одном заведении) — не вечный, и надо искать нового.

А ведь хочется человека с рекомендацией — от друзей, знакомых, олигархов, родственников. Как назло — никакого отклика, и я быстро понимаю почему. Те, кто нашёл своего водителя, никогда его не отдаст. Начинаю искать сама.

Первого нахожу в районе своей дачи — и скоро понимаю, что ошиблась, что это не человек, а пень, наделённый редким сочетанием негибкости, дремучести и алчности, не способный ни выучить столицу, ни

освоить навигатор. При этом аккуратно высаживает меня в лужи по несколько раз на дню — а на мне, как обычно, замшевые на шпильках туфли. Проработал Пень недели две.

Следующего уже ищет компания цивилизованными методами — на сайтах по подбору персонала. Находит в толпе соискателей доброжелательного, приятной наружности, подтянутого спортивного юношу, с молниеносной реакцией, и будто на пружинах. Взяли.

Москву знал отлично, водил ловко, не опаздывал. Но у пружинистого была привычка носить крепко обтягивающие вещи: джинсы, майки, пиджаки как будто на полтора размера маловаты — мышцы выпирали отовсюду, а нижняя часть тела выглядела особенно вызывающе. Моя просьба одеваться посвободнее осталась без ответа. Я-то потерплю, но ведь с ним встречаются и другие люди. Тут мои коллеги интересуются, не подрабатывает ли, дескать, ваш водитель в порнофильмах, и дают ему прозвище для внутреннего пользования — Качок. Как-то раз по дороге в аэропорт Качок мне так впроброс говорит: «Скажите, Алёна Станиславовна, а вот «Сравнительная риторика английской и русской публичной речи» — правда тема вашей диссертации?» Я в ступоре: как он всё это выговорил? Зачем ему это? Откуда он вообще знает? И так вяло: «А вам зачем?»

— Так типа хотел узнать, сколько вы за неё проплатили. Не самой же писать. А то я заочный юрфак заканчиваю, прицениваюсь, сколько за диплом занести.

— У нас никто не покупал диссертацию и тем более её защиту, — отвечаю сквозь зубы.

— Хм, странно! А я думал, вы в курсе, — огорчился Качок.

В остальном Качок предупредителен и услужлив. И вот — едем мы как-то по городу на «ягуаре» (ясное дело, белый с белым кожаным салоном), а тут небольшой затор, автомобиль перед нами замешкался на светофоре. Качок открывает окно и извергает поток такого зубодробительного мата, что даже я, любитель крепкого словца, остолбеневаю. Смысл тирады: водитель соседнего автомобиля лишён навыков вождения. Ни одного цензурного слова, кроме предлогов, в тираде не было. По грамматике безупречно, по содержанию — редкого омерзения вопль подзаборного зэка-уголовника. Может, такие и нужны на юрфаке?

И сколько же их потом было в моей жизни. И мрачный Достоевский, с которым иногда было страшно возвращаться домой: а ну как чем огреет? И Штирлиц со стальными глазами, который постоянно ловил меня на противоречиях «вы ещё утром говорили, что...». И Тёртый Калач тридцати

восемью лет, со связями, у которого все автомойки схвачены, потому что там работает его дружка Ефим Семёныч. Казалось, и я сама у него была схваченной.

Сейчас у меня период заботливого Папы. Смотрит иногда на меня с сожалением — «непрактичная какая», «не бережёте себя». Но знает всё, что я люблю, добывает и устраивает. С золотыми руками: починит всё, с чем мне не справиться, от браслетиков и айфонов до кондиционеров. На вопрос «а можно?» неизменно получаю «не вижу препятствий». С юмором! Бонусом — совпадение музыкальных предпочтений. Никаких тебе Стасов Михайловых и Ваенг. Зато про AC/DC и BBKing'а в двухчасовой московской пробке — легко. Жизнь удалась!

Но вообще-то скоро подоспеет беспилотный автомобиль, сам передвигается, без участия живого человека. И я, как лягушонок в коробчонке, смогу превращаться в принцессу, никого не смущая своими переодеваниями и капризами. Не буду вызывать ревности жён и любовниц, выслушивать подзаборного мата, терпеть умело скрываемого раздражения и думать, как он там под окнами ждёт меня шестой час.

И всё встанет на свои места. Качок будет грузить картоху на Ярославском вокзале или охранять товарняк, Любовник займётся своим прямым делом, а Папа будет папой только для своих детей.

Мышь. Укроп. Договор

Как-то я познакомилась с Гербом Коэном, который был главным переговорщиком Белого дома, хотя никогда не числился там в штате. Он написал книгу «Искусство вести переговоры и заключать сделки». Разруливал теракты в Нью-Йорке, освобождение заложников и самые сложные политические конфликты.

Его выступление на Международной конференции издательского дома Condé Nast, которая проходила на Вилле д'Эсте на озере Комо, было одним из самых сенсационных. Разбирал по косточкам искусство договариваться с абсолютно любым противником.

Потом предложили задать дополнительные вопросы, и я, видать, как самая любопытная, спросила: «Герб, вы рассказали об удивительных победах. А расскажите историю, где вы всё делали на пятёрочку, а потом случилась лажа. Кто оказался самым недоговороспособным?» Он ответил: «Моей главной неудачей стали переговоры в период Советского Союза с русскими». По всему зал Condé Nast International на сто пятьдесят человек прокатился смехок — кажется, я была единственной русской на этой конференции. Он в ужасе спрашивает: «Почему вы смеётесь? Я сказал что-то неожиданное?» Из зала ему кричат: «Потому что она русская!» Он показывает на меня: «Она?!» Я говорю: «Да, поэтому они и засмеялись». Он смутился: «Оп-па. Ну, тогда вам будет особенно интересно». И рассказал о долгих переговорах по ПРО, в которые были включены и политики, и военные специалисты, и спецслужбы разных стран, и каждый был одним из сложных звеньев в общей переговорной структуре. С первыми двумя договорились, а со спецслужбами было сложнее. И вот они наконец договорились и с ними, после чего американцы вынесли некий общий документ, который был вроде *fait accompli*^[13], а он оказался вообще не *fait accompli*, а полный... — всё, о чём они договорились на предыдущем этапе, было нарушено русскими.

Я вспомнила про это умение разрубать неразрубаемые узлы, когда заехала на выходные в свои дачные Ватутинки, и приходит ко мне моя помощница по дому Татьяна, дисциплинированная и строгая к людям. С трагическим выражением лица сообщает: «Алёна, всё плохо. Я скажу Вам всё сразу, потому что это — война». Я говорю: «Господи прости, что? С кем война?» Нет, не собаки. Нет, не соседи. Не газ? Не вода?

— Алёна, не перебивайте. Прогрызены четыре кухонные стены, а

нижний ящик с вёдрами и резиновыми перчатками засыпан мышиным говном. Крупа, которая в другом, нижнем ящике, пожрана. Это мыши».

— А мышеловки? А яд?

— Они всё сожрали. С ядом.

Моя Таня — фрекен Бок проиграла битву.

Полёвки приходят по весне, голодные и замёрзшие. А у меня полный дом — то пирожки, то хачапури. Есть чем поживиться. Но на этот раз они правда озверели — на холодильнике, где стоят медные тазы для варенья и огромная корзина для хлеба, — катастрофа. Ни хлеба, ни корзины, ни льняных кружевных салфеток там уже нет. Только россыпь мелких чёрных какашек.

Итак, война. Я осмотрела территорию. Повреждения носили вызывающий характер, и я решила, прослушав лекцию Герба, что надо начинать договариваться. Численность врага была неясна. Коты не очень помогают. Так, парочку поймают, но мыши продолжают настаивать. И я пошла в открытую. Выставила керамическую миску с натёртым твёрдым сыром и сказала: «Кто у вас там главный? Заходите, мышеловок рядом нет».

И правда, скоро появилась симпатичная, среднего размера, не крошечная полёвка, а именно домашняя мышь. Я обрадовалась, что не крыса. Она бесстрашно подошла к миске, поела сырку. Я ей: «Привет, Маруся, это я». Познакомились. Она, грызя, иногда поднимала на меня глаза.

Я сидела метрах в двух-трёх от неё. Потом я медленно встала, она продолжала есть, но чуть-чуть задёргалась. Я говорю: «Ты не бойся, это я. Если голодные, приходите сюда». У меня был план: когда они привыкнут к миске, я потом эту миску вынесу из дома на участок. Они же теперь знают, с какого блюдечка их кормят. Она кивнула — мол, всё, доела и ушла. К вечеру я положила ещё и стала наблюдать. Она снова пришла. Я была страшно рада — это просто одна очень голодная мышь. Потихоньку Маруся стала меня подпускать поближе. Не так, чтобы прямо погладить, но на полметра точно.

Главное, быстро прекратились остальные атаки грызунов на дом. И мы поняли, что Маруся была просто очень голодна. В итоге мой план сработал. Дома говорили: «Слышишь цок-цок-цок? Твоя подружка идёт». И я прибежала, мы разговаривали: «Марусь, как дела», туда-сюда. Потом оказалось, что она не только сыр любит, после обеда остались корочки пирожка — тоже хорошо пошли.

Подруги трепетали: «Долецкая, ты сумасшедшая, если она придёт, я

упаду в обморок». Мужчины просто считали, что я ку-ку, судьба Маруси их совсем не волновала: «Уже давно бы отравила их всех».

Когда на даче было больше трёх человек, Маруся торопливо забирала хавку и уходила. А если в узком кругу, то продолжала есть. Она как будто пыталась мне что-то сообщить, но, возможно, это была благодарность за вкусную еду. Потом я надолго уехала в Москву, возвращаясь, спрашиваю свою фрекен Бок: «Ну как? Марусю кормите?» Она говорит: «Кормлю, но она меня не подпускает. Как подойду чуть ближе, она тут же пулей. Но вы знаете, Алёна, эта ваша Маруся жиреет на глазах». Я говорю: «Ну а как вы думаете, она же голодная по полям всю зиму скиталась, конечно, сейчас отъедается. Она же в крысу не превращается?» «Нет-нет, просто видно, что она стала такая упитанная. Может, поменьше еды класть будем?» — спрашивает экономная фрекен Бок.

Приезжаю на следующих выходных, кладу в мисочку сыра — а Маруси нет. Я говорю: «Таня, вы Марусю не видели?» «Алёна, отстаньте от меня, — отвечает. — У меня дел полно, какая Маруся? Кривляется ваша Маруся, наверное, хочет чего нового».

Выкинула засохший сыр, положила зерно. Нет никого, и вечером нет. Я говорю Тане:

— Вот видите, договориться можно со всеми. Моя теория меня не подвела. Мыши пострадали от ядов, мышеловок и кошек. Это же агрессия. А если человек подкормил — она поела и пошла заниматься своими делами.

В субботу Маруся не пришла тоже. Мои мне говорят: «Наконец-то! Убирай своё блюдо и хватит заниматься маразмом». Говорю: «Нет, давайте доведём дело до конца. Может, она наелась на три дня». В воскресенье утром она не пришла тоже. А мне вечером уезжать с дачи в город. Где-то в девять вечера собираю вещи в город и тут слышу странный звук. Иду на кухню и вижу: стоит моя миска, а вокруг ужинают четыре маленьких мышоночка. Молодая смена пришла. Маруся поела, нагуляла эротичные бочка и завела семью. «Картина маслом» — четыре мини-Марусь с трогательными розовыми носами хрустели сыром.

Вы не хотите знать, что мне сказали об этой новой семье мои домашние.

Мыши все же исчезли, потому что у меня появился кот Укроп. Пёстро-серый найдёныш, сам пришёл на дачу, приласкался, подружился с Рэем, потом с Чарльзом. Поначалу я его выкидывала с участка, говорила: «Парень, тебе сюда нельзя, собаки загрызут». Он пролез через забор, подошёл к Рэю, сделал дугу, они о чём-то своём договорились, Рэй,

видимо, сказал: «Я тебя понял», отошёл, лёг — типа проходи. С молодым Чарльзом было сложнее. Укроп дружески подошёл к нему, и Чарльз подтянул переднюю лапу, чтобы врезать коту как следует. И тут Укроп спокойно-то так даёт собаке пощёчину лапой справа, слева, справа, слева — и садится рядом. Чарльз, ошалев от такой наглости, сказал: «Ну, парень, тогда заходи». Договорились. Кот Укроп прошёл прямо к нашему сарайчику и там поселился. Никогда у них не было ни одной склоки или недопонимания.

Я села с Укропом: «Значит, так, парень, я не буду кормить тебя сегодня весь день, потому что ты обленился. Я уезжаю в город, и у тебя партийное поручение: ты разбираешься с мышами».

С домашними я договорилась так: когда и если Укроп принесёт мышь, дать ему самое вкусное, что он любит, — креветку или голову селёдки. У котов есть свои гурманские дела. За одну мышь Укропу выдавали полголова селёдки, за двух мышей — целую голову, а за трёх — хвост. И Укроп выполнил свою миссию — мыши больше не приходили. Но своё фиаско договора с мышами я признала, когда получила водопад издевательств друзей над моей попыткой быть госпожой Дуровой.

Моё фиаско, впрочем, вполне объяснимо. Герб Коэн был прав. Это были русские мыши. Их можно приручить только на время.

Ты — его или он — тебя?

Дело происходит несколько лет назад, в разных концах страны. К одной моей подруге подходит сын лет четырнадцати и впроброс:

— Мам, если я буду геем, ты как?

— Я буду очень огорчена.

— Почему?

— Потому что ты будешь очень одинок. Человек, который живёт в меньшинстве, всегда чувствует себя менее защищённым.

К другой подруге приходит домой сын, постарше лет на пять, со своим бойфрендом. Мама отводит сына в сторону и говорит: «Знаешь, не верю я во всё это. Ты просто хочешь быть модным».

Эти рассказы моих подруг, образованных и современных, меня словно ошпарили кипятком. У меня полно друзей геев, потому что я люблю общаться с интересными, внимательными и весёлыми людьми. С кем кто спит, мне не важно. Но так было не всегда.

Лет до 16-ти я вообще ничего не знала про геев. О них не говорили в семье, не писали в прессе, и даже в книжках ничего не было. Один раз мы пошли на закрытый показ фильма Сергея Параджанова «Цвет граната» в маленькой поточной аудитории на журфаке МГУ. На всю жизнь я запомню сцену, где сок разломанного граната бежит по самым тонким волокнам сырой льняной ткани. Сок должен был напомнить венозную кровь, вызвать ощущение опасности, — но от красоты картинки останавливалось дыхание. Длинный тягучий кадр вызывал скорее восхищение природой — крошечные рубиновые зёрна, сквозь которые иногда просвечивает жемчужное семечко. К чему это режиссёр ведёт? Что дальше?



Выходим из кинозала с моим мальчиком с журфака.

— Потрясающий фильм! — говорю.

— Представляешь, как жалко. Он сидит, — говорит мальчик.

— Кто сидит?

— Ну кто?! Сергей Параджанов.

— Где сидит? — я думала, что он в зале сидит.

— В тюрьме. Он же гомосексуалист.

Сделала вид, что поняла. Сам фильм как будто был снят на инопланетном языке, и чтобы попытаться его расшифровать, надо было немного поломать мозги. У Параджанова был уникальный язык: он строил кадры, будто писал сложные умные стихи, цвета выбирал — будто ткал редкий ковёр, и Софико Чиаурели с её осанкой и тонким с горбинкой носом. Помню свой дебильный вопрос: «А что, разве за это сажают?» Понимала, что гей, наверное, про секс, и какой-то не такой секс. Но сажают же за убийства!

Лет через десять я пойму, что вместо унижительных четырёх лет тюремного заключения за мужеложество Параджанов мог бы снять не один великий фильм. И прочту, что только хлопотами Лили Брик и после личной просьбы французского поэта Луи Арагона Л.И. Брежневу Сергея Параджанова выпустят на свободу. И прочитаю его дневники («Я окончательно рухнул. Состояние моё жалкое и безысходное. Вероятно, первое решение — о самоубийстве — было самое верное и единственное») и съезжу в его дом-музей в Ереване.

А совсем недавно, уже после смерти Элизабет Тейлор, я узнала, что она много лет контрабандой ввозила в Америку лекарства больным СПИДом в расцвет правления Рейгана, лекарства для геев. А потом и вовсе собрала четырёх экс-президентов США и заявила к Рейгану в Белый дом с просьбой разрешить лечить геев от СПИДа. Победила.

Но в свои шестнадцать лет я ничего этого, конечно, не знала. Тот мальчик с журфака меня просветил и рассказал про статью 121. Пришла домой и спросила родителей, что это всё такое? Родители включили медицинское образование и объяснили мне, что так бывает, когда мужчине нравятся мужчины, про физиологию, про эрогенные зоны. Я всё поняла, но вопрос, за что сажать, остался. У меня, например, самой эрогенной зоной тогда были уши — конечно, не когда тебя за них грубо хватают, а когда ветерок касается — я после этого за себя не отвечала.

На юридическую сторону вопроса мне так никто и не дал ответа, поэтому в голове осталось так: человек создаёт великие произведения, дальше союз «но» — он гомосексуалист.

В восемнадцать лет я вышла замуж за того самого мальчика с журфака и переехала жить в его семью. Вернулась как-то из театра «Современник» и говорю: «Меня папа познакомил с переводчиком Виталием Вульфом! Такой интересный и знающий дядька!» А свекровь говорит: «Он же известный искусствовед, автор увлекательнейших статей про легенд кино и театра!» А муж добавляет: «Гомосексуалист, правда». И я тогда подумала: «Наверное, он знаком с Параджановым». Они были у меня в голове родные братья. Спрашиваю: «Ну и что? Просто с мужчинами спит?» И муж: «Угу». И вот за этим «угу» у меня чистый лист. Если бы он, например, сказал: «Да, но он спит со слонами», — я бы удивилась больше.

В общем, отставание у меня по этому вопросу было серьёзным. Но ничем меня не задевало. Не было у меня маркера: «Ах, как прекрасно» или «Ах, как ужасно».

Лет через пятнадцать, я уже в разводе, у меня случается бурный роман с одним актёром. Двухметровый красавец, с тёмными глазами принца из сказки, с гривой падающих на лоб каштановых волос. Смешил меня пародиями на великих Ефремова, Евстигнеева, Никулина и Папанова. Я пропала из жизни друзей недели на три, ни с кем не хотелось делиться своим упоением. Но одна моя любопытная подруга таки достала меня своими бесконечными вопросами «кто-кто-кто он?» и вытащила из меня его имя. «Поздравляю!!!!!! У тебя роман с самым красивым геем Москвы». Я была фраппирована: «Как же так, ведь гомосексуалисты спят с мужчинами. Как же я попала в эту линейку? Я же девочка, у меня же всё, всё, всё, как у девочки!» Озадачилась, но на роман это никаким образом не повлияло. Со временем мы расстались, и вовсе не потому, что он был геем.

Прошло ещё сколько-то лет, и мы запустили журнал Vogue. И тут вся гейская тема свалилась на меня Ниагарским водопадом — столь же естественным, каким водопад и является — водопад же не включишь краном и не выключишь. Выяснилось, что почти все люди, о которых пишет журнал, — дизайнеры моды, стилисты, парни-модели — на 99 % геи, да и мой первый арт-директор и ювелирный редактор кстати — тоже. Посыпалось, рук не хватит. Геи правят в моде, как евреи в финансовом секторе. У тех и других отлично получается.

Я попала в мир, в котором не они, Вульфы и Параджановы, были белыми воронами, а ровно наоборот — это мы белые вороны. Скромное исключение составляли фотографы — гетеросексуалы, беззаветно любящие фотографию, профессию, сюжеты, женщин и свет.

Когда года за три-четыре мы поставили журнал на ноги, я взяла новым директором моды, своей правой рукой, редактора лондонского журнала Pop

(он работал в Pop'е — хорошо звучит) англичанина Саймона Робинса. Мне нравился его почерк стилиста. Он привносил в моду то, чего так не хватало в России.

У соотечественников стиль тогда определялся неверно понятой буржуазностью и 90-ми, когда все носили Versace full look, потом Gucci full look. Помните это нуворишеское «всё, что было дома, купленное за большие деньги, я надела сегодня на себя и это всё тоже накрасила»? Клише «нарядной русской женщины» мне хотелось стереть с лица России-матушки.

К 2002 году журналу нужно было то, что на английском называется edge. То есть край, лезвие бритвы, которое обозначило бы возвращение Vogue к его истокам, к бесстрашному взгляду вперёд, иногда даже на уровне провокации. В России уже все всё накопили, у всех всё было, и нужен был следующий этап. Свой стиль и проявленный вкус.

Саймон Роббинс — импозантный гей, похожий на Киану Ривза. Чёрные смоляные волосы, узкие глаза, полные иронии, ухоженный, весёлый. Мы с ним сдружились, когда выехали вместе в первый раз на показы и вечером пошли в Нью-Йорке на тусовку Кельвина Кляйна. Шампанское и прочие опасные коктейли лились рекой, гуляли на недоделанной крыше модного небоскрёба и, как бывает на таких вечеринках, напились как подростки, забыв, кто здесь главный редактор и кто подчинённый. Я, как оказалось, пью чуть лучше, и понимаю: ещё пара бокалов — и мы нанесём непоправимое имиджевое повреждение российскому издательскому дому. А имидж, как известно, наше всё, и репутация тоже. Вижу Саймон начинает залезать на столы и петь «I love you, baby», включая ответственность и жёстко так: «Саймон, нам пора». Под ручку, как шерочка с машерочкой, неровной походкой мы вышли из зала.

Тогда и начался наш профессиональный тандем, потому что мы увидели друг друга в самом неприглядном виде. Как доехали до отеля, не помню. Жили в соседних номерах, и пока я пыталась опознать свой номер, на весь коридор нёсся дворцовым эхом крик Саймона: «Fuck, fuck, fuck!» Он не мог попасть карточкой в дверь.

Как-то на парижских показах я спросила его:

— Слушай, Саймон, всё время забываю тебя спросить. Когда ты со своим парнем занимаешься сексом, он — тебя или ты — его?

— What?! Darling!!!!..

Потрясённый Саймон проносит мимо рта бокал джина с тоником: по щеке и роскошному пиджаку Gucci (тогда его делал Том Форд) льётся

джин, сползают льдинки, лимон прилипает к пиджаку — прямо скажем, зрелище. У него шок. А что такого я спросила? С тех пор он меня всегда представлял как «Познакомьтесь, это мой любимый босс» и добавлял: «Та самая, которая Miss Whofuckswhom^[14]».

Он мне ничего не ответил. Ни потом, никогда. Но как-то Саймон сказал: «Знаешь, у меня же, в общем, и друг очень много, и иногда я с ними сплю, когда им совсем плохо — у девчонок же всякое бывает, ничего не складывается, и они пристанут, как банный лист, надо же помочь». Наверное, это было что-то из области настоящей дружбы.

Однажды я заметила, что многие геи склонны к манипуляциям и сплетням. Это меня бесило, не понимала, как быть. Мне никогда не приходилось говорить мужчине: «Прекрати истерику», «Возьми себя в руки», «Выйди на улицу, продышись, выпей бутылку воды и вернись с другим выражением лица». Делать «своим геям» на работе скидки на женские манеры не хотела и не могла. Ведь передо мной сидит мужик в джинсах, рубашке и ботинках, иногда с бородой. Вот и веди себя как мужчина. Кажется, я ругалась с ними больше, чем со всеми остальными, потому что у них всё преувеличенное, всё какое-то слишком. Всё время drama и гипербола. А у меня, выросшей в гетеросексуальной семье, с гетеросексуальными мужьями, к истерикам такого рода отношение безгливое.

Когда я первый раз увидела парад геев — наверное, по телевизору, их ещё показывало наше смелое телевидение 90-х — я подумала: «Господи, как смешно, как весело, какие они все духарные». И порадовалась за людей — это было похоже на карнавал в Бразилии или в Венеции.

Всякие проявления гомофобии — как явные, так и латентные — омерзительны. Тихая неприязнь к геям, просачивающаяся с верхних этажей власти, тоже противна. Но демонстрация избранности вызывает у меня неприятие и раздражение. Ведь тогда гетеросексуалы должны начать ходить на марши и объявлять свой праздничный День натурала. Или наоборот, вот нас, блондинок, все считают дурами — баста! Выходим на марш блондинок с требованиями немедленно дать блондинке Нобелевскую, Гонкуровскую и Пулитцеровскую премии за то, что она блондинка. Так и до абсурда недалеко.

Это кормление людей крайними проявлениями и накипью, которая не имеет отношения к реальной жизни геев, вредно. Вот у меня есть несколько любимых и гениальных фильмов, которые хорошо прочищают мозг. Первый — «Без изъяна» с Робертом Де Ниро и Филипом Сеймуром Хоффманом, где Де Ниро — полицейский, которого разбивает инсульт, а

Хоффман — его сосед, трансвестит. Второй — «Присцилла — королева пустыни» с неповторимым Теренсом Стампом. И третий — его вольный американский ремейк «Вонг Фу, спасибо за всё, Джули Ньюмар». Не забудем шедевр «Филадельфия», где гетеросексуал-адвокат Дензел Вашингтон защищает уволенного с работы гея в исполнении Тома Хэнкса. И, уж конечно, «Харви Милк» и «Имитация игры», где соответственно Шон Пенн и Бенедикт Камбербэтч показывают конфликт одиночки с мнением гетеросексуального большинства.

Такой уровень разговора мне кажется приемлемым и здоровым.

Я не знаю, кому сейчас труднее — геям или гетеросексуалам. Но мне нравится, когда мальчики ведут себя как мальчики, независимо от того, с кем они спят. Я предпочитаю дружить с девочками, которые остаются женственными, несмотря на свои любовные и семейные нетрадиционности. И ещё мне важно, чтобы личность не подменялась сексуальной ориентацией.

Гей-коммьюнити в большинстве своём относится ко мне с симпатией. И я плачу ему взаимностью. Но все чаще признаюсь себе: чем больше я знаю геев, тем меньше я их знаю. В сущности, я недалеко ушла от своего шестнадцатилетнего невежества. Брызжет сок граната, сияет радуга, все родные, все любимые, все хорошие. Но случайное движение, странный жест, излишне категоричное суждение, и я понимаю: нет, всё-таки эти чудесные ребята для меня — терра инкогнита. Прекрасная, неведомая, так и не освоенная земля.

Король Рэй

О них говорят так же часто, как о детях. А когда их покупают, подбирают и заводят, то о хозяевах часто судачат: «Ну понятно, детей нет, или выросли. Вот и завели игрушку». Так вот, жизнь с такой «игрушкой» может нас научить гораздо большему и важному, чем жизнь с человеческими особями.

В один прекрасный день в конце 90-х я поняла, что не могу жить без собаки. Я точно знала, что хочу именно хаски — собаку, похожую на волка. Вариантов, где искать, было тогда немного: газета «Из рук в руки» и Птичий рынок. На «птичку» ехать не рискнула. Знала, что скуплю всех брошенных и покалеченных собак и к ним в придачу кротов, сурков и говорящего попугая. В газетах слово «хаски» не мелькало.

Полетела в командировку в Лондон, и тут мне звонит близкий друг, тогдашний продюсер Spiegel в Москве, Володя Пылёв: нашёл объявление заводчика хасок! Звони им скорее!

Ага, из Лондона за миллион денег. Щас.

Но жгучее желание победило, звоню.

— Николай Петрович, здрассте, я по объявлению. Хотела бы у вас купить щенка хаски. — Долгая пауза.

— Здравствуйте. Как Вас зовут, полное имя?

— Елена Станиславовна.

— А фамилия у вас есть?

— Долецкая, — говорю.



Алёна Долецкая и Рэй Долецкий, 2001 г. Фото: Глеб Косоруков.

— Назовите, — мрачно так говорит, — год, месяц и день своего рождения.

— Я вообще-то по поводу хасок, — нервничаю, — мне не нужен гороскоп.

— Я не продаю своих щенков кому ни попадя. Значит, говорите, 10 января... Неплохо, да. Вам можно иметь хасок. Год ваш я проверю позже.

В конце вязкого и дорогостоящего разговора получаю адрес заводчика. Где-то на бескрайних просторах нашей родины, около Ярославки, прямо перед МКАД.

Вернулась в Москву и скорей с Володей и ещё одним дружком-собачником — на собачью ферму. Я ожидала увидеть деревянный дом с полянами-лугами, по ним бегают щеночки, их мамочки и папочки. Оказалась тёмно-серая хрущоба без лифта. Крошечная типовая двухкомнатная распашонка, из которой отовсюду раздаётся вой и лай.

В, так сказать, гостиную с застиранным бордовым диваном и двумя стульями хозяин выносит шесть трогательных трёхмесячных щенков. Они носятся, как и положено щенкам, но один из них — в два раза быстрее, чем все остальные. Прыгает с пола на диванную подушку, а с неё — прямо мне на шею и там зависает. Как горжетка из чёрно-бурой лисы.

Снимаю его с шеи, а он продолжает совершать двести пятьдесят пять движений в минуту. Прыгает в руки — шёлковый такой чёрно-белый хаски с волчьей маской. Карие, тёмно-шоколадные глаза. А я, как все начинающие хасколюбы, хотела с голубыми глазами. Но у Николая Петровича есть второй помёт. Он забирает первую команду, с трудом отрывает от меня кареглазого, который повис на загривке, вцепившись в мой свитер когтями. Во втором помёте выбираю голубоглазого щенка, цвета незрелого персика. Милашка нежно ластится ко мне, и тут из соседней комнаты доносится страшный грохот падающих кастрюль, что-то стеклянное бьётся по дороге, и в полуоткрытую дверь врывается кареглазый и прыгает на меня уже без пересадки на диванные подушки. Володя в один голос с другом-собачником говорит: «Бери двоих, ты же лихая!» Но тут включается Николай Петрович:

— Зачем вам этот идиот? Он мне полдома разнёс и вообще он не кондиция. Правда, у него папа был премиальный, из Канады, но мать русская и странноватая. Нрав бешеный, мы его Драконом назвали.

В результате отдаю много денег за персикового — и совсем мало за некондиционного кареглазого.

Дома выяснилось: у обоих щенков кишечники испорчены плохой кормёжкой, а ветеринар объявляет, что палевый незрело персиковый —

племенной брак: «У него крипторхизм, и яичко не выскочит. Это плохо для собаки и для хозяев, и сейчас он уже неоперабельный». Зачем-то вспоминаю, что мой папа блестяще оперировал крипторхизм у детей. Звоню Николаю Петровичу: «Ваш палевый щенок крипторх. Забирайте его, не хочу рисковать». Он приехал, не моргнув глазом забрал щенка, деньги обещал привезти позже и, конечно, никогда их не вернул. Жулики — люди последовательные.

Некондиционный щенок рос отлично. Кишечник вылечили ромашковыми клизмами и хорошей едой. Назвала его Рэем. Рэй — в честь любимого певца Рэя Чарльза, уважаемого дизайнера моды Рэй Кавакубо, и, наконец, Ray по-английски значит «луч света». А если пишется не Ray, а Reu, то на латыни он ещё и царь, правитель.

Где-то через год друзья-собачники сказали: «Съезди с Рэем на выставку собак, это страшно интересно. Он у тебя такой красавец!» К своему изумлению, я этим запарилась, обучилась ходить с собакой на специальном поводке и отправилась в Сокольники на настоящую международную выставку. Рэй был по-особому элегантен, послушен, ходил как породистый жеребец, но надежд на победу не было. Заводчик ведь говорил, что он — некондиция.

Таких Сокольников я в своей жизни не видела — палящая московская жара за тридцать градусов, парк разделён ограждениями на чёткие участки для разных пород, хозяева на нервяке почище, чем родители во время вступительных в МГУ им. М.В. Ломоносова. Судья по группе хаски — маламуты-самоеды — настоящий немец из Германии. Высокий, сухощавый, строгий и в очках.

Собаки изнемогают, люди скандалят, ад — короче. Мы с Рэем проходим в группе ещё полусотни хаски-претендентов. Отсев. Следующий круг. Отсев. Мы прошли и в третий, последний. Судьи уходят на пятиминутный совет. Ахахааа! Мы получаем первое место в своей категории. Довольный похвалами и вниманием, Рэй явно мечтает о тенистой дачной прохладе. Я и подавно польщена, но хочу домой, в душ и в тишину. Собираю наши манатки, миски и прочие поводки. И тут, увидев наши сборы, к нам подходит немецкий судья: «Nein-nein-nein-nein». Ничего, оказывается, ещё не закончилось, потому что дальше финал, Best in show, соревнование на лучшего из лучших со остальными представителями породы. О-ох.

И тут я чувствую на себе искренне ненавидящий взгляд. Кого я вижу? Так это ж Николай Петрович, который продал мне Рэя как некондицию. Он сам тут с четырьмя собаками, из которых судья допускает до Best in show

только одну. Увидев, как этот жулик бесится, глядя на своего бывшего некондиционного щенка, я возликовала.

В довершение ко всему Рэй Долецкий получает главный приз Best in show — алый аксельбант, позолоченную грамоту и пакет с заграничным, редким по тем временам, кормом. Пакет я дарю судье, потому что мы давно перешли с сухих кашешек на натуральную еду.

Больше мы на собачьи шоу не ездили. У меня по работе этих шоу хватало выше крыши: одних показов мод четырнадцать штук в год. Но Рэй, наверное, все же переживал, что я не вожу его на выставки. Всякий раз перед моим отлётом в Париж, Милан, Лондон или Нью-Йорк он отправлялся в бега. По бабам.

Кстати о бабах. Много позже я прочитала в одной книге, что, если вы заводите хаски, помните, это одна из самых сексуально активных пород собак. Если в радиусе двадцати пяти километров имеется течная сучка, он её найдёт. Но долгое время я думала, что у меня не собака, а какой-то половой гигант. Сбегал он всегда именно перед моими отъездами, ровно в тот момент, когда мне надо было садиться в машину ехать в аэропорт. И начинались истеричные поиски на районе, с риском опоздать на самолёт. Похоже, это была месть Рэя — всё-таки парню явно хотелось на показы.

Но Рэй на меня не обижался, потому что при любой возможности я брала его с собой на разные светские мероприятия. А их было немало. Его фото замелькали в светских хрониках: «Рэй Долецкий на открытии Bosco Cafe. Рэй Долецкий на юбилее режиссёра Никиты Михалкова». Однажды его выбрали «лицом» или, как теперь говорят, амбассадором дорогого собачьего парфюма. Жизнь удалась.

Рэй был талантливым учеником, но он же стал и моим учителем. Из книг и от него самого я узнала, что хаски любят хозяев, которые уважают их любовь к свободе. А как это в себе воспитать? И как передать другому, что ты уважаешь его любовь к свободе? Для меня это был непростой урок. Я мало что понимала про любовь к свободе у других, с мужчинами была ярко выраженной собственницей, и это не всегда хорошо заканчивалось.

Для начала, когда мы уезжали гулять с Рэем в поля-леса, я отпускала его без поводка, беги куда глаза глядят. Время от времени разминала на «ко мне», «рядом», «ты где». Конечно, с полными карманами вкусностей в награду. На длинных прогулках я люблю поваляться в траве, отдохнуть-помечтать. Но ведь невозможно одновременно мечтать и думать о том, где твоя собака. Поэтому у меня были две любимые команды — «посиди» и «поваляйся». Эти две команды-просьбы Рэй выучил быстро, а вскоре научился и вовсе приходить на свист. Но, когда тебе четыре месяца, а это,

считай, юный подросток по-человечьи, он был безудержно любопытен — там новый запах, там мышки, там кроты. И приходилось в поисках юнца прочёсывать леса. Но я понимала, что все равно не должна цеплять его на поводок. Только голос и благодарность. Это уважение к его любви к свободе оказалось важным для дальнейшей жизни. Его и моей.

Другой урок, который мне преподавал Рэй, был похож на то, чему меня учили, но, видимо, недоучили папа и мама. У нас с ним был уговор: уезжая, я говорила, например: «Буду в час ночи. Ты выгулян, накормлен, лакомства там, вода тут — лежим, отдыхаем, ждём». Глаза в глаза, зрачки в зрачки. В час ночи я возвращалась, Рэй лежал, отдыхал и ждал, как договаривались. В один прекрасный день я загуляла и вернулась на дачу в полчетвёртого утра. Как он меня радостно встретил! Хвост пропеллером, лапы на плечи, облизана с ног до головы, а в доме — девственный порядок. И я подумала: вот что значит аристократ. Король, Best in show. Король даже потерпеть умеет, в отличие от моего папы, который за получасовое опоздание сносил голову. И я, страшно довольная, рухнула в ванную, переползла в кровать и заснула.

Наутро просыпаюсь и вижу свой длинный, с годами удлиняющийся, ряд туфель. Десять, потом тридцать пар, потом сорок, пятьдесят... Так вот, вижу странную вещь. Из образцово-показательного ряда обувной роскоши аккуратно вынута одна пара. Моя тогда самая нарядная, самая любимая, ограниченный тираж, из чёрной замши, а нос вышит десятью разными цветами пайеток. Туфельки принцессы. Dolce & Gabbana. Правая — была разгрызана в дым. Пайетки рассыпаны по полу, как конфетти, пятка попросту отсутствовала. Левую туфельку Рэй надкусил менее травматично. Но ту он загрыз насмерть. Тонкая месть.

Я хотела было жестоко рассердиться. А потом подумала: получила по заслугам. На такое опоздание мы не договаривались. А уговор дороже денег.

Погибшую пару туфелек и Рэя с ними и без я сфотографировала и на очередных показах в Милане отправилась к дизайнерам Доменико Дольче и Стефано Габбана. Сезон этих туфель прошёл, и в продаже их быть не могло. Я взмолилась: «Стефано, Доменико, если вдруг есть такая возможность хоть где-нибудь такие найти, я буду счастлива». Они хохотали как дети, повесили картинки себе на стенку, и в скором времени повторили для меня эту пару. До сих пор глаз радуют.

Из Рэя получился прекрасный отец. Он наделал много достойных детей. Чарльз Рэевич был из второго помёта. Я его оставила, хотя все кричали: ты сумасшедшая, два кобеля в доме перегрызут друг друга и тебя,

и это будет ужасно. Снова мифическая чушь. Всему лучшему, чему научился Чарльз (мы неофициально его называем Принц, потому что Королём был Рэй, и больше никто), он научился у отца. Как приходить в гости, не приставать к чужим людям с дурацкими просьбами, ложиться под обеденный стол и ждать конца трапезы, как не входить в дом с грязными ногами, как ждать помывки, и главное — как обходить лужи и не чавкать лапами грязь. Если сын шёл по луже, Рэй, обойдя грязюку, ложился в конце дороги и ждал, пока тот выйдет из неё изгвазданный, как свинья, накидывался на него и выдавал педагогических, так сказать, тумачков: бу-бу-бу, г-р-р-р-р, хватал за шкуру, таскал во все стороны — и только потом отправлялся дальше, на прогулку. Ровно так же продолжается сейчас: у Чарльза родился сын, и Чарльз учит Гая, как обходить лужи.

В свои шестнадцать с половиной лет, а хаски живут в среднем лет тринадцать, Рэй начал болеть. Диагноз — рак и метастазы в задние суставы. Ему было очень больно вставать на ноги после того, как ложился. Пошла к врачам: готова на всё, только чтобы ему не было больно. Прописали болеутоляющие, но сказали, что, как только собака долго не сможет сама вставать, это означает конец. Мне было странно это слышать, ведь мы привыкли к тому, что есть лежащие больные и за ними можно ухаживать. У собак по-другому. В какой-то момент ему стало трудно вставать даже с моей помощью, а поднявшись, он проходил два шага и падал. И плакал от боли.

Когда ваша первая собака умирает, это очень страшно. Ко мне приехали четыре самых близких друга. Вызвали врача и сели ждать. Рэй уже не вставал, но моргал. Подумала, сейчас войдёт какой-нибудь амбал-костолом с ледяным взглядом и с замызганным чемоданчиком, и как мне сделать, чтобы не отправить его восвояси и не видеть его совсем. Звон колокольчика на двери, кто-то из моих впустил врача в дом. Я с ужасом подняла глаза — шок. Вошёл молодой парень — высокий такой, худой, со спокойным, почти ангельским лицом поэта позапрошлого века и почему-то со знакомым умиротворяющим голосом. От него исходили покой и мягкость. Все сидели вокруг большого обеденного стола, я на полу рядом с Реем. Врач сказал: «Я сейчас сделаю ему снотворный укол. Он успокоится, и потом я введу усыпляющее лекарство. Если хотите проститься, то лучше сейчас. И ещё. Иногда, когда вводится снотворное, собака настолько слаба или больна, что может уйти уже во время действия снотворного». Я прощалась с Реем лёжа и просила его о двух вещах: «Не бойся, только ничего не бойся. И пожалуйста, жди. Мы обязательно увидимся».

Как сказал ангелоподобный парень, Рэй заснул и ушёл прямо под

снотворным.

Я решила его кремировать, чтобы развеять часть праха над подмосковными лугами и полями, где он гулял, а бóльшую часть, по совету близкой подруги Нины Гомиашвили, — над Индийским океаном. Отличная идея. Рэю бы понравилось жить у океана, тусить по длинным пляжам и прыгать на волнах. Ну и вообще — мир посмотреть.

Кремация и подготовка к вывозу праха за границу больше напоминали спецоперацию межгалактического разведуправления по вывозу золотых слитков неведомой пробы.

Страна, в которую мы с Ниной решили поехать, — Бали, и в ней царит суровый антинаркотический закон. Если у тебя находят что-то, напоминающее наркотики, арестовывают немедленно, дальше тюрьма и смертная казнь. Короче, нужен документ, подтверждающий кремирование. А в крематории говорят: «Вы сошли с ума, мы не даём таких документов, мы же кремировали, чек отдали, вот его и предъявляйте». Я прошу: «Ну напишите мне справочку». — «Какую ещё справочку? У нас даже бланка для такой справочки нет». — «Мне просто нужна бумажка, в которой написано, что крематорий № 284 на хуторе близ Диканьки кремировал собаку». В общем, меня послали подальше. Спас знакомый ветеринар, написал справку об усыплении. А потом пришлось делать нотариально заверенный перевод этой справки со всеми госпечатями. Прах пересыпали в пластиковый контейнер для бутербродов и отправились в путь. На границе никто бровью не повёл.

Нина, которая прекрасно знает Бали, отвезла меня в монастырь XII века на высочайшем уступе скалы над океаном. Идём мы по дороге паломников, монахов и туристов, повсюду прыгают павианы, которые что-то норовят у тебя отнять. Я прижала драгоценный контейнер к груди, потеряла манёвренность, и какая-то наглая обезьяна сорвала у меня с головы очки Ray-Ban. Я их с трудом отнимаю у наглой скотины и говорю: «Нин, но главное, когда мы заберёмся наверх, чтобы у нас не получилось, как в «Большом Лебовски». Помнишь, он пошёл развеивать прах своего друга, ветер подул не туда, и весь прах оказался у него на физиономии». Проползаем по узкому проходу меж древних стен к самой высокой точке монастыря, находим укромный кусочек мыса, садимся на корточки у обрыва — и ветер полностью утихает. Это знак: я попала именно туда, куда мечтала и должна была попасть.

Я снова и в последний раз прощаюсь с Рэем, мы обе плачем, но Нина, закалённый собачник, говорит: «Всё, любимчик, отпускай, пока ветра нет». Я встаю в полный рост, Нинка кричит: «Зачем ты встаёшь, с ума сошла??

Бросай сидя!» Мысик-то на скале крошечный, едва вдвоём уместились. Я и говорю: «Не, странно как-то сидя отпускать в такое путешествие». Встаю, Нина меня держит за ноги, вокруг неземная красота — балийский медный закат, святые стены монастыря, божественный покой. Открываю контейнер и отправляю прах в воздух, в океан: «Ну, Рэй, лети, смотри другой мир, зажигай там по полной, и всё будет хорошо». Слезы у обеих льются уже рекой. И ровно в этот момент случается какое-то природное завихрение, прах совершает над нашими головами кульбит, и одна его часть плавно, красиво, воронкой летит в океан, а другая, по неведомому мне закону физики, отрывается от этой спирали, и я в мгновение превращаюсь в альбиноса с белыми ресницами. Вспомнила «Большого Лебовски»? Получи. Мы отряхивали прах друг с друга, уже на корточках, и плакали на этот раз от нелепости нашего вида.

* * *

Проводы удались. Когда буду писать завещание, попрошу, чтобы меня провожали точно так же. Много печали и много радости — радости полёта, того самого, что ты в последний момент даришь любимому существу. В этих проводах есть достоинство жизни и достоинство смерти. В моей системе ценностей так и должны уходить настоящие Божьи существа.

Лапша некорейская

Хорошо было в детстве — банка с гуталином ни у кого не вызвала аппетита. Не то что теперь — мыло для рук похоже на кусок малахита, скраб для тела — на малиновое варенье, пена для ванн — на пирожное с кремом и ягодкой сверху.

Заезжают тут друзья ко мне на дачу: «Хотим лапши с острым корейским соусом!» А мне обычную рисовую готовить скучно, сто раз ели. Бегу в кладовую, беру белую и ещё коричневую, из гречневой крупы — лапшу-собу. Если их отварить вместе, они будут лежать на тарелке такими пёстрыми хвостами, а сверху уже корейский тёмно-рубиновый соус, и на финалочке — несколько веток ярко-зелёной кинзы — вкусно, красиво и, главное, неожиданно.

Довольная своим творчеством, вытаскиваю пачку длинной корейской круглой лапши и пачку японской коричневой. У неё ещё такая коробочка была красивая, в японских иероглифах. Кидаю в кипящую воду и ту и другую. По времени варки рисовая и гречневая лапша должны совпасть. Даже если одна из них будет чуть больше *al dente*, чем другая, это создаст драматургию блюда. Варю, всё прекрасно, пробую лапшу — белая уже почти сварилась, а коричневая, даже когда её придавливаешь, не рвётся. Думаю: вот я себе поставила задачку, теперь мне придётся как-то отодвинуть коричневую и вынуть поскорее белую. У меня ещё есть паратройка минут — понаблюдаю. И подбегаю периодически к плите, открываю, помешиваю, колдую над столом, пью вино-лимонады — всё, как обычно на даче. И тут думаю: пора. И вижу, что белая лапша уже не *al dente*. Попробую, думаю, коричневую: вдруг она готова? Достая свою собу, начинаю жевать, а она не жуётся. Она у меня разгрызается и совершенно не собирается таять во рту. Странно. И в какой-то момент она ломается и будто выстреливает: у меня в рту полная чаша благовоний, сандала, иланг-иланга и лемонграсса.



Оказалось, что я приняла палочки благовоний из коробки с иероглифами за лапшу и, ошaleвшая, стою и грызу их недоваренные, и мне

всё хуже и хуже.

Где та зубная паста, которая избавит меня от этого измывательства? Рот чистила, что заводная мартышка. Потом была пятиминутка хохота и издевательств со стороны друзей. Сначала никто не хотел поверить, что такое могло вообще произойти. Я тщетно пыталась всунуть полуотваренную палочку дорогого японского благовония всем, кто пришёл, — почему-то отказались.

И ведь когда всё это варилось, никакими благовониями не пахло. Вот почему? Дальше, естественно, было уголовное расследование: каким образом ароматические палочки могли оказаться в продуктовой кладовой среди лапши?

Оказалось, что, когда я приехала из очередной поездки, моя помощница по дому решила присоседить эту красивую коробку с иероглифами к лапше, на полку для всех японо-корейско-китайских приправ, десертов и макарон. И я ей всегда говорю: «Не обращайтесь внимания на иероглифы, это в мою кулинарную». Вот она послушно и поставила.

Как-то привезла из Таиланда подруге баночку с белоснежным кремом на кокосовом масле и сказала: «Не ставь его в холодильник, он там сразу превратится в камень, потому что кокосовое масло от холода превращается в плотную массу». Она пришла домой и сказала маме: «Ты же любишь конфеты Raffaello с кокосом. Тут настоящее кокосовое масло, его можно намазывать на хлеб или на печенье». В общем, мама поверила, намазала себе бутерброд и успела даже его съесть. Выжила.

К чему это я? Чем мне не угодил гель для душа цвета и запаха свежей малины? Выходишь из ванной ягодка ягодкой. А мне не хочется, чтобы мир, со всей его роскошью и говном, куда-то исчез. Растворился в симуляциях. Он дорог мне и любим такой, какой он есть. Почему мы говорим «добрая старая Англия»? А потому что в том старом, что прошло проверку временем, есть надёжность, качество и вековое тепло. Свечка, растущая из головы Венеры Милосской или сумочка, имитирующая томик Стендаля «Красное и чёрное» — забавно. Но не более того. А главное — надоедает быстро.

И как же мерзко на душе и во рту, когда яблоко из корзины оказывается куском новомодного мыла.

Buongiorno, гамарджоба

Нет ничего лучше ранней осени в горах с хрустальным воздухом и запахом сорванных виноградных гроздьев. Грозди пахнут ещё не виноградом — скорее виноградным листом. А на холме стоит двухметровый мангал, на нём поджариваются стройные распластанные цыплята, которые свободно живут только на Кавказе. К дебылым курам, которых мы покупаем в городском магазине, эта еда не имеет ни малейшего отношения. И вот летят на мангал брызги никому не ведомого соуса, и сочный, сладковатый с дымным ароматом цыплёнок отправляется прямо в рот, и ты оставляешь от него маленькую твёрдую часть позвонка — всё остальное уже давно внутри. И песни. И пряные травы.

А как пахнет накрытый грузинский стол! Скатерть из блюд, одно на другом — зелёное лобио, красное лобио, пряная кинза, островатый цицмат и помидоры с ароматом их веточки, горячий хлеб, малахитовый пхали, хачапури с сочащимся янтарным сыром. От каждого из блюд поднимается свой запах и сливается с остальными в один неповторимый букет. И никогда в одном и том же блюде не будет повтора специй — если в одно пошло чуть больше корешков кинзы и, скажем, зиры, то в другом будет, наоборот, обжаренный сладкий золотистый лук и горьковатый кориандр.

Переезжаешь через горы и перевалы и оказываешься где-нибудь под Татевом, неподалёку от монастыря XII века в Армении. Идёшь домой к друзьям, которые как раз делают лепёшки женгялов хац. Вся тайна и вкус этой тончайшим образом раскатанной лепёшки в том, какую в неё мелко-мелко-мелко рубят траву. Половина этих трав растёт только в Армении вдикую, и произнести их названия невозможно, а уж найти на русских или европейских рынках подавно. В каждом доме женгялов хац, как хачапури в Грузии, будет разный. Но когда ты наконец берёшь его в руку — а он как тонкая простыня, сквозь которую просвечивают десять оттенков зелёного, — складываешь его нежно пополам, откусываешь и... сколько я съедала их за один присест, страшно вспомнить. В центре стола — громадная фаянсовая в цветах ваза с горой самых ароматных розовокожих персиков в мире. А по бокам стоят фарфоровые белые блюдечки с крупномолотым кофе, который поджигают, чтобы отпугивать ос и назойливую мошкару.

Любая национальная кухня — как тембр голоса, который ты один раз слышишь и после этого не забываешь. Или как запах: не ошибёшься, что

ты пришёл ужинать в грузинский дом. У тайцев за столом будут щекотать нос кокосовое молоко, лимонная трава и лемонграсс, листья кафира, (двоюродный брат лаврового листа благородных кровей), имбиря и лайма. Каждый раз, когда я готовлю тайскую еду, пара консервативных друзей обязательно скажет: «У нас сегодня опять духи будут подавать?»

Зайдёшь к японцам — на голову сваливается тишина, уравновешенность, порода, и всё на цыпочках и в белых носочках. Вкус тонок, нож опасно остр, десерт едва сладок и свеж. Нация, которая восхищается трещинками на чашке прапрадедушки, где эстетизм — главный тиран, повелитель и монстр, стремится к бесконечной гармонии.

А каковы индийцы? Это сплошное колдовство. Один и тот же порошок карри любой остроты каждая семья толчёт по-своему. А этот хлеб нан! Нан с чесноком, нан с топлёным маслом, нан с кориандром, нан с кунжутом, нан на масле, нан без масла. Самые банальные цветная капуста и картошка, морковь и зелёный горошек чудесным образом превращаются в тягучее пряное рагу пав бхаджи. Хоть ложкой ешь, хоть на тот же хлеб. Ну и, конечно, эти кубики из филе курочки — чикен-тикка — всегда осыпанная пурпурного цвета специей — гаром горят на тарелке. Все вроде просто, но секрет массивного выделения слюны так и остаётся секретом.

Когда занырываешь в любую национальную кухню — будто улетаешь на другую планету. И поразительно, что, если едешь в страну или идёшь в очень хороший ресторан этой национальной кухни, тебе никогда не придёт в голову, условно говоря, запивать суши водкой, а чакапули — ромом. Просто не придёт. Потому что после веточки цицмата, крошечного кусочка горячего хачапури и ложки чакапули тебе нужно выпить бокал хорошего красного вина. А если уж оно грузинское и домашнее, то большего счастья нет.

На этих планетах свои законы, которые так сладко не нарушать, потому что тебя, только ты сел за стол, начинает качать в люльке запахов. Ты ещё даже не донёс ложку тайского супа, но уже счастлив, потому что только что туда выжали чуть лайма, чтобы открылся кокос — и всё, ты уже забываешь, что тебе нужен алкоголь. Тайская еда вообще не очень сожительствует с алкоголем. А с японской, тонкой, аристократичной, как раз идеально идёт sake. Если взять что-то крепче по градусу, оно убьёт сочетание маринованного имбиря со свежим лососем.

Мне кажется, что во всех этих кулинарных вселенных есть удивительная магия. Эти столы, которые я так люблю — и длинные бесконечные, и крошечные крохотулечки, как в Таиланде. Тебе нальют том-яма, но ты со своим приятелем едва рядом встанешь, и всё равно это будет

самая вкусная еда на свете.

Обучаясь её готовить, ты словно подступаешь к изучению иностранного языка. Вышел из аэропорта в Дели — и ещё нет никакой еды, но ты уже безошибочно чувствуешь дух Индии. Дух начинается с запаха.

Я придумала свой любимый завтрак, соединив в нём две самых вкусных страны — Италию и Грузию. Называется «buongiorno, гамарджоба» — на кусочек круглого рубинового помидора, отрезанного тонко, в стиле карпаччо, кладёшь кусочек только что обжаренного на гриле сулугуни. Помидор — ледяной, сулугуни — раскалённый. Кисловато-сладковатый холодный помидор приглушит горячий, тающий под ножом сулугуни, и это самое счастливое начало твоего дня.

С той же страстью, с какой я люблю национальные кухни, я люто ненавижу все проявления шовинизма и националистической агрессии. И не понимаю, что с этим делать. Всё-таки во мне намешаны шесть кровей, и они все родные, все мне принадлежат, а я принадлежу им. И всякий раз, когда я заступаю на одну из территорий своих кровей, я себя чувствую дома. Даже притом, что я, например, свободно не владею польским, но в Польше я себе иду, и меня всегда разбирает хохот, вспоминаю какие-то шутки из детства. Но, когда я поехала в Баку снимать Мехрибан Алиеву, перед интервью с ней меня принимал её пресс-секретарь. Мы поехали с ним в чудесный классический кавказский ресторан. Был как раз сезон перепёлок. А мы знаем, как богат Кавказ, и всё безумно вкусно, весело, и мы говорим с ним о стране, о Мехрибан. Вдруг за столом кто-то упомянул чью-то армянскую фамилию. И в этом райском ресторане прорывается страшный поток желчи, злобы, агрессии в адрес всего, что можно себе представить в Армении. «Люди-ничтожества», «монстры», «агрессоры», «подонки», «страна не стоит ничего» — и всё в таком роде.

Повторять это вслух страшно, особенно мне. Чёрный ужас. Я должна была сказать этому пресс-секретарю, что не в состоянии это слушать и вынуждена уйти, потому что: а) это неправда, б) он оскорбляет моих предков, и в) любые проявления такого рода агрессии — это гадость и нарушение законов гостеприимства.

Но промолчала, понимая, что будет сорвана работа большой команды журнала и усилия многих людей будут уничтожены. Сейчас я сожалею, что сдержалась. Сожалею и стыжусь. И даже дело не в том, что мой прадед был одним из тех людей, благодаря которому Армения спаслась от турецкого ига. А в том, что ненависть к кому-либо по национальному признаку — одна из самых страшных низких и исторически опасных эмоций, за которые человечество уже заплатило слишком высокую цену.

А вот когда национальное сознание склонно к мощной самоиронии, агрессия слабеет. Я люблю евреев, которые рассказывают еврейские анекдоты. А армянское радио? А русские, умеющие посмеяться над собой? Про англичан и их юмор вообще молчу.

Национальная кухня и национальный юмор — это первое, что я ищу в любой новой для меня культуре.

Сучка по вызову

Жили у меня два пса. Вполне себе человеческие типы. Два кобеля породы хаски. Папу зовут Рэй, ему четырнадцать лет, он мудрый отец и вообще лорд.

Быстро выяснилось, что без продолжения рода никак, его скрестили с такой же благородной леди хаски, и получился сын. Сына зовут Чарльз. Ну, то есть вместе они Рэй Чарльз, что позволяет сделать правильный вывод о моих музыкальных пристрастиях. Чарльз — бесконечно улыбающееся, солнцеподобное и ко всем (особенно к дамам всех пород и подвидов) благоволящее существо.

Но моя история — из бурной биографии Рэя-отца.

Как только он подрос, обнаружилось, что он может сорваться с места, убежать с участка, свалить с концами. За сучкой. Даже если она текла в пяти километрах от дачи. После неоднократных часовых поисков в пижаме в пять утра по Пахре, я судорожно набросилась на специальную литературу. И в американской вполне себе базовой книге про хаски читаю написанное чёрным по белому: если вы, дескать, купили кобеля хаски, учтите: их сексуальность исключительно высока. И если имеется сучка в двух, трёх, восьми километрах, он уйдёт её искать. Просто имейте это в виду — говорит мне американская книжка. И успокаивает: если в доме все в порядке, и отношения с хозяевами гармоничные, он обязательно вернётся.

Ну и, в общем, всё как по писаному. Рэй регулярно сбегает. А я регулярно совершаю ночные пробежки в исподнем, а днём обклеиваю заборы и деревья Пахры с воззваниями, личным телефоном и обещаниями с три короба. Натурально, у него на ошейнике жетон с моим мобильным номером. Но он может заблудиться, его могут покусать, его может сбить машина, мы никогда не будем знать, в какую сторону и на сколько километров он ушёл, потому что всё, как в американской книжке и сказано — он готов и на очень далёкое приключение. Конечно, порядочной и интеллигентной публике в округе оказалось немало, звонили, находили. Да и сам он возвращался, просто порой дня через два. Вопрос надо было как-то решать. Нервы-то не железные.

И тут как-то раз ко мне на дачу заехал мой друг, журналист Игорь Свинаренко, и, услышав мои скорбные истории про сексуальные подвиги Рэя, говорит: «Слушай, я тут для “Медведя” написал смешную заметку про публичные дома для собак». Я столбенею: «О!»

Так как вся эта затея конфиденциальна, чтобы не сказать нелегальна, договариваться нужно аккуратно. Но, понимая, что мечта сбылась, я звоню и пытаюсь, так сказать, объясниться.

— Здравствуйте, — говорю, — у меня ну очень сексуальный кобель. Я хочу ему счастья, и мне нужно это как-то обеспечить. Он часто уходит, так сказать «по бабам», а это приводит к рискам, которые я не в состоянии выдержать. И на том конце провода мне говорят:

— Да вообще не вопрос! Вам когда?

— Мне — хоть завтра! Только вот расскажите, что да как да почём.

— Да вы так не волнуйтесь, мы приедем. У нас проституточки очень чистые. У вас какой вес?

— У нас килограммов тридцать. А какие у вас породы? — интересуюсь.

— Ой, ну оно вам надо этим озабачиваться? У вас хаски, да? Ну так у нас есть колли, очень хорошая проституточка. Ему подойдёт.

— Хорошо. А сколько за выезд?

Оказалось, кстати, недёшево. Долларов пятьдесят, наверное, в пересчёте.

В воскресенье на «Жигулях» приезжают две женщины, крепких форм с жёсткими коваными лицами. Собака у них в машине, но они её не выпускают, дескать, давайте, заводим их в дом.

— Ну что вы!!!! Рэй в доме не может, никак. Он привык завоёвывать женщин на свободе.

— Слушайте, — тётки хором, — у нас тут на вашу романтику времени нет. Ещё заказов полный день!

Уговорила тёток на участок. Из машины выскакивает их жизнерадостная девочка-колли, а тётки её держат на коротком поводке. Рэй удивлённо смотрит на тёток.

— А чёй-то он у вас такой нерешительный???

Рэй — на меня, потом на девочку-колли, потом на тёток, потом опять на колли. Вижу, у него шок. Он же привык к увлекательным приключениям, к отношениям, так сказать. И не двигается.

— Чёй-то он у вас какой-то вялый? — настаивают тётки.

— Ну если Рэй вялый, то я — Майя Плисецкая. Он совсем не вялый. Он просто так не может, на поводках. Давайте отпустим вашу собачку.

— Щас они тут будут развлекаться по вашим угожьям, а нам тут часами ждать?!

Ни в какую тётки не соглашаются: у них бизнес, вызовы.

— Понимаете, иначе ничего не произойдёт, — говорю. — Хаски —

про свободу, без неё никуда.

Соблазняю их чаем, хачапури, которые только что напекла. Всё что угодно, только давайте выпустим собак оттянуться на свободе. Вешаю тёткам лапшу: участок большой, заборы прекрасные, ничего не случится, и Рэй её никуда не отпустит, потому что видно, что она ему нравится. Вешаю, вешаю, а у них клиенты ждут, а у нас романтика, жажда свободы и любви.

Искусная риторика и запах свежих хачапури сделали своё дело. Колли спустили с поводка. И тут началось.

Они понеслись друг за другом. Рэй был заметно озадачен, потому что до этого в его жизни были только побеги к чужакам. А куда и зачем бежать? Туда, где бездомные собаки, за забор, на чужой участок в культурном дачном посёлке не забежишь. И судя по травмам, с которыми он возвращался со своих эскапад, парень бился всерьёз. Мы его потом зашивали, бинтовали, мазали вонючей мазью, которая сращивает шкуру с тканями, и приводили в божий вид. А тут — никаких тебе препятствий. И у него в глазах было стойкое недоумение.

Разумеется, страсть победила и всё у них произошло, причём по полной программе. Кстати, вся эта беготня и знакомые нам движения сзади — ерунда. А вот когда собаки входят в замок, это и есть самый главный момент — момент абсолютной обездвиженности и экстаза. У обоих — почти стеклянные глаза, и они несколько минут находятся в состоянии полного транса. Я этого никогда прежде не видела, потому что никогда не выписывала собаку-проституточку.

Всё закончилось счастливо. Колли уехала. Рэй, «усталый, но довольный», пошатываясь, лёг на поляну под лилии и пролежал на ней до самого вечера. На морде у него была написана абсолютная благодать.

Ведь после всех его прежних загулов я его находила и истерично чехвостила, а у него оставалось чувство вины. Завершением любого побега были скандал и крик: «Я тебя восемь часов ищу! где тебя носит! я вся извелась, я боюсь за тебя, у меня нервы сейчас лопнут!» И он всегда должен был лебезить, смущаться и извиняться.

А здесь первый раз в жизни — такая вот гармония. И сама не кричит, и я доволен. Вот оно счастье.

Шмоточки — девочки

Коко Шанель причитала, что, если б на свете не осталось мужчин, женщины ходили бы голые. Её соперница по жизни Эльза Скьяпарелли уверяла, что женщины одеваются, чтобы раздражать других женщин. Мужчин в этой ситуации вообще страшно слушать: их, Ивановых, не разберёшь. Ну и как водится, поделюсь своим бесценным.

Выхожу я замуж и в свои восемнадцать советуюсь с мамой, конечно.

— Иди в длинном бело-голубом из парчи, — советует мама.

— Мам, хочу в бело-розовом на пуговках, обтянутых шёлком, и со шлейфом.

Чисто Гоголь: «Фи, маменька, голубое! Мне совсем не нравится...» Но всё равно пошла в голубом, потому что только мама могла сорок пять минут разглаживать утюгом мои вьющиеся волосы. По вопросу одежды это был последний в жизни компромисс. Смотрю на старые фото и никакого умиления: ну что за село? Я ещё не знаю примету, что в голубом-то как раз и нельзя. К разводу.

И девочка отправилась во взрослую самостоятельную жизнь. Завертелись хипповые 70-е, и не сшить себе светло-лимонный хлопковый «ансамбль» из короткой юбки с коротким топом на завязке под грудью с обнажённым животом — себя не уважать. Группа «АББА» нервно курила в коридоре. Брюки клёш, которые подметали пыльные московские улицы, были особым шиком. А уж когда мне привезли из-за границы джинсы Levi's, но не классические, а широкие клешёные, да ещё с двойной строчкой сзади по центру — я стала главной на университетском «сачке», и моему пижонству не было предела.



Алёна Долецкая, 1985 г. Фото: Валерий Плотников.

Глянцевых журналов в помине не было, зато были пластинки «оттуда» с любимыми звёздами на обложке и, конечно, было кино. А ещё у тех, кто любил одеваться, были свои портнихи, Наташеньки и Олечки. Они не всегда врубались в творческий порыв, но под чутким руководством отшивали красивые, скажу я вам, вещи.

Но, когда меня укачивало в метро от учебников по языкознанию и латыни, главным развлечением было одевать, раздевать и переодевать своих визави. Дорога в университет каждый день — минут двадцать, времени полно. Этой, пышногрудой, платье бы чуть приталить, чтобы у тела форма появилась, и удлинить его на полтора-два сантиметра. А вот широкоплечий пиджак ей с такой грудью совсем нельзя, надо бы снять. А это пальто тухло-сиреневого цвета, который угробит любую красотку, вообще бы сжечь дотла. Ей, с такой алебастровой кожей и рыжеватыми волосами, нужен изумрудный. Кстати, волосы... И так до объявления «Следующая станция “Университет”!»

В аспирантские годы я поставила спектакль в английском театре МГУ. За основу взяли бродвейский мюзикл *The Lady or the Tiger*. В год ввода советских войск в Афганистан в 1979-м, мы морочили головы партийным цензорам непонятным для них английским языком. Сообщали миру, что, несмотря на деспотизм и тупость правителей, любовь победит всё. Музыку к нашей постановке адаптировала рок-банда Максима Никулина.



Алёна Долецкая, 1987 г.

Мы с подругой Машей Шишлиной шили костюмы для всех двадцати актёров. Восемьдесят метров серой льняной бортовки, аппликации из меха, крашеного «под горностай» — для карманов императора! — метров двадцать золотой тесьмы и килограмм разноцветного стекляруса — костюмы были вполне бродвейские. На репетиции я ходила в свободных балахонах, дополняя их платками и браслетами от запястья до локтя — наверное, для пущей богемности процесса.

Начало 80-х навалилось новым статусом: закончен филфак, аспирантура, защищена кандидатская, меня пригласили остаться преподавателем на родной кафедре. Любимая униформа — джинсы с мужской рубашкой — увы, не соответствовали.

Но, когда мы подружились с Валерой Плотниковым, тогда первым глянцевым фотографом, стройным голубоглазым красавцем из Питера, я не

удержалась и согласилась ему позировать. Он снимал наших кинозвёзд для обложек главного тогда журнала о кино «Советский экран». А от его фото Высоцкого и Влади оторваться было невозможно. Ну как тут устоишь? На съёмки я пришла в привезённых папой из Англии джинсах Рере и в белой рубашке. Застыть перед камерой я не могла, постоянно елозила на его стульях и моргала, доводя его чуть ли не до истерики. Через пару дней он показал мне снимки со словами: «А ты ничего. Вполне себе звезда».

Как следует позвездить мне приспичило на семидесятилетии отца — ведь «будут все», музыканты, актёры, писатели, журналисты. И очень хотелось быть не как все. И тогда я выпросила у своего приятеля старинный английский чёрный смокинг, надела его с сапогами на высоченных каблуках и — пошла. Эффект произвела ошеломительный. Все-то ждали фифу в платьице. И с этого смокинга у меня проснулась любовь к винтажным вещам, которая не проходит до сих пор.



Николас Оппенгеймер, Борис Асоян, Алёна Долецкая, 1992 г.

В конце 1987 года назрела поездка в Лондон: меня там ждал жених. Дублёнкой или шубой его не удивишь, и я решила в очередной раз выпендриться. Придумала и заказала портнихе пальто из чёрно-серого твида (Англия ведь родина слонов и твида, если кто забыл). Петли и все швы отделаны тонкой перчаточной кожей цвета горького шоколада, рукава реглан, манжеты оторочены огненно-рыжей лисой. Портниху я замучила до полусмерти, но оно того стоило. Мужу портнихи, скорняку, тоже досталось. Я умолила его выкроить мне варежки из того же лисьего меха, но мех только сверху, а на ладонках — та же перчаточная кожа. А ещё он сплёл мне кожаную верёвочку, чтобы как в детстве — эти невероятные варежки не терялись. Вместо зимней шапки — бандана из той же лисы, подбитая шерстяным крепом. Смотрю на недавние показы Prada и Moncler и

понимаю, что пальто было весьма провидческим. Не помню, как отреагировал на мой «прикид» жених, но выходить за него замуж я раздумала.

В начале 90-х я вышла замуж за дипломата, и жизнь пошла под знаком «положение обязывает». Статус жены посла, официальные приёмы, встречи с представителями крупного африканского бизнеса, с учёными и издателями, заставили плавно перейти к образу леди. Собрала волосы на затылке, открыла лоб, стала носить летящие, почти прозрачные сарафаны, платья без бретелей и с открытой спиной. Как мне тогда нравился этот look!

А потом я приняла предложение о работе на крупную алмазную корпорацию «Де Бирс». Появились возможности, о которых недавно я не смела мечтать, и я предалась шопингу. Первая командировка в Лондон, и главное открытие — лондонский универмаг Harvey Nichols. За полчаса я с удовольствием угрохала свою тогдашнюю месячную зарплату на чёрный невесомый пуховик Donna Karan с красным подбоем, большим воротником-капюшоном и без единой пуговицы. На третьем этаже магазина лоб в лоб столкнулись с бывшей однокурсницей, которая с изумлением произнесла: «Долецкая, тебя вообще не узнать. Ты такая стала...» Эту фразу я потом буду слышать многократно и каждый раз буду удивляться — я ведь такая же, как была.

Что там дальше?



Алёна Долецкая, 2007 г.

Лет через шесть, в конце 90-х, отправилась на интервью с журналистом The Sunday Times по случаю запуска Vogue в России. Выбор «в чём идти» был непрост: то ли белый пиджак Cacharel с широченными брюками Miu Miu или строгий тёмно-синий брючный костюм Zaga. Остановилась на костюме. Помню взгляд оценивающий журналистки, к которой я пришла на интервью. На страницах престижного лондонского издания этот тёмно-синий костюмчик был упомянут в первых строках с такой английской сухостью, что до меня дошло — «уппс, похоже, Сарочка

дала маху».

«Не то надела, не то взяла с собой, не то уложила в чемодан» — это меня нагонит ещё не раз. Хотела поддержать русских дизайнеров и в статусе главреда Vogue заявила на ужин владельца издательского дома в красном парчовом полупальто от Чапурина, ворот и рукава которого были отделаны длинной рафией, типа соломы, получила брошенные в спину шёпотом «Oh, these Russians» и десять пар поднятых бровей. Ну и что? Час эпатажа, зато сказала, что хотела.

Поначалу в показах мод меня очень озадачил такой парадокс: подиумы горели всеми цветами радуги, а первый ряд с главными всего главного был окрашен исключительно в чёрный цвет. Да и второй и третий ряд не отставал. Что это было — униформа? Заявка на принадлежность к касте? Скоро я просто пойму, что мода с её кажущейся легковесностью — жёстко структурированная разновидность бизнеса. В моде надо чётко понимать иерархию влиятельных и молодых, состоявшихся и начинающих, статусных и неизвестных. Униформа судей — чёрная.

В позиции главреда мне было легко и приятно прикипеть к LBD (на модном жаргоне little black dress/маленькое чёрное платье). У меня оно превращалось в маленькое розовое, маленькое белое и даже маленькое цикламеновое. Narcisso Rodrigues, Dolce&Gabbana, YSL, кажется, кроили под меня. Вышло уместно, органично и не противоречило любимому принципу Пушкина о соразмерности и сообразии.



Алёна Долецкая, 2017 г.

И тут, в начале нулевых, незаметно, но верно, подкрался... как бы это сказать? — новый поворот в модном мире. Жирно смазанные шарниры модных империй закрипели. На дворе финансовый кризис. Знаменитых дизайнеров увольняют, как бухгалтеров в прачечных, журналисты уже не бегают за новыми назначенцами, и пишут в жанре «говорили два пресс-релиза». На модном фронте широкомасштабную и изобретательную атаку ведёт войско масс-маркета. Модники и пажоны всего мира рванули в Uniqlo, And Other Stories и прочие Zara.

Не утихомирить нас, девочек. Новые дизайнеры продолжают творить и продавать в интернете. Особо продвинутые модницы осознали, что в год сжигаются сотни тонн непроданных курточек и платьицев, юбочек и

брючек, и планету надо спасать от мусора и от неумного нашего консюмеризма. Теперь их волнует не только модный покрой и имя дизайнера, но и экологичность производства и социальная ответственность.

Скоро девичьи страсти утихнут, общая сознательность повысится. И вот представляю, как молодая невеста говорит своей мамой лет так через пятьдесят-семьдесят:

— Ма-а-ам, может, мне пойти в светло-кремовом шёлке из апельсиновой кожуры от Роберто Сунь Выня?

— Ну, детка, а почему не в жемчужного цвета от Изольды Кватимото из конопляных волокон?

Чисто секс?

Моя потеря девственности с мужчиной, к которому я испытывала серьёзное чувство, была почти комична. Но секс вошёл в мою жизнь как что-то совершенно естественное, и важно — как логичное продолжение влюблённости. А вот как у мужчин случается упражнение в стиле пушкинского «вчера я выеб эту Керн» — я долгое время не понимала.

У меня много подруг, которые в середине разговора про кино-вино-домино могут сказать: «Ой, слушай, ну невозможно уже, надо бы сексом заняться». «С кем, — спрашиваю. — Кто новый роман?»

«Да нет у меня никакого романа, — отвечает. — Просто надо пойти позаниматься сексом. Как говорится, для здоровья». И вот про это здоровье я никак не могла понять. Вроде с точки зрения физиологии — да, это важно — поднимать пульс, опускать пульс. Но, если в этом нет сердечной составляющей, моя физиология спит.

Поехала я как-то в дом творчества кинематографистов в Пицунду, где подружилась с девчонкой. Её звали Элька, и выяснилось, что мы в одно и то же время читаем Набокова, только я — «Машеньку», а она — эссе «О пошлости». И мы принялись вместе гулять, играть в теннис, плавать и искать места, где можно позагорать голышом, чтобы не оставалось белых следов на плечах.

И вот как-то за завтраком она мне говорит: «Оглянись и обрати внимание на того парня. Он нереальный в сексе». Оборачиваюсь. Идёт такой высокий, поджарый тридцатилетний блондин, спортивная походка, приятный, но не то чтобы умереть не встать. «Откуда ты знаешь?» — я сижу как истукан. «Верь мне. Вижу по походке, по его пальцам, по тому, как он берёт ложечку и размешивает сахар в чашке, — я тебе отвечаю, Долецкая, он нереальный в сексе». Для меня это был китайский язык. Снова выкручиваю шею. Он сидит и медленно так, задумчиво мешает сахар в чае. Подруга говорит: «Ты понимаешь, что он с тебя не сводит глаз?» Я говорю: «Вообще-то я сижу к нему спиной».

На следующий день после завтрака я сталкиваюсь с блондином у лифта, и выясняется, что он живёт на нашем этаже со своим пятилетним сыном, здрасте-здрасте. Парень как парень, никаких особых посылов.

Прихожу в номер и говорю Эльке: «С чего ты взяла, что он ко мне проявляет интерес? Он такой вежливый, никаких пассов в мой адрес».

— Так, Долецкая. Он — твой, только моргни. Я знаю.

— Если он хочет реально со мной знакомиться, — говорю, — пусть шевелится.

И вдруг действительно подходит ко мне подозреваемый секс-гений и говорит:

— Может, поиграем в теннис?

Сыграли в теннис. Никаких романтических намёков, просто милый, вежливый мужчина. Как-то за ужином он идёт мимо и говорит: «А что, какие планы на вечер?» Подруга технично испаряется из-за стола, и я даже не замечаю, как остаюсь с ним один на один.

— Мм, даже не знаю. Сегодня нет ни кино в Доме творчества, ни концерта...

— А я привёз чудесное грузинское вино, приходите ко мне, поболтаем как люди, наконец!

Мне неудобно спросить, куда он денет маленького сына. Не втроём же выпивать? Продолжаю светскую беседу, типа «чем вы занимаетесь». Оказался — оператор, разведён, и у него как раз его папин месяц с сыном: «В общем, давайте вечером поболтаем, потому что сейчас мне нужно осваивать с сыном прыжки в высоту и в длину. Жду вас часиков в девять».

Прихожу с персиками размером со страусиное яйцо и вижу: номер большой на двоих, с балконом и с альковом, в котором без задних ног спит его сынуля. На балконе стоит накрытый столик с вином. Дело начинало обретать романтический характер.

Садимся, над нами чёрное небо в звёздах, шум прибоя, он наливает вино, я режу персики. И тут я как-то совсем не понимаю, что происходит, вино перестало журчать, персики замерли, а я через секунду оказываюсь в его руках в каком-то неожиданном, но упоительном поцелуе. Уже в следующую минуту я нахожу себя, как говорят англичане, в его постели.

Ни одного резкого движения, ни одного бестактного прикасания или неуместного слова. Ещё минут через пять я понимаю, что нахожусь в постели с человеком, который, похоже, дежурил рядом со мной всю мою предыдущую интимную жизнь, эдак лет тридцать. Он откуда-то знал именно то, что мне нравится. Тут я вспоминаю, что вообще-то мы не одни в этом номере. «Ой, — говорю. — Подождите, там спит ваш сын». «Ничего-ничего, — отвечает, — у него очень крепкий сон». Дальше всё продолжается на высоком уровне с любой точки зрения.

С трудом справляюсь с тем, что надо правильно повести себя в пиковый момент, не разбудив сына и творческих соседей. После виртуозно оркестрованного и синхронного finale он нежно и осторожно держит меня в объятиях. Тут мои внутренние часы подсказывают: светает. И я говорю:

«Пожалуй, я пойду. Спокойной ночи». Ни слова возражений. Он помогает мне тихо исчезнуть, и я отправляюсь в наш номер. Подруга тут же просыпается:

— Боже, пять утра? А почему ты вернулась?!

— Люблю спать в своей кровати.

— Ну как? Как это было?

— Ты была права, Элька. Он действительно маэстро. Может, он профессиональный жиголо?

Я этого так и не узнала — больше я к нему не пошла. Блондин уехал дня через три. Бумажку с его телефоном сдуло ветром с балкона, я смотрела ей вслед и думала: лети-лети, лепесток... Осталось послевкусие: занятная эта вещь чистый секс без включения сердца. Всё мило, но похоже на описание классика: «затраты невероятны, позы нелепы, удовольствие мимолётно».

Нет, не моя физкультура.

Плиссе-гофре

Приходит ко мне моя близкая подруга, Оля Оболенская, белая как простыня.

— Долецкая, я беременна.

— Ура-а-а-а-а!!! — кричу и прыгаю от счастья.

Подруге сильно за тридцать, не замужем, на вид типичная англичанка с длинными стройными ногами, ходит в мини-юбках, лицом похожа на породистую лошадку (таких в России почему-то не ценят, а в Англии держат за красоток), ироничная, весёлая, с чувственным ртом и всегда в модных очках. Звезда преподававшая филологического факультета МГУ. Правда, с репутацией редкой стервы.

— Что — ура? — убитым голосом. — Всё очень плохо. Я вообще не понимаю, как это случилось. Пошла к стоматологу. Была у него пару раз. Ну, приставал. Вяло. И я даже не поняла, что это вялое и был секс.

— Он знает?

— Он полный идиот. Сказал, что он ни при чём. Короче, у тебя лучшие медицинские связи в Москве, умоляю, помоги с абортом.

Идти в поликлинику МГУ она не хотела. В те годы всё было «позвоночное», дела делались исключительно по звонку. Оля жила с интеллигентнейшей мамой, учителем литературы, и у них была целая двухкомнатная квартира на Ленинском. Ну, не так плохо.

— Оболенская, ты понимаешь, кого ты просишь об аборте? У меня восьмой выкидыш. Я колю в живот каждое утро какую-то неведомую хрень, чтобы забеременеть, а потом на девяти неделях хлещет кровь — и я прощаюсь с очередным неродившимся ребёнком. Ты, блять, в своём уме??? Какой аборт?

Оля в слёзы, рыдает белугой у меня на диване, не поднимая головы.

— Я не могу, не могу, не могу. Он урод. Мама сойдёт с ума.

Пытаюсь неуклюже её успокоить, но не выходит. И ведь правда, мне ничего не стоит найти ей отличного врача, но сил помочь у меня нет.

Ты с детства мечтаешь иметь много детей, а в ответ получаешь ежемесячные пытки на гинекологическом кресле и врача, который возит внутри тебя членоподобной штукой, смазанной гелем, смотрит в экран и говорит: «Ну всё, получилось! Покупай альбом для фотографий, будем твоих красавцев-малышей всей клиникой фотографировать». А потом в один прекрасный солнечный день прихватывает живот внизу, сводит скулы

от боли, ты едва успеваешь добежать до дамской комнаты, и прямо из тебя хлещет твоя (или его, или её, или их обоих) тёплая кровь. Передыхаешь пару месяцев, и по новой. Какой аборт?!

— Оболенская, хватит рыдать. Давай попьём чайку, и иди домой. Я подумаю.

Иногда ведь как: поистерила денёк-другой, и отпустило. Её не отпустило. Приходит через дня три.

— Умоляю, помогай. У меня вообще ходов нет.

— Я помогу. При одном условии. Я перестану с тобой дружить. Вообще. То есть даже разговаривать не буду. Идёт?

— Ты — гадина. Ты этого не сделаешь. Пошла думать.

Она думала ещё тройку дней. Пришла снова, чуть более смиренная, и тихо начала канючить. А у меня дома шёл важный процесс. Я затеяла сменить шторы в комнате, на огромном панорамном окне, которое выходило на Новый Арбат, почти от пола до потолка и шириной метров пять. Углядела в каком-то журнале спальню английской аристократки в её имении в Эссексе или Сассексе — у неё там были шторы в огромных цветах, а ламбрекен сверху — вовсе без цветов, гладкий. Красиво — до потери пульса. Я отправилась на охоту, обрыскала все магазины тканей Москвы и — победа! Нашла тяжёлый плотный хлопок в розовых и вишнёвых пионах. А на ламбрекен откопала в отделе обивочных тканей (как он там вообще оказался?) матовый хлопок цвета бургунди. Они сочетались, как родные, и мне оставалось довести дело до ума.

И тут такое дело. Ламбрекен прекрасен, торжествен и наряден, если он уложен ровным плиссе. И обрамляет сверху штору, как изящная рама или как тот стоячий воротник у Маргариты де Валуа Наваррской, — идёт гофрой вдоль лица.

Короче, передо мной стояла задача уложить этот гладкий хлопок цвета бургунди, длиной метров двадцать, в идеально ровные складки — типа широкого плиссе с шагом сантиметров шесть. Сначала надо наметить точки, потом по ним делать складки, накалывая каждую булавками, потом наметать, а потом уже строчить. Ателье? Мастерская плиссе и гофре? Я там была, и вы не хотите знать, куда меня послали.

Сижу после своих лекций-семинаров, размечаю, а Оболенская канючит: «С одной стороны, с другой стороны. Это ужас, но не ужас-ужас-ужас. А что, если... Нет, мама не вынесет». Всё по сотому разу.

И вдруг эти её «если» навели меня на мысль.

— Слушай, — говорю. — Пока мы решаем твою судьбу, прошу — помоги мне. Тут надо сделать этот ламбрекен, заложить ровненько складки.

Я три метра уже сделала, осталось каких-то двенадцать, больше не могу.

А Олька к тому же была бешеная аккуратистка. Всё у неё всегда было идеально, ровно, точно, и английский язык отлетал от зубов, как у лучшей дикторши Би-би-си. Она с лёгкостью согласилась и села за мой огромный кухонный стол делать засечки, намётки и приколки. А я — для вида — стала звонить знакомым врачам и изображать слёзные просьбы об аборте.

— Вы не можете, да, Евгения Борисовна? А ещё кто есть? Дадите телефон?

И так сижу на телефоне час. Типа «Дорогие радиослушатели, а теперь для вас “Театр у микрофона”». А она тем временем плиссе накалывает ни о чём не подозревая. Между «звонками врачам» рассказываю про то, как ей повезло, про свою битву за сохранение беременности, а она — усердно укладывает ровные складки по хлопку цвета бургунди.

Вот так я и дотянула до критичного срока, когда найденный врач сказал сакраментальное «уже поздно». Да и Оболенская уже смирилась и очень хотела закончить ламбрекен.

Недавно её дочь Даша — заводная красотка с длинными ногами в маму и с гривой медных волос, видимо, в стоматолога, ведущий эксперт в крупной аудиторской компании, — забеременела.

Ждём мальчика.

Капля воска

«Люди как свечи: или они горят или в жопу их».

Ф. Раневская

«А это ты в каком году?», «А ему сколько лет было, когда вы...» — эти вопросы меня вводят в ступор. Я отвечаю не быстро. Со скрежетом.

А уж эта паника «ей уже сорок девять, пора бы...»! Да какая разница? Ну, есть разница, конечно, истончаются косточки, и хрустят во время зарядки громче, чем в двадцать. И — ах, какая новость, появляются морщины. И ах, какая новость: ты вошла, и вслед твоей убойной походке, не все мужчины свернули головы.

Серьёзно?! Не трагедия.

Когда мне было лет девятнадцать, один юноша сказал: «Ты всегда едешь на пятой передаче! Спалишь себя». В пятьдесят, отплясывая с другим юношей, вполтину меня моложе, мы целовались, не боясь никого смутить. Их проблемы. В интимном не состояли — для настоящей близости предпочитаю сверстников плюс-минус. И после пятидесяти я по-прежнему люблю субботний завтрак в стиле «Утро. Секс. Эклеры». Потому что нет у любви возраста, дат и цифр.

На мой полувековой день рождения близкий друг сказал: «Наступает самое интересное. Теперь сочиняй сценарий второй половины жизни. Это настоящее творчество». Я восхитилась, но толком села думать позже. И вспомнила, как лет в тридцать, в дни острого душевного кризиса, я пришла к своему исповеднику отцу Геннадию в московском храме Малого Вознесения и потребовала: «Благословите меня, батюшка, на уход в монастырь». А он мне: «Вам не надо в монастырь. Вы в миру все свои подвиги совершайте. Оно труднее, но вам подойдёт». Я — стараюсь.



Я смотрю, как Лени Рифеншталь в свои семьдесят подделывает документы, чтобы получить разрешение на глубоководное ныряние, потом снимает кино и монтирует его с любимым мужем на сорок лет себя моложе. Как китайский актёр Ван Дэшунь в свои шестьдесят отправляется

в спортзал, в семьдесят создаёт новый театр, а в восемьдесят выходит на подиум. Как Полина Лобачевская, профессор ВГИКа и блистательный галерист, в свои восемьдесят отстраивает один из самых современных музеев Анатолия Зверева и водружает один за другим исполинские выставочные проекты в Москве — и думаешь: вот это я понимаю! Жизнь. Они все горят, по-раневски, любовью к жизни.

В сторону восторги и обожания. Очень больно прощаться с любимыми, ушедшими раньше тебя. Факт. Разрывает на куски, когда твоих друзей косит несправедливая болезнь и твой заботливый уход всё равно не помогает. Всё меньше становится «настоящих взрослых», которые тебя любят безусловной любовью и всё простят, и поймут, и направят, и дадут по голове палкой, когда ты этого заслуживаешь. Преодоление этой боли, наверное, и есть героизм возраста.

Но вот про сказки, и почему я их люблю. Все эти царевны-маревны, Василисы Премудрые, и даже Баба-яга (жуть какая страшная, но, если её не бояться, она щедрая, великодушная и очень даже знающая тётка), все эти женщины — мои героини. Они умеют превращать и превращаться, они ободряют своим умелым и любящим примером каждого и никогда не стоят на месте. Потому что остановка — это путь назад. Или вниз. А оно нам надо?

За последние лет десять я научилась плавать в холодном диком океане рядом с дельфинами и китами — там настоящая свобода. Сидеть за рулём вертолёта — наслаждение. Впервые встала на горные лыжи. Пережила один из самых ярких романов своей жизни, запустила новый журнал, написала три книги, пишу четвёртую. А сколько ещё хочется успеть? Зажечь, как говорится, по полной. Взмахнуть волшебным крылом и вернуть потраченное зря время. Доучить пару языков. Допризнаться в любви. Вернуть каждый знак внимания тому, кто не мог без него дышать. Столько дел.

И самое главное, понять, что не надо себя жалеть. Вопреки глянцевым заветам «любить себя» и бесконечно себя холить, как породистую лошадь, очень полезно работать до одури, ставить перед собой амбициозные, порой безумные задачи и справляться как минимум с некоторыми из них. Не бояться провалов. Сохранять молодые желания. Учить, не впадая в менторство, и учиться, не впадая в детство.

Гореть, светить и освещать до последней капли воска.

Время есть.



Алёна Долецкая, 2009 г.

Благодарю

Всех героев этой книги за то, что они сделали мою жизнь весёлой или грустной, но, несомненно, счастливой.

Всех моих друзей за помощь в работе над этой книгой, за их терпение и нетерпеливость, за ободрение и брань, за наставления и вычёркивания, но главное — за доброжелательное и нежное любопытство к моему прошлому, настоящему и будущему.

notes

СНОСКИ

1

Берите, пожалуйста! Всего десять долларов! (*англ.*)

Впервые опубликовано в 2010 г. в журнале «Сноб». Исправлено, отредактировано.

Будем веселиться! (*лат.*) — студенческий гимн.

Conde Nast — американское журнальное издательство, основанное в 1909 г. Знаменито журналами о моде и стиле жизни в сегменте luxury.

Да, милый! Разумеется, милый! (англ.)

Издательская деятельность уровня люкс (*англ.*).

Когда я хорошая, тогда хорошая. Когда плохая, я — чудовище (*англ.*).

Что за херня? — Родная, вот такая херня. — И что дальше? (*англ.*)

Ты не охуела, случайно? Заткнись!

Я?! Сам, на хуй, заткнись!

А можно, пожалуйста, стаканчик водыыыыы!!!! (англ.)

Да лаадно, бросьте! И зовите меня Джордж. А вас как? (*англ.*)

Свершившийся факт (*фр.*)

«Мисс Ктокоебёт» (*англ.*).